

584  
191 - АБ

ВАС. ЖУРАВЛЁВ-ПЕЧОРСКИЙ

# ЗАЛИВЕНЬ



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

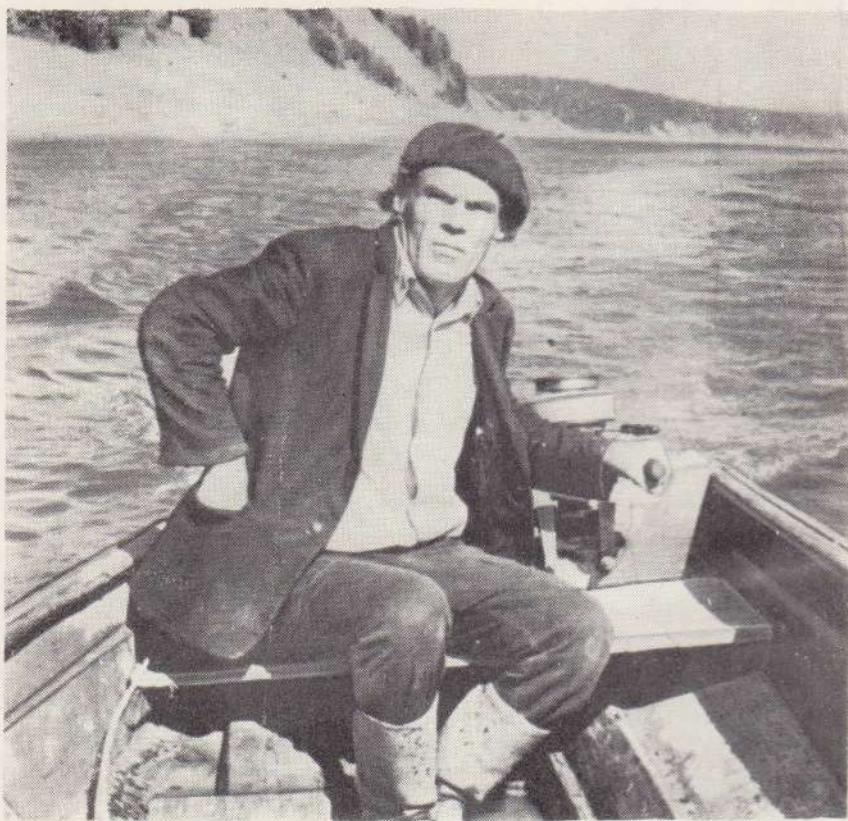
Колич. пред. выдач.

г. Печора, типография Зак. № 1050



120





Blyfjordet-  
Terepem

К 84  
4191-45  
ВАС. ЖУРАВЛЁВ-ПЕЧОРСКИЙ

# ЗАЛИВЕНЬ



КНИГА  
О РОДНОМ  
КРАЕ

13163

КОМИ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

СЫКТЫВКАР 1978  
Учебно-методическое учреждение  
«Печорская межпоселенческая  
централизованная  
библиотечная система»  
«Печораса овымбочоминъяспон-  
шёр библиотечной системы»

P2  
Ж 91

Художник А. В. М о ш е в.

**Журавлев-Печорский В. С.**

Ж 91    Заливень. Книга о родном крае. Коми кн. изд.,  
Сыктывкар, 1978.

288 с., с илл. и портр.

«Заливень» — книга избранных рассказов, созданных Василием Журавлевым-Печорским на протяжении двадцати лет.

Как показывает уже сам подзаголовок книги, в нее включены произведения о родной земле, северном kraе, который исхожен-изъезжен автором, с людьми которого он с детства в самых близких отношениях.

Воспоминания о прошлом перемежаются в книге с раздумьями о будущем. Подкупают лиризм изображения, конкретность мысли, широта взгляда.

Ж 732 — 030  
М 128 (03) — 78 25—78 м

P2

© Коми книжное издательство, 1978





# КУРОПАТОЧИЙ ЧУМ

---



## ВРЕМЯ ДОЛГИХ ОЖИДАНИЙ

ДРУГ мой, знакомый и незнакомый, встающий на востоке солнца, встречающий зарю на берегах озер и безымянных речек, я часто думаю о тебе. Много лет весна начиналась для меня задолго до ледохода. Еще кругом снега лежат, метели шумят, кидая в лицо снежной крупой, еще морозы трещат по утрам, а ты уже запряжаешь патроны, осматриваешь ружья, сушишь сухари.

— Значит, поможешь?

— Как же, раз обещал,— скажет сосед.— На ветер слов не бросаю.

И в одно ясное утро лодка, сделанная собственными руками, будет вырыта из-под снега, к уключинам привязаны крепкие веревки с кожаными лямками на концах. Быстро погрузишь в нее мешок с продуктами, сети, лодочный мотор, две-три канистры с бензином и все прочее, без чего не обойтись во время весновки. Впряжешься в лямку и по твердому насту побежиши в заречье — только днище лодки зашуршит о заструги.

Испокон веков в наших северных местах так велось. Переbrasываясь между собой шутками, приближаемся к заречью. Уже желтеют пески на крёжах. С трудом втаскиваем лодку на взгорок и поворачиваем на зимник, ведущий к бору. Снег вокруг осел, а плотно накатанная колея как бы приподнялась, словно кто ледянную дорожку проложил.

Около избушки высятся сугробы. Выше крыши. По ним сну-

ют рябчики, радуются — зима кончилась. А синиц! Откуда их столько взялось? Или тоже в более теплые места откочевывали? А внизу, в пойме реки, на заливных лугах еще и следка весны нет — сплошной снег лежит. Но это лишь кажется. Попробуй сунься на речку, вытекающую из бора, без палки — снег там лишь сверху лежит.

Весна уже пришла. Домашний берег почернел, щельи, как звери в линьку, пятнистыми стали, сделай на березе зарубку — сок потечет. Не его ли называли в старину «живой водой»?

Света сколько, света!.. Снега искрятся под солнцем, а южная сторона неба все больше темнеет. Жди тепла.

Заносим пожитки в избушку, садимся на сосновые чураки, заменяющие нам стулья, закуриваем и начинаем вспоминать прошлое.

— Помнишь? Теплынь была — в одних рубашках ночью сидели. В первых числах мая такой ливень удариł — за ночь половину снега согнал.

— Помню я этот ливень... Всё помню.

Домой возвращаемся налегке. Плечи отдыхают от тяжести лямок. Избушку на замок не закрываем. Пока еще незаметно, чтобы кто-то «пошливал». Да и знаем друг друга.

Со времени наших сборов до открытия охоты проходит недели две. Переживаний больше, чем во время самой охоты. На реке ледоход зашумит. Окошко начнем высматривать, чтоб проскочить на лодке, а над головой с веселой перекличкой понесутся на север табуны свиязя, шилохвости, космаря, мерно помахивая крыльями, проплывут в безоблачном небе лебеди.

И теперь весна не за горами. Жаль, не придется побывать в родных местах — меня снова занесло в Приуралье. Здесь еще зима. Лишь воробы, несмотря на стужу, звонко чирикают по утрам на городских улицах: «Жив-жив!» Их не было здесь раньше: приехали к нам в вагонах с фуражем да и расселились тут. И стужи не боятся.

Если ты мой земляк, то вспомни, как на топляки в половодье налетали, винты о лед ломали, сидели в скрадках, поджиная пролета голубанов, за моей лодочкой присмотри — она за дуплистую ивину у озера привязана. Знаешь сам где. Осеню встретимся. Если мы не знакомы, то ни пуха ни пера вам, северяне, если охота у вас разрешена. А мне придется весновать в Приуралье, где еще зима, хотя и тут во всем чувствуется приближение весны. Нет худа без добра, ведь и тундра — родная нам земля: это птичье царство, хотя непуганых птиц и здесь уже не встретишь, край, где я искал в юности голубого зверя. Студеный, но милый сердцу край.

## ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ

ЗНАЕТЕ ли вы, как растет трава? Первые ростки появляются задолго до начала спада воды. Вначале все кругом становится синим, затем сиреневым, потом желтым, белым и, наконец, зеленым. Это в тайге, а в тундре все гораздо быстрее. Там, среди нетронутых сугробов, можно увидеть зеленые островки, а почки на вербе лопаются сразу же, как только ветки выглядывают из-под снега. Сегодня тишина, а наутро — гвалт, шум, свист. Кажется, не птицы прилетели, а земля поет. Всего несколько дней в шуме ручьев и бесчисленных речушек слышится гомон птичьих стай, прилетевших на места гнездовий,— и снова наступает тишина. Птица на гнезда села.

В один из таких дней я бродил по берегу моря, глядел на плывущие по губе льдины, на птиц, отводящих меня от гнезд, и так наглотался свежего ветра, что вопреки правилам выбрал бугорок посушке, прилег и уснул.

Не знаю, сколько проспал, но когда встал и набил табаком трубку, то увидел, что бугорок из белого стал зеленым, и на нем ясно виделся контур моего тела.

Я не раз слыхал от стариков, рассказывающих бывальщины, что стоит припасть ухом к земле и услышишь, как растет трава. Наверно, я спал крепко и не слышал этого, но то, что трава пробилась из земли за несколько часов, видел своими глазами. Кто раз побывал в тундре, тот еще вернется туда, тот никогда не забудет ее весенней песни. Так поет только северная земля. Нигде больше не услышишь столь разнообразных голосов. Может быть, непонятные шорохи, скрипы, стоны и есть рост тундровых трав, которые за короткое время успевают вымахать по грудь человеку, отзвести и выбросить на землю семена. Кто скажет...

## ВОРОБЕЙ С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

ЖИЛОСЬ мне плохо. В городе, когда завербовался работать в тундру, наговорили много. «Не живь там,— утверждали,— а рай. Летом птицы полно, а зимой песцы под самыми окнами бродят. Деньги зашибешь». Год с годом не сходится. Не знаю, как раньше было, а нам тухо досталось.

Снег в конце сентября выпал. Через неделю запуржило, и не на день, не на два — на целый месяц. Не заметили, как настоящая зима началась. В ноябре замело поселок по самые трубы. Каждое утро лопатами ходы в сугробах прорываем.

Кончились пурги, непрохождения в эфире начались. Для радиста — это как дождь для охотника, сущее бедствие.

Вертишь ручку приемника туда-сюда целыми днями, стараясь поймать сигнал, адресованный тебе, но ничего, кроме монотонного шума и треска, не слышишь. Хуже бывает: у тебя перепонки чуть не лопаются, а город твердит: «Гухор! Где вы, куда пропали?»

Как обычно, в такие дни начальник станции то отчет, то запрос какой-нибудь тащит слов на двести-триста. Есть о чем ему беспокоиться. Летом охотничье провианта не забросили, обещали самолетом завезти, а тут ранняя зима, пурги. Обещанного, как говорят, три года ждут.

Аннушка, ровесница моя, выросшая в этом поселке из трех домиков, ближайшее жилье от которых чуть не за триста километров, уже устала крутить ручку генератора, даже кончик языка высунула. Сменить бы надо, но кем? Начальника попросить?

Они на погоду не смотрят. В тундре где-то начальник, у промысловиков. Вернется, скажет: «Не можешь — не берись! Самому сесть за генератор? Если бы вместо двух рук четыре иметь!

А за окном дует хиус, сполохи играют. Чернила в бутылке замерзли. Сколько ни пали печку — холода в комнате. По углам иной белеет. Малицу на себя натянишь, чтобы согреться, а пальцы не разгибаются: как лежали на головке ключа, так и застыли.

Нет, жизнь на промысловой станции шла совсем не так, как в городе предсказывали. Надул вербовщик. «Его бы сюда, — думал я не раз, — интересно, какую бы песню завел. Хватит! Кончился срок договора — в метеослужбу перейду. Пусть других дураков ищут».

В завершение всех бед то лампа сгорит, то конденсатор в передатчике пробьет. Радиостанция старая, слабенькая, ни описания, ни схемы нет, да если бы и были... Много ли взял на трехмесячных курсах, чему научился — только ключом стучать.

Еле-еле дождался времени, когда солнце начало из-за сопок выглядывать.

Морозы ударили. Снега заискрились. Вернулись в тундру из лесов белые куропатки. Песец откуда-то появился. Только промысла развернуть не удалось: время ушло, играть песец стал, парами по тундре бегать, в норы заглядывать.

Как-то Аннушка пришла утром веселая, улыбается.

— Ты именинница сегодня? — спрашиваю.

На окно рукой показывает. А на окне узоры мороз нарисовал незатейливые, ничего за ними не видно. Аннушка дует на стекло и пальцами по нему водит.

— Видишь? — спрашивает. — Весна!

Я на нее смотрю. На смуглом широкоскулом лице пятнышки как будто больше стали, разрослись.

«Э, да у тебя веснушки! В зеркало, наверно, смотрелась, вот и заговорила о весне».

Признаться, Аннушка наша любила смотреться в зеркало не меньше, чем городские девчата, которые ходят не в пимах, а в туфельках на высоких каблучках, и не через сугробы прыгают, а через лужицы на асфальте. Девчонка все дует на стекло и мне на окно показывает. Что она там увидела?

Просвет появился вроде, как окошечко кругло. Заглянул: антенну видать. На ней пичуга какая-то сидит.

— Пунух! — обрадованно сказала Аннушка, а сама смеется. Мне так и хочется притронуться к ее плечу, сказать ласковое слово, но побаиваюсь. Парень я, вроде бы, ничего, но ростком против Аннушки не вышел, свысока она на меня смотрит, да и признался я ей как-то, что в деревне зазнобу оставил, такую же гордую, как она.

«Пунух» — птичка по-ненецки.

— Пуланец? — спрашиваю.

Она в ответ кивает и тянет меня за рукав: мол, на крыльцо выйди. Черные, крупные, как смородина, глаза ее сегодня светятся изнутри, как будто в них солнечные зайчики прыгают.

Пуланец, пунух, снежный воробей — вон сколько имен у пичуги с белой грудкой, с черными полосками на крыльях. Настоящее же имя ее — пуночка.

Кто из нас, жителей России, этой пичуги не видал?

В начале зимы она вдоль дорог табунками перепархивает, откочевывая к югу, а поближе к весне — к северу летят большие стаи. Словно колокольчики в небе звенят.

«Тише, люди, — просит птичка эта. — Прислушайтесь. Весна идет!»

Куда там! Мы по неотложным делам спешим, не обращаем внимания на нее. Все дальше к северу летит она, звенит в свой колокольчик. И где-то в районе полюса появится в вахтенном журнале запись: «Сегодня у нас в гостях побывала пуночка». Смена, значит, скоро, возвращение на Большую землю.

Я тоже не замечал пуночки, пока не оказался у студеного моря, пока Аннушка не надушила на крыльцо выйти.

Только вышел, пичуга спорхнула с антенны, закружилась над поселком и снова доверчиво присела, уже на крышу. И хотя углы трещали от мороза, стало как-то радостно. Прилет пуночки означал: скоро олени стада на побережье с зимних пастбищ спешат. Гостей будет — только успевай за стол сажать.

И другие гости из дальних стран к морю гуртом потянут, снега в море побегут, на пригорках цветы распустятся.

Размечтался я. Побродим, думаю, с Аннушкой по тундре, послушаем птичий гомон, научусь по-ненецки разговаривать, а то все больше на пальцах объясняемся, песни научусь по-ихнему петь: что видишь, о том и поешь.

Летом в управлении вздумали меня на другую станцию перевести, где людей побольше, но я отказался. И начальник меня поддержал, только хмыкнул, прочитав радиограмму: «Выдумали тоже!»

С той поры много воды утекло, а все нет-нет да и вспомнится Аннушка, крохотный поселок на берегу моря, морозное утро и короткая трель пурпурки — ее звонок, извещающий о приходе весны. Тише, люди! Прислушайтесь. Пурпурка на север спешит.

### ВЕТЕР-ПАРИКМАХЕР

КУСТАРНИКИ нельзя не подрезать. Их ветки без садовых ножниц хиреют, уродливыми становятся. А подрежешь — кусты вновь с другими растут в ширину. К солнцу ветки тянутся дружно, не стараясь обогнать друг друга. Это в скверах и на бульварах. А кто же подрезает кусты в тундре? Я долго не мог догадаться, почему кусты здесь одинаковы, словно их ножницами постригли. А разгадка оказалась простой.

Поехали мы под весну на рыбалку, когда наст не только человека, но и лошадь сдержит. Солнце. Света удивительно много. Столько блеска, что в глазах режет. Но ударил ветер, и я увидел, как скользят по насту какие-то палочки-считалочки. Кто их тут раскидал? А это ветер обламывал промерзшие насквозь ветки кустарников, подрезая их у самого наста, и как веником за метал в низины. Удивительный парикмахер — и дело свое до тоностей знает, и не опаздывает никогда. Попробуй в другое время справиться с такой прической, как у ивняка, — сколько ни старайся, ничего не получится.

### СТРИЖ — ПТИЦА ЗАЛЕТНАЯ

ТЕПЛО ударило рано и неожиданно. Вокруг станции зашумели ручьи. Птица свалилась как снег на голову. Поднялся гомон, гвалт. Все суетятся, спешат захватить оголенное от снега ме-

стечко для гнезда. И тут погода, как часто бывает, круто изменилась. Трое суток бушевал буран. Трое суток в сплошной мгле слышались голоса птиц, гибнущих в негостеприимной тундре, куда они так рвались с юга.

А на четвертые сутки, когда буран утих, я увидел под крышей птицу чуть покрупнее ласточки. Она сидела, втянув голову в шею, не шевелясь, прижавшись к стене. Это был стриж. Я принес его, полузамерзшего, домой, пытаясь отогреть, покормить хлебным мякишем, сгущенным молоком. Чего только ни давал. Но все напрасно. Стриж погиб в тот же день. Откуда и как он залетел к нам, можно лишь догадываться. Буран его занес или тяга к новым местам погубила? Кто скажет? Ни до, ни после я не видел их около зимовки, хотя прожил там три года. Да и откуда им быть тут, ведь стрижи кормятся насекомыми, а на побережье комары бывают всего месяц и то не всегда.

## КУРЯВА

СРЕДИ зверей самый неприятный — росомаха, не поймешь: то ли кошка она, то ли из собачьей породы, а на морду и лапы взглянешь — как медвежьи. Неприятный зверь и когда попадет в капкан, то такая тоска видна в его глазах, такая злоба, что не по себе становится. Не только среди зверей такие есть.

В тундре, на берегу Хайпудырской губы я впервые встретил птицу, которая носила странное имя «курява». Так ее звали ненцы. Видно, где-то поблизости было ее гнездо или разозлил я хозяйку тех мест,— она налетела на меня сзади, ударила клювом по голове. Хорошо, что кепка была толстая.

Черная, острокрылая, с хвостом-развилкой, она со свистом понеслась дальше. Ястреб? Непохоже. Чайка? Черных чаек не бывает. И еще заметил я, когда она вторично налетела, что лапы у нее, как у утки, с перепонками. По росту куряве с чайкой не сравниться, а по нраву... Не знаю кто как, а я долго старался обходить то место, где познакомился с ней.

Это был поморник, один из отъявленных пиратов северного побережья, что разбойничают на птичьих базарах, птица, гнездящаяся в тундре и на полярных островах. А вот почему ненцы курявой ее зовут? Скорей всего имя это идет от стремительности и внезапности ее нападения, от шума, производимого поморником при налете на пришельца, будь то песец, собака или человек. Так и хочется сказать вместо «завьюжило»—«закурявило». И, кажется, что-то подобное я уже слышал в тундре.

## ДИКИЕ КУРЫ

ЕСЛИ зайцы обегали станцию стороной, то куропатки, очень похожие на домашних кур, гнездились рядом, у крыльца. И что удивительно, собаки до того привыкли к ним, что даже не гонялись за ними. Одна из куропаток устроила гнездо сразу же за баней. Ее не пугали клубы пара, вырывающиеся из дверей, наши вопли и возгласы, когда, забравшись на полок, мы отводили душу березовым веником.

Куропатка гнездилась тут не первый год и, наверно, понимала, что люди не обидят ее. В ту весну я заглянул в гнездо и нашел там шестнадцать яиц. Все птенцы остались жить, так как ястреба и песцы близко у домов не появлялись. «Так вот почему,— думал я,— в тундре так много куропаток. Если каждая из них столько птенцов выводит, то от них должно быть в тундре тесно». Но на самом деле не так. Много птенцов гибнет от болезней, от ястребиных когтей и острых зубов вездесущего разбойника — песца...

Улыбаясь, мы не раз наблюдали, как собаки вспугивали этот выводок, и он перелетал в другое место. Осенью наши знакомые соединились с другими семьями и громадным табуном кочевали по тундре.

## ОАЗИС

ОНИ бывают не только в пустыне, но и в тундре. Леша Синцов, моряк, что участвовал в геодезической экспедиции, которая работала в районе нашей зимовки, сказал однажды:

- Как у нас дома. Такие же холмы и кусты.
- А ты откуда?
- Из-под Оrla. Слыхал про Бежин луг?

Кто из нас не слыхал про этот, ставший знаменитым тургевский луг. А местность около нашей станции и впрямь была похожа на него. Небольшие холмы среди равнины, островки из зарослей ивняка и карликовой бересклети, в которых гнездятся куропатки. Их выводки вылетали из-под самых ног и рассыпались по кочекам, сливаясь с окружающей местностью. Мы не успевали вскинуть ружья. Попробуй, найди их без собаки.

Собак на станции было много, но годились они лишь для нарт. Сколько я ни пробовал приучить их к охоте, ничего не получилось. Правда, зайцев они гоняли по тундре, да что в том проку. В тундре не в лесу, все, как на ладони, видно. Ушкан прет напролом в сторону от охотника.

— Ф-р-р-р! — Снова выводок. И снова мы не успеваем поднять ружья.

— Пойдем-ка лучше на озера, уток постреляем. Это верней, — говорю я. Леша, впервые видевший тундру, еще не знал, что такие места, как у станции, лишь оазисы, за ними рас простерлась голая бурая равнина, безжизненная, безмолвная. Человек выбирает для жилья лучшее место. И птица так же. А где птица, там и зверь.

И около станции через неделю-другую кустарник сбросит листву, закачается под ветром, бьющим с моря, все живое попрягается в укромные уголки. Осенние штормы погонят воду в юнках — безымянных речках, каких в тундре бесчисленное множество, вверх по течению. За Бежин луг можно принять тундру только в начале августа, но как же она красива, жизнерадостна в это время, кажется, нет на земле места лучше нашего Синькина Носа.

## В ЧАСЫ ОТЛИВА

ЗДОРОВО придумала природа эти приливы и отливы. Мы пользовались ими в своих целях. Сетки особенно хорошо ставить в Хайпудырке. Во время отлива, когда далеко-далеко обнажаются пески с бесчисленными лагунами, водорослями, ракками, рыбой, выброшенной прибоем, забиваешь ряд кольев, растягиваешь на них сеть. Тут главное, чтоб под нижнюю тетиву рыба не пролазила. На сухом-то берегу то ли дело расправить. Не то что рыба, а и ракок-бокоплав не пролезет. Кое-где камнями для верности придавишь между грузилами. Тут можно обойтись без поплавков — верхняя тетива натянута на кольях и без грузил, придави только нижнюю камнями, которых немало на берегу.

Придет прилив, зальет берег до самого крёжа, повернет вспять течение многочисленных речушек, зашумит, набегая на крёж, словно пытаясь залить всю тундру. Только верхушки кольев торчат над водой в то время, а на них в долгом ожидании застыли чайки.

Когда холодно, колья покрываются льдом, а чайки, как издали кажется, инеем. И все сидят не шевелясь, полузакрыв глаза. Пошумит прилив и перейдет в межень, а затем вода снова пойдет на убыль, как будто собираясь для нового рывка, унося с собой все что можно прихватить. Как только половина кольев покажется из воды, мы уже около сеток. Дожидаться, когда они совсем обсохнут, нельзя. Чайки к тому времени от рыбы ничего

не оставят. В резиновых броднях лезем в воду, приподнимаем сетки за верхнюю тетиву, вынимаем добычу. А рыба отменная — чир, молодая нельма, крупная камбала. Бросаешь добычу в мешок, висящий на одном из кольев, а чайки выются над тобой, рвут добычу прямо из рук, а вода на глазах убегает все дальше. Не то что рыбы, и сетей не досчитаешься, когда десятка два-три таких разбойниц разом кинутся. Видел я как-то необычный след, долго гадал, что за зверь полз по песку, а оказалось, чайки мертвую нерпу из стороны в сторону таскали. Какая же силища у этой оравы!

Вот и высмотрели сетки. Теперь можно снова на сухом берегу подправить их, очистить от водорослей и мусора, а там опять до следующего отлива. Здорово это природа придумала отливы и приливы, особенно до периода штормов, когда на море спокойно.

## ИСЧЕЗ ПЕСЕЦ

ЛИСТ облетает с кустарников быстро, холмы становятся голыми. Вот-вот выпадет снег. Провожая грустными взглядами улетающих на юг птиц, мы ждали снега, и он выпал. Ночью. Незаметно. А когда утром вышли на крыльцо, то заметили необычную картину: весь снег был испещрен следами лемминга.

Что леммингов в тундре много, мы знали и раньше, а вот о миграции не догадывались. По следам было видно, что он шел густой массой вдоль побережья к югу. Несколько дней видели мы не только следы, но и большие стада полярных мышей, за которыми, не таясь, шли песцы. Невесть откуда их появилось множество. И все шли в одном направлении так же, как волки идут за стадами оленей с летовок на места зимних пастищ. А вскоре все исчезло: ни леммингов, ни полярных сов, ни песца. Все исчезли. Мы летом рассчитывали на богатый урожай, а вышло по-другому — три зимы подряд на территории нашей станции песца вообще не было, всех лемминг за собой увел.

## ПРАЗДНИК ОХОТЫ

В КАБИНЕТ заведующего факторией смело вошла девушка в праздничной панице, отороченной лисьим и горностаевым мехом.

— Дедушка просил вам передать: мы готовы, — отчеканила она.

«Смуглая, а глаза голубые!» — удивленно подумал я, когда Шубин знакомил меня с нею.

— Антонина. Внучка Лаптандэра. Радистка. — И он накинул на плечи полушубок.

По дороге в чум эта незнакомая девушка с чуть раскосыми, но удивительно ясными глазами учila меня управлять оленьей упряжкой. Но все ее старания оставались тщетными. Ясовей из меня не получилось. В конце концов слетал с нарт.

— Держитесь покрепче, — смеялась она и после короткого молчания так звонко гикнула, что олени рванули в сторону, а нарты от резкого толчка чуть не перевернулись. Но в этот раз я удержался.

...Часов в шесть утра я поднялся с оленьей шкуры, служившей постелью, умылся снегом и, потирая озябшие руки, подсели к очагу. Девушка хлопотала у огня как настоящая хозяйка чума. Было еще темно. Вверху, сквозь дымок костра, виднелась одинокая звездочка. Ее отражение трепетало в котле с водой, под которым тлели жаркие угли.

«Это, наверно, моя звезда!» — подумалось мне.

Чуть рассвело — и воздух огласился криками, смехом, шутливой перебранкой: ловили оленей в стаде. Вскоре пятнадцать быстроногих четвериков, запряженных в легкие нарты, были готовы к отъезду. На горизонте показались загонщики из других бригад. Всего собралось около тридцати упряжек, украшенных разноцветной упряжью, лентами, бренчащими и блестящими колокольцами.

— Командуй, Иван, — сказал заведующий Лаптандэру, бригадиру колхоза «Тет-яга-мал».

Старик внимательно осмотрел нарты, кое-кому велел проверить упряжь.

— Постромку так и не заменил, — послышался его голос. — А у тебя что за хорей? Лучше не нашел? Охотнички!

— Можно начинать, начальник? — спросил бригадир Шубина. — Сам поедешь?

— Как всегда.

— А он? — Лаптандэр кивнул головой с черными, как перо ворона, волосами. — Ему ясовей нужен?

Не дожидаясь ответа, Иван подозвал внучку:

— Возьмешь товарища к себе. Ты радистка и он радист. Так?

— Тарем! — ответила Тоня. — Пусть будет так.

И этот вопрос был решен, но старик что-то медлил. Он молчал, а женщины поглядывали на заведующего факторией. Шубин рассмеялся и бросил короткое: «Взял!» Он подошел к нартам, извлек из-под шкуры старенькую русскую трехрядку. Один

из мальчишек, державший себя с достоинством взрослого охотника, опустил голову. Так хотелось ехать одному, а не вышло, пришлось снова стать ясовеем у начальника. «Ничего не поделаешь, брат», — говорили ему глаза заведующего факторией.

Места и действия загонщиков строго распределены. Старшего слушают беспрекословно. Слово Ивана — закон. На правую руку его намотана вожжа, в левой — хорей для управления упряжкой. Заведующий снял с плеча карабин и положил на нарты. Вот рука Ивана взметнулась.

— Начали! — по-русски крикнул он и взмахнул хореем. Какое-то мгновение — и все четверики сорвались с места. Над тундрой, опущенной первым снегом, взметнулось белое облако. Из ёрника, из-за сопочек и снежных заметов высакивали песцы. А мы неслись полуокольцом, сжимая его. Иван почти нагнал заднюю упряжку. Вот уже упряжки мчатся одна за другой. Старики натянули вожжу, поднял хорей.

Шум мгновенно стих, словно его и не было. Наступила такая тишина, что было слышно дыхание разгоряченных быстрым бегом оленей. Мы спрыгнули с нарт и приплясывали, разминая ноги. Загон оказался удачным. Это понимал даже я. Сколько песцов взято в круг? Сосчитать, право, трудно. Они мечутся на гладком льду озера. Среди них есть и голубые. Заслонив глаза от ветра ладонью, Тоня смотрит на охотников. Сквозь смуглые щёки ее пробивается румянец, похожий на солнечный загар. Пухлые губы ее чуток разомкнуты, обнажив крупные, ровные, белые как снег зубы. Нельзя сказать, что красавица, но, встретив такую, уже не спутаешь ни с кем.

— Начали! — воскликнула она, и вслед за возгласом девушки сухо защелкали «малопульки». Заведующий внимательно следит за стрелками. Иной охотник, войдя в азарт, ничего не видит кроме зверя, а «малопульки» не игрушка. Как бы чего не вышло. Тоня дергает меня за рукав:

— Тебя зовут, товарищ.

Беру малокалиберку, сбегаю на лед и выцеливаю зверька. Выстрела не слышу. Только вижу, как одобрительно качнул головой Шубин. Протянул руку старый Лаптандэр.

Круг уже разомкнулся. Стрелки сошлись в одно место, набили табаком трубки и, посмеиваясь, наблюдают за разбегающимися в разные стороны песцами. Их несколько десятков.

— Почему отпустили? — спрашиваю Шубина.

— Пробный загон, — отвечает он. — Не ошибиться бы. Мех еще не у всех созрел. Ости нет.

Когда тушки убитых песцов были собраны, старший загона подозвал меня к себе.

- Бери любого! — сказал Лаптандэр.  
— Я же не трудился, Иван.  
— Был с нами. С гостя в тундре большого не спрашивают, товарищ, — улыбаясь, ответил он. — Бери, бери!..  
— Вот этого, с краю. — Я показал рукой на зверька, шкурка которого, казалось, была более снега.

— Первый сорт, — так оценил мой трофей стариk.

Но что мне делать с песцом? Наконец, мелькнула мысль: взяв зверька за передние лапы, я преподнес его Тоне. Она опустила глаза. Заведующий нагнулся ко мне и спросил в ухо: «Выкуп?»

Нет, это не было выкупом, я еще не знал тогда старинного обычая тундры: дарить песцов невесте.

— Спасибо вам за все, — только и мог сказать я.

— За что? — ответила девушка, а потом повторила единственное слово, которое я знал из ненецкого языка. — Тарем! Пусть будет так.

А праздник охоты только начинался. Песцов разложили по нартам. Олений поезд распался, но в морозном воздухе по-прежнему звенели переборы трехрядки. Заведующий факторией был гармонистом особого склада: ни одной песни не исполнял до конца. Широко растягивая меха гармони, он то и дело менял мелодию.

Мой голубоглазый ясовей затянул песню.

— О чём поешь, Тоня? — спросил я.

— Сама не знаю. Солнце выглянуло из-за сопок, вот и пою...

— Вот как, а я и не заметил. Переведи мне свою песню.

— Не умею, — лукаво щурится она, но все же переводит. — О колхозе пою. Вершиной четырех рек его называют. О русском парне, который не умеет ездить на оленях. Теперь каждый день буду его голос слышать, с добрым утром поздравлять из чума.

— Он уже научился ездить на оленях!..

— О! Нет, — смеётся она и, вырвав из моих рук хорей, взмахнула им.

Вот это была гонка. Нарты словно оторвались от земли. Ни толчков, ни скрипа полозьев. Только олени, высоко подняв рогатые головы, косили глазами на ясовея. Сквозняк!.. От него не спасает даже кухлянка. Заметив это, Тоня сказала с усмешкой:

— Малицу тебе подарить придется, друг. Без нее в тундре замерзнешь.

— А ты отличный ясовей, — не удержался я от похвалы.

— Выросла в тундре. А тебе нравится у нас?

— Не знаю еще. Я же только-только приехал.

— Понравится. Уезжать не захочешь. В каменном чуме жить плохо, душно там.

Много лет прошло с тех пор, много воды утекло из юнок — безымянных речек — в море, а нет-нет и вспомню поселок из двух домиков, олены упряжки, песчаный загон, каких уже давно не проводят, юную радистку из «Тет-яга-мала» и повторю вполголоса с затаенной грустью:

«Выходила тоненькая-тоненькая,  
Тоней называлась потому!»

## УДАЧА

С ДЕТСТВА я хотел стать охотником: вырос в тайге. И, попав в тундру, спрашивал каждого промысловика, как ставят капканы на песцов.

— Зачем языком болтать,— сказал мне Сауков, самый старый из нашей компании.— Выйдем на припай и покажу на деле, как насторожу ладить. Само собой не бесплатно. Раскошеливаться, мил-друг, придется.

Мы сошли на припай, где причудливыми фигурами возвышались торосья. Припай образовывался в ту осень трудно. Почти месяц лед шумел около берега, то налезал на него, то уходил в открытое море.

— Бери нож, вырежь на этом торосе, сверху, кружок, чуть побольше настороженного капкана. Теперь лопаткой выбери снег в том месте. Сделай вырез для цепи. Полено можешь оставить на виду, песец его не боится — плавником весь берег усыпан. Да в рукавицах надо все делать, в рукавицах, чтоб твоего запаха не оставалось — мы же табачники. Бросил бы ты курить, парень, ни к чему это, не глядел бы на меня, старика — не все перенимать следует.

Я взял капкан, насторожил его, положил в сделанную ямку, как учил Сауков.

— А теперь вот что.— Осип взял нож и осторожно стал скоблить по внутренней стороне пластинки. Вскоре она стала тонкой, как бритвенное лезвие.

— Теперь осторожно накрой ею капкан, по швам присыпь снежком. Наскобли наважки сверху. Да осторожней, осторожней, в центр капкана. Он же лапой приваду к себе тащить будет. Копнет раз-другой, а пружина и сработает.

Я сделал все, как он учил.

— Наука, вроде, несложная. Для начала достаточно. Даль-

ше сам подмечай, какие места песец больше любит — по следам видно, где капкан снегом заносит, где, наоборот, выдувает. Песец — он холмики любит: как заметит местечко повыше — обязательно свернет к нему. И привада разная нужна. На льду наружка хороша и нерпичье мясо, в тундре оленина, зайчатина, куропатка, обязательно с запашком. Длинная это история — про все рассказывать.

За урок пришлось платить. Вечером выставил я Осипу бутылку спирту, как было заведено в те времена. Выпили они за нового промысловика. А начальник тут же со мной договор заключил на сдачу пушнины.

— Ну, удачи тебе! — сказал утром Сауков, уезжая на свой участок. — Песец густо идет. И ты изловишь.

Удача уже ждала меня на припайке: в первую же ночь, в капкан, что был насторожен на торосе, попал песец. Да какой! Такого не всякий охотник добывал. Дымчатый, голубой песец — шкурка его вдвое дороже обычного, белого.

— Идет на тебя зверь, Станешь со временем настоящим промысловиком. И меня вспомнишь. Есть, значит, у тебя охотнице счастье, — Сауков говорил это с доброй улыбкой, посмеиваясь в бороду.

А потом пошли сплошные неудачи: то выдует капкан ветром, то зверь его стороной обойдет, то полярная сова склюет попавшего в капкан зверька, то ни следа на припайке. И верно говорят: большая удача один раз в жизни бывает, чаще тогда, когда рвешься к ней, но не веришь в ее, не ждешь.

Разного зверя добывал, а голубой так больше и не попадался. Никогда не верил в шалую удачу, но и теперь часто снятся голубые снега, голубые песцы. Наверно, дело тут в чем-то другом.

### КУРОПАТОЧИЙ ЧУМ

ПЕСЦА в ту зиму было — даже в крыльце забирались, хотя собак в поселке в десять раз больше, чем жителей — с полсотни штук.

Больше десятка песцов до января поймал, пока ветра не ударили. Целую неделю как-то пурга по тундре гуляла.

Стихло, а капканы не смотрены стоят. Недалеко. Всего километра четыре от поселка. Тянет посмотреть.

Сауков, длинный, худой, как жердь, но жилистый, из тех, что знают север, как себя, не советует идти.

— Рано, — сказал, — еще хватанет!

Не послушался я. Пошел. И пяти капканов не просмотрел, как поземок с хребта налетел. Кругом все белым-белое. Стоять невозможно. Поперло меня по склону к морю. А поселок-то наш всего два домика. «Угадать бы», — думаю.

Стороной проскочил. Почувствовал это, когда свалился в овраг: их около моря много.

Тихо там. Ветер выше бьет. Снежок сверху сыплется на голову. Но стоит выбраться наверх — обратно кидает, кубарем вниз летиши. Всего какой-то час прошел, а я из сил выбился, так бы и прилег, захрапел. Знаю, что дом близко, с полкилометра всего, и стараюсь держаться. Вылез из оврага на припаек. Чувствую: по льду иду. Споткнулся. Упал. Приподнялся. Повернулся спиной к ветру. Сел. Карабин, дулом кверху, на плечо положил, двух пойманных песцов — в ноги. Голову в малицу втянул. Каюшон внутрь завернул, чтобы снег не попадал.

— Ждать придется, — думаю. — Долго ждать.

Сколько времени прошло, не знаю. Хочу встать и не могу, держит что-то сверху. Наст, по-нашему — чир, образовался за ночь. Стал дулом карабина шевелить, с трудом пробил отверстие для головы, разломал кое-как ледяную корку. Вылез. Вижу: до станции рукой подать, метров триста каких-то. Прихожу туда: нет никого. У Дарьи, жены Осипа, вкусным из печи пахнет. Открыл заслонку — шаньги и ладка с омулем. Хотел только попробовать и не заметил, как со всем управился.

Сижу дома довольнёшенек, а меня ищут.

Радости было, когда вернулись. Ночью и смоляные факелы жгли, и кричали, из ружья стреляли — всё пурга слотнула. Овражек я на другой день посмотрел — его как не было: такой наст сверху, что топор не берет.

Куропатка, или куропать, как северяне ее зовут, в снегу но-чует, зря в такие места не суется: знает — затишье обманчиво. Для нее эти овражки как песцу медвежий капкан: раз — и готово. И с людьми случалось такое. Старик Сауков много случаев приводил и «Не бойся ветра — бойся тишины» — наказывал.

## ИВА-ИВУШКА

СКОЛЬКО песен сложено о иве — не сосчитать. Грустной ее называют, плакучей. Может, где-то и так, но мы ее другой знаем.

Ива у нас первой о весне оповещает. Еще снег кругом лежит нетронутый, а на ней уже почки лопаются. Еще травка чуть зеленеть начинает, а у нее уже сережки распустились.

Достается иве. Мы вырубаем ее. Да и как не рубить, если луга зарастают: вотки кол в землю и тот весной побеги выбрасывает. Подроют вешние воды берег, упадет старая ивина — тут же сотни корешков выпустит, прижимаясь всем телом к глинистому дну. Смотришь — вместо одного дерева целая роща поднялась и полезла вверх по косогору.

На поскотине, в зарослях ивы птицы гнезда вьют. Спеша на рыбалку, мы срезаем прут на удилище, ни в чем не уступающее бамбуковому, привезенному из далеких заморских стран. Зимой в этих зарослях куропатки кормятся. Мерзлые почки ивы частину солнечного тепла хранят в себе, греют их в сорокаградусные морозы.

Мы вырубаем иву, а она все так же ласкова с нами. Ранней весной, словно просит сорвать ветку, чтоб дома зеленью запахло. А осенью, как услышишь — ивняки зашумели, то знай: лиvenь идет, ищи убежище. И только когда облетает листва, ива действительно грустит. Может быть, ей жалко, что мало для человека потрудилась, лето коротко, сколько еще озерин надо выслушать, сколько откосов укрепить.

Не зря нашу сторону ивняковой зовут.

В детстве мы учимся из ивы свистульки делать. Это просто: срезал прутик, постучал по нему перочинным ножиком, снял кору трубочкой и на свистывай себе что хочешь. Тогда же впервые замечаем, как в тени густого ивняка над озером бродят в глубине горбатые красноперые окунь. И ловчимся корзинки из веток ивняка плести. Легкие они, крепкие, а если крышку приделать, тоже плетеную, лучшего садка не надо.

Совсем она не плакучая — ива. Может, слезы ее на морозе вымерзают? Не спорю. Мороз и человека порой до костей пробирает.

Звери кору обгрызают, ветки ломают, человек под корень иву вырубает, льдины с корнями выворачивают, а она все на север спешит, до студеного Баренцева моря расселилась, и даже на острова перешагнула. И красотой не блещет, а счастливая. Нам свое счастье она пригоршнями раздаривает. Куда до нее знаменитому родственнику ивы лавру, растущему в благодатных краях. Там легко быть счастливым, а ты на севере попробуй, где зима, как говорят, двенадцать месяцев в году стоит.

## И ТАКОЕ БЫВАЕТ

ЧЕГО не услышишь порой от участковых инспекторов, которые с весны до осени дома почти не бывают. Записал я как-то один из рассказов, слышанный мной зимним вечером, когда за окном пурга бушевала и нам поневоле пришлось ночевать в Дресвянке. Название поселка, конечно, идет не от древесины, а от мелких, ровных камушков на берегу реки — дресвы.

— Хотите верьте, хотите нет,— начал один из пожилых работников рыбоохраны — грузный, седой, обычно молчаливый «капитан». Чужим я об этом не распространяюсь — злым языкам только повод дай, начнут тараторить, не рад будешь.— Случилось однажды со мной такое.

Никак не мог я одного злостного браконьера изловить. И до чего хитрый мужик попался — я его по всей реке ищу, а прибуду я домой — на берегу встречает с ухмылкой. «Как съездил? — спрашивает.— Ловишь кого-то?» Зловредный — усмехается, бороденку поглаживает. «Да так,— говорю,— для профилактики ездил, и мотор на случай проверить не мешает. «Вихрь» получили». «Теперь мужикам трудно от вас будет убегать», — и снова усмехается, как будто не знает, что такие моторы чуть ли не в каждом доме. Кое-кто по два на корму ставит. Попробуй догони. И реку знают не хуже нас, даже лучше — любой перекат в темноте проскочит, днищем о камни не царапнет.

Сутки-двою караулил я этого ворюгу. И как раз проливные дожди шли. Пришлось палатку разбить, переждать непогоду в укромном закутке. На люди показываться не хотелось. Какая уж там тайна, если заночуешь у пастухов, а назавтра вся округа знает, где рыбинспектор объявился.

Промерз я ночью до костей, прислушался к темноте — ветер, вроде, рвать начал, крутит из стороны в сторону. К утру, думаю, пройдет дождь. Обрадовался. Ну и... по такому случаю... в запасе была. Зуб на зуб не попадает. Еще лихоманку схватишь. Опрокинул чарку-другую и уснул.

Показалось во сне, будто дома нахожусь, жена ругается: мол, скоро ли из этой проклятущей инспекции уйдешь, чего ты там нашел? «Ладно,— говорю,— хватит. Забубнила. Надо же кому-то и в рыбоохране работать. Дети взрослые, а все о том же. Дай хоть под старость лет по-человечески пожить. Сколько я там проробил, куда уходить, от добра добра искать? А кто меня сменит?» — «Не надо мне такого добра». — «Одних грамот сколько. Вся стена увшана». — «Не надо мне твоих грамот. Дома хозяин нужен». — «Ладно,— говорю,— спи. Утро вечера мудренее. Уробилась ча ферме-то». Чую: угомонилась. Она и поругивается-

то так для страховки, чтоб не зазнавался, на всякий случай, так сказать. Разве я на кого свою Аннушку променяю? Но из рыболовчаны уйти? Позволь! Не вмешивайся в сурьезные дела.

С минуту рассказчик молчал, а потом неожиданно засмеялся:

— Вскочил я от страшного рыка, что-то сверху шлепнулось на меня, ноги в чем-то запутались, подняться не могу и приди в себя тоже. Долго ли, коротко ли, вылез я на карачках к солнышку. Утро ясное пало. По реке, вижу, утки сплываются. На песчаных косах гуси пасутся. Издалека, с отгонных пастбищ, мычание нетелей доносится. А палатка моя кучей лежит. Все колышки выдернуты. На сырому от инея песке следы медведицы. Видел я ее после не раз — на крёж с дитём выходила. Той ночью медвежонок ко мне в палатку, чтобы от дождя спрятаться, залез, тоже прозяб, знать. Я во сне обнял его да так и спали вместе, пока мать не объявила. Вытащила она шалопая за шиворот из палатки, отшлепала как следует по заду, а заодно и с палаткой расправилась. И теперь удивляюсь, как меня живым оставила. В рубашке, наверно, родился. Но когда мимо того носка проезжаю, каждый раз мурашки по телу пробегают. Хотите верьте, хотите нет, а с тех пор я в дорогу даже граммульки не беру: зло в ней, а не спасение.

За окном свистел ветер, выла пурга, а в теплой, жарко настопленной квартире еще долго вспоминали участковые, что с кем случалось. Чего только я от них не наслышался. А Васильченко, районный рыбинспектор, кивая головой в знак согласия, говорил мне:

— Запоминай. Оно, конечно, не без свиста, но доля правды большая в их рассказах. Всякое случалось. Тебе записывать надо их байки.

С того дня я стал я записывать рассказы рыбинспекторов вкратце: поймем, где был, где намёк, и для своей пользы извлечем кое-что. Много историй записано, удивительные случаи есть, но все как-то руки не доходят собрать их в одну тетрадку.

## КОЖИМ — РЕКА

СИДИМ мы как-то вечером с друзьями, об Инте разговор ведем. Город небольшой, не знаменитый, но какой-то уютный, я бы сказал, домашний, люди здесь приветливы, доброжелательны.

— Нет, ты еще не знаешь Инты, — сказал мне взрывник шахты «Глубокая» Иван Мельников. — Чтобы понять ее, надо побывать на Косью, на Кожиме, в верховых Усы. Дикая красота. Сердце в полон берет. Человек при виде ее добрей становится.

Я много слышал о Кожиме — угрюмой, своенравной реке,

сбегающей с отрогов Западного Урала, с холодной водой, от которой ломит зубы.

И вот мы в пригородном поезде. От Инты до Кожима не так уж и далеко, всего какой-то час езды. Выходим на небольшой станции и топаем километра три вдоль железнодорожного полотна, к домикам, стоящим неподалеку от реки. Хозяин одного из них узнает в гостях старого знакомого и широко раскрывает калитку.

— Как здоровье, Николай Николаевич?

— Ничего. Живу помаленьку. А вы далеко собрались?

— На Кожим глянуть. Завтра обратно в город.

Еще зимой я слышал немало добрых слов об этом человеке, старожиле поселка. Он тут каждый уголок знает, каждый перекат. Жаль, что рыбалка в верхнем течении запрещена, но зато грибной сезон наступил.

— Белка! На место! — окликает старик лайку, что крутится на цепи, лает на незнакомых людей. — Хватит. Свои! — И собака, послушная воле хозяина, молча свертывается клубком и требовательно смотрит на нас, словно спрашивая: «Зачем пришли? Что вам тут надо?»

— Если хотите, я подкину вас до Монаха, а завтра обратно заберу.

Кто откажется от такого предложения? И вскоре лодка — узкая, длинная, с «вихрем» на корме, — движется по Кожиму. Здесь не скажешь «несется», местами течение столь быстрое, что кажется — лодка стоит на месте, нос ее крутится в струе и лишь через несколько мгновений она снова вырывается вперед. Вода в реке настолько прозрачна, что виден каждый камушек на дне, хотя глубина не меньше трех-четырех метров. Над обрывистыми берегами алеют цветы Иван-чая, над водой покачиваются уже отцветшие бутоны купальниц, а дальше, за поворотом, начинаются перекаты и пороги. Они удивительно разнообразны: то вода с большой высоты с шумом падает в яму, бурлит, пенится, то воды в реке всего на сантиметр, но она широка, без крупных валунов, на дне искрится под солнцем разноцветная галька. Особенно красивы скалы.

Лет пять назад здесь высилась над водой как бы вырубленная природой из камня фигура «монаха». Весной она обрушилась в воду, — глыба в четыре-пять тонн весом, — оставив после себя глубокую нишу. Хорошо, что обвал произошел в ледоход, когда никто мимо не проезжал. Нет «монаха», но скала сохранила название. Я настолько засмотрелся на нее, что показалось: вижу рядом с расщелиной чье-то окаменелое лицо.

— А это что? — спрашиваю напарника.

— Скала как скала. Их тут много.

— Да нет, ты посмотри...

Видимо, каждый видит в окружающем то, что несет в себе. Мне действительно показалось, будто рядом с «монахом» выбит из камня портрет язычницы, чей взгляд устремлен к Уралу.

Отроги Полярного Урала кажутся совсем близкими, но до них далеко, ой как далеко, не один день надо подниматься по реке, чтобы достичь их. Белеют снежные шапки. Слоны гор, словно пудрой осыпаны.

— Давно? — спрашиваем Николая Николаевича.

— С половины июля, когда у подножий еще старый снег лежал.

— В июле снег?

— Это ж батюшка-Урал, от него всего ждать можно. Завтра тоже погода не ахти какая будет, вон как хребты тучами обволовлено. Дождика ждите, ребята, дождика.

Вторая, за Монахом, скала — прямая, отвесная, высоко поднимающаяся над лесом, а неподалеку от нее словно старинные замки стоят... Всё это причуды природы. На Урале и не такое увидишь. Есть вершина Сабля, гора Каменных идолов, Долина смерти, наконец, особо любимое мною с юности место Семи сопок и Семи озер. Есть даже отвесная скала, на которой несколько жаждущих славы и бессмертия граждан с вертолета «увековечили» свои фамилии. Большого смысла в этом не вижу, так же как в зарубках на деревьях или надписях на заборе. Не этим славен человек.

Лодка петляет из стороны в сторону. Хозяин ее помнит тут каждую плиту, каждую отмель и проведет лодку к месту с закрытыми глазами, если понадобится.

Навстречу нам, с песнями, высоко подняв над плотом красный флаг, сделанный из чьей-то косынки, плывут студенты-туристы. Старик чем-то помог им, когда они забирались в горы и теперь его окликают:

— Отец, ты скоро вернешься? Мы тебе плот дарим. Пригодится в хозяйстве.

— У вас все хорошо? — спрашивает он.

— Лады! — и машут парусиновыми кепчиками.

Останавливаемся около Сынь-ю. Пожалуй, хватит. Обратно будет далковато топать, а времени в обрез.

— Где вас встречать?

— Около Монаха, дальше-то не пройдем этим берегом.

— К одиннадцати подъеду, успеете на поезд. Отдыхайте. — Николай Николаевич, небольшого роста, подвижной не по годам, в телогрейке и шапке-ушанке, что служит ему зимой и ле-

том уже долгие годы, снова дергает заводной шнур мотора.

В это время нас окликают. Из-за кустов появляется паренек, мокрый с ног до головы.

— Отец, не подкинешь нас до поселка? Просчитались. Сынь-ю разлилась, а вброд что-то не хочется, хотя и пытались, еле на ногах держимся.

— Сколько ж вас? Откуда?

— А мы спешим с Кось-ю на Кожим, через водораздел. Пятеро.

— Хм! Што вас носит тута?

— Ребята у костра сушатся после неудачной переправы.

— Заберу.

Лодка исчезает за поворотом, а мы, недолго побродив по берегу, разжигаем костер. Место сухое, ягельник. До нас тут уже побывало немало людей. По кострищам можно определить их характеры: на одном пила оставлена, чтобы можно на ночь дров запасти, шалаш сооружен, на другом — пустые консервные банки да битое бытовое стекло.

Начинает темнеть.

За рекой хрустнул сучок. Чья-то тень мелькнула на тропинке, пробитой в прибрежной траве.

— Кто ж это?

Сразу трудно угадать, но когда увидали белое пятно на груди, то поняли: олень.

Остановился, приподняв голову, и так же не спеша отправился дальше. А там, дальше, слышны чьи-то голоса. Кто-то злится, а кто-то смеется. До нас доносится: «Перебреду... Не сидеть же тут!»

Из экспедиции, наверно, много их по тайге бродит. Слышим, как человек лезет в воду, чертыхается. Представляем себе, что за удовольствие купаться в ледяной воде. А тут и дождик начал моросять.

В это время раздался выстрел. Всё стихло. В полутьме трудно понять, перешел смельчак Сынь-ю или нет. И снова голоса: «Эх, ты, мазило». «Подожди каркать. Еще не бывало такого». Слышим хруст веток и громкое: «Вот он...» В ответ: «Чего разорвался!»

Снова тихо. Лес, растущий по склонам предгорий, молчалив, лишь где-то в кустарниках, около речки, сонно перекликаются пичуги, кулик-перевозчик зовет кого-то к себе да кружит над Сынь-ю какая-то полоумная чайка.

Неподалеку от нас высоким столбом полыхает костер, за ним начинает разгораться другой — на нашем берегу. В темноте снова слышатся возбужденные голоса:

— Братцы, перекиньте кусок. С голоду подохну. Слюнки текут от запаха. Голова кругом идет.

— А ты бы обратно к нам.

— Ну, нет. Б-р-р! Перетерплю.

Как-то не по себе становится, холодок пробегает по коже, когда думаешь о встрече с такими людьми. Темнота предгорий давит, силуэты деревьев при свете костра кажутся злыми великанами.

— Они ж домашнего убили. Весной много оленей отбилось от стад. Потери большие были из-за гололеда. Охотнички! — И мой напарник начинает устраиваться на ночлег.

На зорьке мы спускаемся по берегу Кожима, переходя протоки, где я получаю «крещение» — обманула светлая вода, оказалось гораздо глубже, чем думал. Б-р-р! Сначала охватывает дрожь от нестерпимого холода, но вскоре, при подъеме на крутое каменный откос, куда ведет узенькая, петляющая из стороны в сторону тропинка, становится жарко.

Тучи над перевалами уже плывут в другую сторону, проясняется, вот-вот покажется солнце. И оно появилось. Вскоре дошли до отвесных скал, глянули сверху окрест — душа занялась: такая красота кругом — белые от снега вершины, темные ельники, убегающие под самые небеса, в низинах туман, а может, еще не проснувшиеся тучки.

Далеко внизу шумит Кожим, быстрые струи его разбиваются о камни. А я думаю: «За перевал бы махнуть. Народную посмотреть. Что там?»

— Сибири! Азия! Что еще.

— Сколько ж здесь высота карниза?

— Метров тридцать, не больше.

— Не могу понять, Иван. Кажется, дно шевелится.

— Чудной, это ж хариус на яме скопился. Не видал?

— Не приходилось.

— То-то. Да как его оттуда возьмешь? Только взглянешь на воду, и то голова кружится. Ну, теперь за грибами.

Лесная тропка вьется над скалами, сбегает в ложбины, манит нас на взгорки, пересекает березовые рощи, ельники, где полно лосиных следов, а еще больше красноголовиков, и снова круто уводит к реке. Спускаться вроде бы легче, но не спеши — можно шею свернуть. А под нами глубокая протока, называемая Трубой — быстрая, черная, лишь пена белеет около бесчисленных валунов, выступающих из воды.

День начался так же, как и предыдущий: то солнце, то дождик. Мы то сидим под елкой, прячась от холодного ветра, то бродим по каменистому берегу, где каждый камень отшлифован до

блеска. Пора и домой собраться. Ждем, когда появится Николай Николаевич на своей моторке. Вскоре из-за поворота слышится шум мотора.

— Мы здесь! — И машет руками. Старик подъезжает к берегу, улыбается, видя дополна набитые рюкзаки и наше настроение.

— А я-то беспокоился, мол, надо было брезент оставить, палатку раскинуть, у костра ночами-то холодновато.

— Мы не мерзли.

— Насмотрелись на Кожим?

— Голова кругом.

— Вот и ладно. А в верховья я как-нибудь вас поздней осенью свожу, выберем время. Печорские Альпы посмотрите. Все покажу вам.

Обратно лодка несется, словно у нее крылья отросли за это время. И как только старик угадывает перекаты, скрытые под водой, находит «струю»? Он сидит на корме спокойно, левой рукой придерживая руль, а правую положив на борт лодки. Солнце, а он все в ушанке.

— Не жарко вам?

— Привык. У нас так бывает, что утром тепло, а к вечеру до костей проберет. Привык потеплей одеваться. Вы сразу на поезд?

— Хотелось бы успеть.

— А то зайдем, чайку бы попили, самовар у старухи на столе.

— С удовольствием бы, но время, время...

И снова стучат по рельсам колеса пригородного поезда. Всего какой-то час езды и попадаешь в иной край. И усталости словно не было. Так чист и свеж воздух Кожима, так прозрачна, похожая на сказочную, его вода, что как бы молодит. А может действительно Кожим питают такие источники? Или горы обладают целебными свойствами? Не потому ли человек, побывавший там, обязательно добреет, ему хочется сделать что-то хорошее, даже совсем незнакомому, встреченному, сказать, сняв кепку: «Здравствуйте!»

— Здравствуйте! — удивленно ответят ему, пытаясь вспомнить, где они встречались, что за люди. — Откуда вы?

— С Кожима!

— А, с Кожима! Тогда всё понятно.

## НОЧНОЙ ПРОЛЕТ

БЫСТРО идет смена года в Приполярье. Давно ли, кажется, все звенело вокруг, травы на лугах стояли по пояс человеку, а вчера выехал за город и замер от удивления. Рябины жарким пламенем на ветру пылали, кружились над знакомой просекой листья ивняка, дрожали от сквозняка березки, а ёлки — те словно к празднику готовились. Всегда зеленые, строгие, они окрашены сейчас в разные цвета. Это соседки постарались, украсили их одежду своей листвой. И тихо как-то стало в лесу, птичьих голосов не слышно.

Изредка над рекой гремят выстрелы. Охота уже давно открылась. Нет-нет и пролетит мимо вспугнутый кем-то табунок шилохвости, тяжело махая крыльями, грузно поднимутся с воды стаи чернети, ожиревшей от обильной пищи, молча сделает круг-другой над перекатом одинокая чайка — сегодня, еще робкая в полете.

Кажется, совсем недавно был я на сенокосе. На место, куда мы выбрасывали, в заранее вырытую яму, рыбьи кости, пустые консервные банки, выливали остатки супа и компота, слетелось множество птах. Тут были синицы, вьюрки, каменушки, даже красногрудые снегири откуда-то пожаловали на «общий сбор». Все сутились, поклевывали что-то, тут же ловили мух и бабочек, совсем не боясь человека. Привыкли к тому, что их никто не трогает, и собаки на птах внимания не обращали. Трясогузка — та совсем осмелела — детишек вывела в гнезде, сделанном под крышей избы косарей. В бригадную кухню порой чуть ли не всем выводком залетали. Воробышок откуда-то взялся, так и снуит под ногами, а когда цыкнешь на него — взлетит на край столешницы и начинает нахально «чирик-чирик» — чего, мол, тебе от меня надо, я тут хозяин.

Давно ли, кажется, а уже время отлета наступило. Многие из крылатых странников уже покинули наши края. Давно не видно ласточек-береговушек, весело щебетавших над рекой. Нет старого бекаса, что кружился над лесом, исчезли кулики — не услышишь улиты, перевозчика, не присядет на ветку ивы веселый «фи-фи». Утки собрались на озерах в большие стаи. Переочечивают с одного озера на другое к своей столбовой дороге. Но в дальний путь они отправятся еще не скоро, заморозки их не пугают. Свиязи, красноголовые нырки, турпаны, космари, серые утки — все они сейчас держатся поближе к Усе и путь их лежит не прямо к югу, а к западу, к Печоре, с которой повернут на побережье Балтийского.

Сколько же еще загадочного в природе, попробуй разгадай хотя бы, почему птица выбирает тот, а не другой маршрут.

Куда, интересно, делось семейство нашей трясогузки? Вроде бы, рано еще на юг. А куда улетают от нас эти пичуги, ледоломками прозванные? Это мы уже знаем: в Южную Африку, но ходят там для них сущий рай, а гнезд не выют.

Приметил я однажды их отлет. Было это в родной деревушке. На рыбалку мы собирались, да забыли что-то дома, пришлось одному из нас вернуться. Я присел на днище опрокинутой лодки, задумался о чем-то и не сразу заметил, как на беть-перекладину, где ставится парус, села плищечка (это еще одно имя трясогузки), подергивает хвостиком, словно кланяется мне, потряхивает головкой. А на корме уже другая. Гляжу — их не сосчитать. С камушка на камушек перепархивают, все дальше от нас, вдоль берега. Только наутро догадался, когда не увидел на заборе палисадника трясогузки, чье гнездо под баней было.

Снова вечереет. Сколько часов уже брожу по лугам, по узким тропам, проложенным в ивняках и густых ельниках, заглядываю в березняки, где еще сохранились грибы. Последние, знать. Корзина наполняется красноголовиками, синявками, волнишки попадаются — сочные, ядрёные, без единого червяка. Пламенеют рябины, а на их ветках покачиваются свиристели, пересвистываются между собой. В плотную подойдешь — и не подумают взлететь. А, может, не могут? Такое с ними бывает — так наедятся, что крыльями взмахнуть не могут, отдых нужен, и про свое «свири-свири» забудут. Но это лишь на время. Чуть отдохнут и снова набросятся на рябину, будто никогда ее не пробовали. Это не дрозды — ни ягодки наземь не уронят.

В ельнике выводят свое «рюм-рюм» снегири. Им, пожалуй, такое время даже больше нравится: исконные северяне, даже имя у них «снежное». Грудки, как кусочки зари, алеют.

Я беру на память несколько рябиновых веток с гроздьями, прибавляю к ним побеги карликовой бересклети, еще зеленые, не тронутые утренниками, и сворачиваю в сторону города. Проглядел, не удосужился попрощаться с друзьями. «Эх ты, человек, — говорю себе. — А ведь те же трясогузки тебе первыми о весне напомнят, те же чеканы в луга позовут, когда травы начнут в рост подниматься, тот же хохлатый жаворонок в березовый колок пригласит».

Грустновато становится, что лето так быстро пролетело, что уже поздняя осень на дворе, вот-вот ударят метели. Снежком припахивает. Вода в реке потемнела, а тучи стали похожи на сугробы.

Но оказалось: я выбрался из города все же вовремя. Чуть

стемнело, вспыхнули в небе звезды, как над головой послышалось «пи-пи», то удаляясь, то приближаясь к тебе снова. Это был ночной пролет.

Потому часто и не замечаем мы отлета мелкой птахи — она отбывает на юг по ночам, летит по звездам, высоко в небе, только слышишь: «пи-пи». И так всю ночь.

В городе, когда вернулся туда поздним вечером, я еще долго стоял на площади, запрокинув голову, подняв руку. «Пи-пи» — неслось с вышины.

— До встречи весной! Счастливого пути!

Становилось холодновато. К утру вода в лужицах ледком покрылась, земля — ииенем.

Осень — грустная пора, но так мир устроен. И в ней есть своя неповторимая прелесть.

## НЕ УБЕРЕГ

В АПРЕЛЕ снега ослепительно сверкают. В это время беречь нужно глаза. А я зимовал первый год и к советам старших не всегда прислушивался. И через это влип в историю.

Поехал как-то на сбор яиц. Далеко забрался, к устью Море-ю, что означает «река из моря». Уже первые гуси прилетели. На пары разбились. Можно было ожидать, что и кладки у них появились. Я до этого не знал, как гнездятся гуси, и очень хотелось найти их гнезда. Увидел, что с одной сопочки слетела пара гусей и закружилась надо мной,— и туда. «Вот тут-то и найду», — подумалось. Но гнезда не обнаружил. Часа два кружил, пока не показалось, будто шерстинка в глаз попала. Хотел потереть его ладонью, а шерстинка уже в другом глазу. Все закружилось перед глазами, все засверкало и вдруг — темнота. Я даже не понял сразу, что ослеп, а когда дошло, то перепугался, сел на нарты и закрыл лицо руками. Когда отнял ладони, боль вроде бы утихла, но темнота стала еще гуще. Сколько так просидел, не знаю. Все из ума вылетело. Пришел в себя от толчков. Это Верный, вожак упряжки, тыкался носом в мои колени, взвизгивал, словно спрашивая, что случилось с хозяином, что нужно ему.

— Домой, Верный! Домой! — И я прилег на нарты.

Верный, крупный, черный пес с белой грудью, радостно тявкнул, и упряжка потащила нарты. «Куда? Привезут ли?» Сквозь меховую куртку грело солнце, со всех сторон несся на меня гомон птиц. «Чудится, наверно».

Верный не подвел, благополучно привез домой.

Начальник станции встречать вышел. «Ничего,— сказал он,— бывает. Денька три-четыре пролежишь и пройдет. А гусь-то валом попер. Так и кружится над станцией. Ребята уже на охоту отправились». А я молчал. Целых четыре дня. И в какое время. И поделом. Не будь столь самоуверенным. Говорили старшие: «Надень очки». «Обойдусь без них»,— отвечал. Вот и обошлось.

## МАЙ В ПРИУРАЛЬЕ

НЕТ нигде такого мая, как на Полярном Урале. На городских улицах постукивают об асфальт женские каблучки, белеют вербы в скверах, наливаются соком березы, а за городом, в тундре — снега, солнце, ветер. Сколько же там лыжников, и в какой форме — в плавках. Побегаешь так день-два, и тело станет смуглым, как у индейца. По утрам звенит под ногами наст, а к полудню с трудом на дорогу выбираешься — снег на глазах оседает, гуси гоготают в небе.

Вчера произошло неожиданное, неслыханное: с утра небо обложили тучи, к вечеру пурга началась, с ног валит. Закидала в окна хлопьями снега, заметалась по переулкам, небо вдруг словно раскололось, город как пожаром охватило. Грохот. Молния.

Разное видел, живя на севере, но такой грозы не припомню. Она быстро ушла куда-то в сторону. Пурга тут же утихомирилась, как собака хвостом завиляла. И снег начал на глазах таять. Еще сильней зажурчали ручьи. Еще ярче тундра под солнцем засверкала.

## АЛЬПИНИСТЫ

НАШ город зовут городом БЕЛЫХ РОМАШЕК. Это любимые цветы северян.

Шахты, а за ними тундра — речушки, заросли ивняка, болотины. От города к поселкам, словно лучи, идут дороги, обсаженные березой, черемухой, рябиной, тальником. Любят интинцы зелень, любят свой приполярный город на серебряном меридиане и украшают его. Долгое время люди не могли придумать, как избавиться от терриконов, придающих горняцким поселкам угрюмый вид. И без них пейзаж не особенно веселый — мхи, чах-

лые березки да кочкиарники. А терриконы все росли. Правда, инженеры научили делать из пустой породы легкий, прочный, красивый кирпич для строительства. В этом они стали пионерами. Но горы, выросшие за тридцать лет, когда-то еще переработались.

Начали подбирать цветы. За какие ни брались — не приживаются. Поздняя весна, холода и грунт — корни пустить негде, зацепиться не за что. Пока думали-гадали, терриконы из грязно-бурых, зеленоватых, с ржавыми опалинами, побелели, словно их снежком присыпало. Ветер откуда-то вместе с торфом занес сюда семена ромашек, и они взошли.

Вот уже который год качаются на ветру глазастые, с хрупкими стеблями ромашки и взбираются все выше по склонам терриконов. Чем не альпинисты?

## БРАТЬЯ ЖЕНЬШЕНЯ

СИДИМ на берегу Сынь-ю. Быстро темнеет. Потрескивая, горят в костре сучья валежника, пламя отбрасывает в окружающий нас ельник густые тени. Сидим, немножко загрустив о том, что не заметили, как лето пролетело, вот-вот заморозки ударят и ха-риус начнет скатываться с порогов в глубокие ямы. А рядом с ними покачиваются на ветру пионы. Совсем недавно эти взгорки были покрыты их крупными темно-красными цветами. Словно костры горели их семейства на берегах Сынь-ю. Теперь остались только коробочки, в которых зреют семена, и тех мало. Не срывать бы пионы, а собрать семена да высевять в городских скверах осенью, чтоб зазимовали в снегу, весной влагу в себя впитали — иначе не взойдут. Они по-своему прихотливы, эти уроженцы глухих таежных уроцищ, с трудом приручаются, редко встретишь их в наших скверах. В народе эти цветы марынным корнем зовут, ботаники — братьями знаменитого женьшена считают.

## СМЕРЧ

С УТРА палит. К полудню дышать стало нечем. С гор, на вершинах которых ночью забелели шапки снега, подталкивая друг друга, не спеша, ползут по ущельям свинцовые тучи. А озеро, где мы остановились на дневку, блестит как зеркало. Ни одна травинка не шелохнется. Духота. Тишина. Плечи от солнца го-

рят, словно в котельной смену отработал. Все это настораживает.

Мы даже обрадовались, когда одна из редких еще тучек обронила наземь крупные капли дождя. Стук разнесся, словно кто гвозди в деревья вбивал. Но вот откуда-то издали, быстро приближаясь, к нам донесся шум, похожий на шум бегущего оленевого стада. Над рекой закрутились чайки, крик их похож на жалобу. И уже не оленье стадо, а колонна вездеходов как бы приближается к нам, ломая на пути деревья. Мы знаем: оленям в эту пору тут взяться неоткуда, вездеходам тоже. И нечего им делать в лесу, когда рядом сухие болота, низкие кустарники, луговины. Так что же это?

Ждать пришлось недолго. Склоняясь до земли, застонали ивы, пробежала рябь и тут же взметнулись над ним крутые волны, всё окутала темнота. Всё заскрипело, загудело. У противоположного берега что-то взметнулось из травы и упало в кусты — большое, черное. Поднялся высокий столб воды. Всего несколько мгновений, мы даже испугаться не успели — и снова тишина. Лишь все так же, не спеша, подталкивая одна другую, ползут с гор темно-серые тучи.

Смерч! Редкое на севере явление. Ему на воде не попадайся. Чью-то лодочонку вон куда зашвырнул. А как рыба вместе с водой взлетела! К ночи града жди.

К вечеру действительно похолодало, удариł ветер, запрыгали по земле, путаясь в густой траве, покрывая ее толстым слоем, крупные, как горох, градины. Теперь стало понятно, с чего за одну ночь горы как бы поседели.

Отходили мы за грибами. Все в лесу побило. А ведь только половина лета, сколько добрых дней еще ждало впереди.

## ПОТЕРЯЖА

Я СЕГОДНЯ что-то потерял. Вернулся с работы, брожу из угла в угол по комнате, все из рук валится, над головой тучи от папиросного дыма нависли. Присел, прислушался к проходящему мимо дома автобусу и вдруг представил себе, как ты с увесистым рюкзаком за плечами спешишь на вокзал. Народу — битком набито. Не протолкнуться. Втиснулся кое-как, сбросил рюкзак в угол тамбура и глядишь, как проплывают мимо окон терриконы, пригородные поселки, слушаешь, как монотонно стучат колеса по рельсам.

Все давно знакомо и все новое. Речушка, через которую проложен мост, как бы зовет к себе, к березке, стоящей на косогоре, к зарослям шиповника, где уже распустились цветы. Глухо стучат колеса, как бы говоря — жизнь не стоит на месте, время не ждет, надо поторопиться успеть сделать все, что задумано. Становится чуточку грустно от таких мыслей — нам уже давно не двадцать, а задуманное, как ты любишь повторять, напоминает солнечного зайчика, которого видишь, а поймать не можешь.

Но грустные мысли быстро рассеиваются, когда открывается вид на Урал. Красивы его увалы, окутанные сизой дымкой, сквозь которую видны белые пятна снега. Мелькают полустанки. А он — молчаливый, величественный — становится еще выше ростом, вершины хребтов покрываются румянцем.

Тебя тянет туда, к вершинам, как всех влюбленных в жизнь людей.

Вот и твоя станция. Попутной машины нет. Придется пешком добираться еще километров с десяток. Шагается легко, свободно, весело.

Дорога вьется широкой лентой, делая крутые повороты и плавно спускаясь к реке. Начинает печь. Пот влажными каплями струится по лицу. Ветра нет. Он или в кустах запутался, или в могучей кроне старого кедра. А по реке разбегаются в разные стороны солнечные круги — рыба играет.

Ищешь брод. Спешишь. Осторожно. С камня на камень перебираешься через шумный поток. Тебя окружает стайка местных ребятишек из горного поселка.

— Дяденька, — кричат они, — смотрите, дяденька, вода у нас голубая.

И ты застываешь, удивляясь, как это сам не заметил такой красоты. Радость подступает к сердцу, сжимает его, захватывает дух, обволакивает мысли густым туманом. И по-новому зашумело перед тобой море тайги. Его шум не настороживает, а зовет все дальше, дальше в горы. Входишь в лес без шума, грома, треска, как и подобает его настоящему другу. Тайга доверчива, и это доверие нужно ценить. За добро добром платят. И она ответит тебе лаской.

Ты слышишь чуть заметные шорохи в кустарнике — как шепчутся между собой ели, как водят хоровод березки. Перед глазами у тебя — зеленое пламя. Ярко поблескивают под солнцем голубые блюдца озер.

Так вот в чем моя потеряжа — я окунулся с головой в житейские заботы и забыл: намечали встретиться, ты же ждешь меня на берегу горной речушки, как ждал не раз. Что сегодня слышится тебе в шуме пенистого порога? Впрочем: что ж это я,

ведь ночной еще есть, еще успею... Сапоги, куртка, рюкзак — все летит к порогу. Быстро собираюсь, хлопаю дверью и спешу на вокзал. Засиделся. Душа простора просит. А ты уже не ждешь, наверно. То-то удивишься. Как сумел добраться,— скажешь.

На товарняке, браток, на товарняке.

### ЗАПАХ КОСТРА

ДОГОРАЛА на ветру холодным пламенем рябина, неподалеку от которой было наше огнище. Воздух, напоенный летом ароматом цветов, в этот час пах чем-то другим. Этим другим был запах костра, куда мы разных сучьев набросали — березы, давно лежащей на земле, сухих листьев тальника, прутьев рябины и остатки шалаша из сосновых веток. Все это горело дружно, с потрескиванием и шипением, пахло сладковато и горько. А может быть, это просто показалось? Может быть, так пахли лежащие на земле пожухлые листья кустарников? Нет, этот запах исходил от костра. Скорее всего от полусухих веток ивняка. Пламя постепенно угасало, и лишь горстка углей напоминала о том, что всего полчаса назад мы жгли на этом месте прощальный костер. Скоро огнище заметет снегом. Весной его зальет водой, потом вокруг поднимется густая трава и только мы, постоянно разжигающие костер на одном и том же месте, сможем найти его.

Гори, наш костер. Гори, прощальный. До будущей весны. Не я, так кто-нибудь другой придет на это огнище, и ты снова начнешь кидать искры в темное, без единой звездочки осеннее небо.

### НЕНИКО

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ, какая тишина кругом. Лишь снег чуть слышно скрипит под ногами да шины шуршат по асфальту. Огни фар вырывают из темноты опорные столбики, придорожную канаву, где видна чья-то лыжня, а за ними черная стена ельников. Ехать бы без конца, не глядеть на часы, не жалеть, что еще год пролетел как минута. Успеть бы проводить его за одним столом с друзьями. Кажется, успеем.

О чём думаете вы, ребята? А меня снова в тундру потянуло.

В чум бы сейчас, над которым звезды помаргивают, где горит неторопкий костер. Знать, правду говорили люди, что есть в моих жилах и кровь кочевника. И она говорила... Я не рассказывал вам о ней? Но это после, а пока едем — послушайте легенду. Я привез ее из тундры, а когда — и сам не знаю.

Мне кажется, что я всего лишь бедный пастух, всего лишь бедный пастух, всего лишь олений пастух. В моем чуме свистит ветер, и не очаг, а маленькая звездочка, мерцающая вверху, греет мое тело.

А к ее очагу съезжаются женихи.

Звенят, ударяя в наст, олени копыта, бренчат бубенчики, разносятся по отрогам полярных увалов песни о Ненико.

Каждый из женихов славен и удал. Каждый богат. Каждый загнал по несколько упряжек, чтобы примчаться первым в Край семи сопок и семи озер.

Не про солнце, от которого весной искрятся снега, поют они, не про песцов, что играют у подножий сопок, не про лебедей, летящих к дальним озерам, а про глаза Ненико — черные, как зимнее, усыпанное звездами, небо, про улыбку ее, от которой тают снега, про руки ее, поддерживающие пламя очага.

Ярко горит костер в чуме ее отца, богатого оленщика, хозяина моего, кривого Опоя. Скуп Опой, как тундровый бог Нум, зол Опой, как бешеный волк. Страшен его взгляд. Но он собирается помирать и ищет жениха дочери своей Ненико. И к стойбищу Опоя съезжаются гости...

Куда мне равняться с ними. Я всего лишь пастух, всего лишь бедный пастух.

Носятся, перемахивая через крутые сопки, олени упряжки, свистят стрелы, сбивая пролетающих мимо куропаток, валяются на снегу, как нерпы на льдине, крепкие широкоскульные парни, показывая силу и ловкость свою.

— Саво! — твердит старый Опой. Хорошо, значит. В чум нового гостя приглашает.

Много добра навезли женихи, чтобы купить Ненико. Шкуры и бивни моржей, сорок сороков белых, как снег, песцов, столько же голубых, чернобурок, жирную нельму, нерпичье сало, птицу. Каждый хочет показать, что не зазорно Опою иметь такого зятя. А старик молчит. Трудно понять его. Разве догадаешься сразу, какую приманку зверь больше любит.

Стрелы мои сбивают чирка на лету, глаз мой востер, как у орла, что кружит над побережьем, ноги быстры, как у молодого оленя, руки мои ловки, но я всего лишь бедный пастух. Мне нет места у ее очага. И только взгляд черных, как зимнее, усыпанное звездами небо, греет меня.

Расселись женихи вокруг костров. Руки Ненико протягивают им оленьи языки и кости, полные сладкого мозга, делающего человека мудрым. Умеет принять гостей Опой. Есть кому поддержать огонь его очага. По-своему он любит свою Ненико, хочет, чтобы она сама выбрала себе мужа, хотя и следит, кто первым во всем окажется.

А что скажет Ненико? Кому подарит пимы и кисет? Или не сшиты они? Или не мастерица? Никто в тундре не сможет сделать это лучше ее.

Я знаю Ненико восемнадцать весен, восемнадцать зим, восемнадцать лет. Я знаю ее всего один день, всего одну ночь, когда звезды сыпались с неба. Присев на нарты, я нюхаю табак из ее кисета, ногам моим тепло в ее пимах, а сам думаю: может, приснилась мне эта ночь? Я всего лишь пастух, всего лишь пастух, всего лишь бедный пастух.

Каждый из женихов славен и удал. Но с каждым днем все больше темнеет лицо Опоя, все сильнее кривит он обвисшие губы, чавкая, жует горький табак, тянет кружками горящую воду. Хмур одноглазый Опой.

Молчит Ненико. Она забыла про гостей, один из которых должен остаться в стойбище, стать хозяином ее очага. Паница девушки, мелким бисером вышитая, наглоухо застегнута, руки ее неподвижны, не звенят в ее тугих косах монеты, и глаза молчат. Что скажет Ненико женихам? Ждут они.

Лайка положила на ее колени мягкую лапу, словно спрашивая: «О чём задумалась, Ненико?» Выйдет из чума, олени ложут ее ладони: «Куда собралась, Ненико?» Ветер свистит в полях: «Где ты, Ненико?»

Кто запряжет в нарты белых оленей и помчит ее навстречу незакатному солнцу?

Хмур Опой. Ягеля в бору уже не осталось. Олешки разбегаются. Пора чумы свертывать. К северу пора идти: важенки тяжелеют. И горящей воды, от которой молодеет душа, на донышке осталось, а послать за нею некого: гости вповалку лежат, уж не поют, а каждый мычит что-то по-своему. А Ненико все молчит.

Я бы мог вернуть улыбку ее лица, мог бы сказать женихам, что зря спешили они в Край семи сопок и семи озер, но мне нет места у очага. Я всего лишь пастух, всего лишь бедный пастух.

Что ты наделала, Ненико? Что наделала ты? Взбешен отец. Это убьет его. Разъезжаются в разные стороны женихи. Протрезвели гости. Все покидают стойбище. Словно «черная смерть» объявила тут. Бьют сколько есть силы по взмокшим

спинам оленей. И подарки, привезенные ими, лежат нетронутыми. Что ты наделала, Ненико? Что наделала ты?

Девять дней, девять ночей спешили они к тебе. Девять дней, девять ночей показывали себя. Каждый славен и удал. Любого выбирай. Девять дней у твоего очага ждали, что скажешь ты. А ты заставила их еще девять дней, девять ночей смотреть на солнце, не отрывая взгляда, не мигая. Разве может человек выдержать такое?

Тихо в стойбище. Я стою у подножия сопки. Как холодно стало на земле и как тепло. Слышу твои шаги. И еще шаги — кто-то шаркая ногами по насту, кидая в сторону плевки, подходит к нам.

— Как ты посмел, пес? Как ты посмел?

Я молчу. Что мне сказать старику? Я не пес, а просто бедный пастух, всего лишь пастух. Я люблю Ненико, и за дерзость эту солнце выжгло мои глаза. Молчит Ненико. Рука ее лежит на моем плече. Что скажет она?

— Годы пройдут, увянет моя красота, а для тебя я останусь все той же Ненико... Идем!..

— Куда?

«Э-э-э!» — слышен окрик старого Опоя. Знаю, не к добру.

«Э-э!» — вторят голоса. Знать, еще не все разъехались из стойбища, ждут чего-то. Что они готовят нам, Ненико?

Слышите, ребята? Не о ней ли песню по радио поют? Не о ней ли задумался шофер? Я не знаю, откуда и когда привез эту легенду, может быть, просто придумал ее, или она приснилась мне. Знаю одно — я самый счастливый на земле, я самый богатый на земле.

Горячи твои губы, Ненико!

Ясен твой взгляд, Ненико!

Люди мелки и завистливы и жалки порой, Ненико!

Люди чаще красивы, добры и мудры, Ненико!

Все это жизнь, Ненико, все жизнь.

Мне показалось на миг, будто я пришел на эту землю давным-давно, а я всего лишь ровесник городов, что растут на местах стойбищ кривого Опоя, всего лишь ровесник их. Плечи мои широки, руки ловки, ноги быстры, глаз остер, путь радостен и далек. Всегда молодому мне вечно спешить к тебе, Ненико.

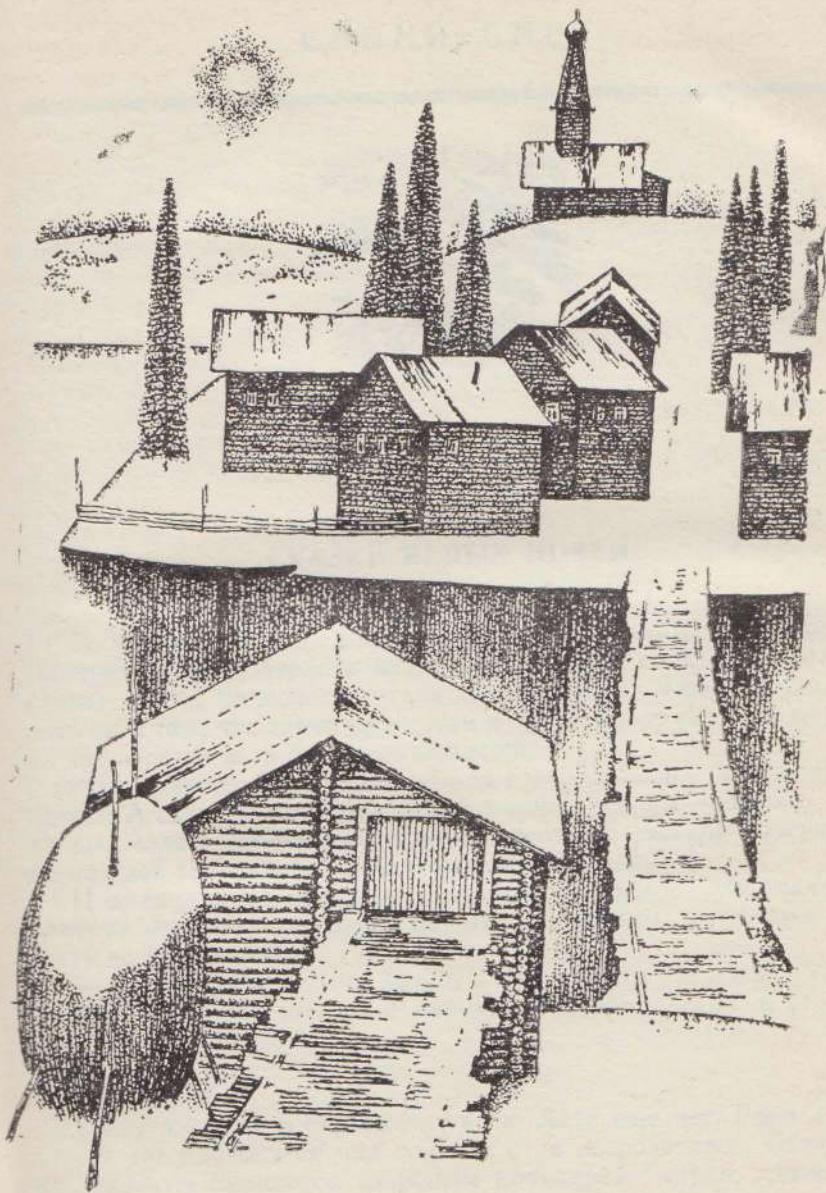
Вот и все, кажется. И приехали. И старый год проводить пора. А тишина какая — прислушайтесь! Где мы вышли — на Первомайской или Институтской? Нет, кажется, у Голубого квартала в городе, который только еще начинает расти. Не тут ли живут наши Ненико?

Тишина какая. Гляньте, звезда загорелась. Гляньте! Нет, это лампа на стреле подъемного крана. Все равно к счастью!

Вот и наш чум — голубой, пятиэтажный. С наступающим вас, с Новым годом, друзья!

А меня опять потянуло в тундру, к морю, куда заспешат скоро оленьи аргиши. Тоже к счастью, наверно.







# СИНИЙ СНЕГ

---



## СКАЗКИ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

ЕСТЬ у меня друг. Он всю жизнь только и занимается охотой. Белкует в тайге, берлоги ищет, куницу бьет, капканы на лисиц ставит, петли на волков, птицу постреливает. Любит порассказать он о том, что случилось с ним в тайге, но не так, как многие из нас охотников, а без преувеличений.

«От лживого человека,— не раз говорил он,— удача прочь бежит. А если ты с чистой душой в лес придешь — сказки, как ягоды, можно кошелками оттуда носить. У каждой озеринки, на каждой сопочке, в каждом овражке найдешь».

И сманил меня однажды в заречье весновать. Это значит — перейти реку по льду перед самым ледоходом, в избушке пожить до полой воды.

— Не знаю, как охота будет, а вспоминать станешь!..

И верно: всего неделю в Заречье я с ним прожил, а вспоминаю ту весну часто.

Сижу я как-то в складке на уток. Лёта еще нет. Рано. В который раз проносится над головой стая острохвостов. Осторожное «кх-кх!» сменяется азартным кряканьем чирка, летящего впереди. С каких это пор чирок проводником стал? Видно, острохвосты первый раз к нам заглянули, а он тут как тут.

«Возьмите, братцы, в свою компанию. Я тутошний. Кормные

места наперечет знаю. Укромные mestечки мигом покажу».

Острохвости — они доверчивые.

«Показывай!»

Полетел чирок впереди стаи. Только крылья в воздухе по-свистывают. Еле успевают за ним острохвости.

«Хорош парень! — сказал вожак на привале. — Мал да удал».

Что верно, то верно. Проворен чирок и красив, хотя ростиком не вышел. Крутится он среди острохвостов в своей зеленой бархатной шапочке, в белой рубашке и модном пиджаке. Изо всех уток щеголь.

Прожили так с неделю на заберегах. Тепло ударило. Вода в озерах появилась. Чирок опять:

«Слетаем-ка, братцы, к бору! Озеро там большое, красивое. Знакомых повидаем».

Как не поверишь ему, если он каждый закуток знает, при любом ветре тихое mestечко дляnochлега найдет.

«Давай, показывай дорогу!»

Долго ли перелететь? Дождались туманной ночки, даже не туманной, а с мелким дождичком, — и туда...

Сижу, значит, в складке, жду, когда лёт начнется, а они откуда-то из-за кустов в который раз появились да прямо передо мной шлеп на воду. Даже целиться не надо, только курки спусти. Двустволка у меня добрая. Но жалко мне стало острохвостов, дал им расплыться в разные стороны, из всей стаи лишь одного взял. Остальные тут же взлетели и суматошно закружились над озером.

Облетели озеро острохвости — и опять на воду. Не поняли, знать, в чем дело. Проводник в это время далеко успел улететь, где-то у самого бора покрякивает. Вот и доверся такому — ни за что пропадешь.

И сейчас, наверно, где-то летает, кружит чьи-то головы.

Жили мы дружно. Днем — отсыпались, по вечерам бродили в бору, где вовсю токовали тетерева, галдели дрозды. К ночи расходились по своим шалашам. Мне, впрочем, такой способ охоты — из складка, с манихами — не по характеру. Сиди, жди, когда утки прилетят, а я побродить любитель, голоса земли послушать! В междузорье особенно.

Ну, как тут не рассказать вам о междузорье — часе, когда вечерняя заря угасла, а утренняя еще не загорелась.

Ночи стоят ясные. Утка напрямик идет. Только крылья над

головой свистят. Сижу в скрадке. Слушаю голоса междузорья.

Куличок под самые ноги сел. Вытянул шею, качнул длинным клювом и завел свое: «Пить-пить-пить!»

Посмеиваюсь: «Пей, кто тебе мешает!» Услышал шорох в скрадке, мое покашливание — попятился, и как не бывало его.

За кустами космари шум подняли. Так у нас хохлатую чернеть зовут. Пересвистываются между собой, лопочут что-то. «Отдыхайте, непоседы! Вам еще не близко лететь. В тундре гнездитесь, пролетом у нас!»

Притихли...

С бора донеслось что-то непонятное. На краю его, в ельнике, заскрипело, загукало.

Это Филя по-своему в любви объясняется. Что поделаешь, если голос у него такой. На одиночество сетует.

«Угу-гу!» Уже спокойнее,тише. Возня в ельнике поднялась. «Угу-гу!» Знать, его беглянка вернулась.

На луг, справа от скрадка, турухтаны слетелись. Эти кулики очень похожи на молодых петушков. Разнарядились ради весны. Воротниками друг перед другом хващаются. Полюбоваться есть на что. Воротники у них разными цветами отливают — голубыми, зелеными, розовыми. Не сразу скажешь, чей лучше. Какая у турухтанов силенка, а тоже топорщатся, подпрыгивают, сердят друг друга. Форсят! Храбрость у них показная. Устанут — подожмут одну ногу под себя, замрут, а то и прилянут. Отдохнут — снова начинается спор: чей воротник лучше?

И так день за день. Иногда расходимся в разные стороны. Возвращаясь с охоты, встречаемся около избушки.

— Как посидел? — спрашивает друг.

— Опять скрадок переносить придется. Вода ожила.

— У меня тоже затопило...

Скрадок я научился делать. Умеючи его ставить надо. Слишком высоко нельзя — в глаза бросается, в низком сидеть неудобно. Так устрой, чтоб с трех сторон просматривалось, чтоб ружье о стенки дулом не цеплялось, когда целишься, чтоб не просвечивало с боков, тебя на фоне зари никто не видел. Сверху чуть-чуть набросал веток и довольно, а вот сзади и по бокам будь добр по-настоящему укрыться.

Сумел все учесть — и поохотишься, и что ни час сказку услышишь. Всю жизнь после белые ночи вспоминать будешь. Я вам только распев дал, чтобы дальше вы сами продолжили их сказки: я больше слушать люблю, чем рассказывать.

Ну, чья очередь? Кто из вас завлекательное что-нибудь поведет?

## ПРИХОДИ, ВЕСНА

ЕЩЕ морозы на дворе трещат, а на веретиях уже шалаши из еловых лап поставлены. Не терпится охотникам, ждут не дождутся весны. А она медлит что-то. Сиверок дует. Но солнце все выше поднимается, все дальше кружит над лесом. Вот и вода на озерах появилась. Где шалаш — там и вода. Что за чудеса? Или места тут особенные? Нет, это мы поторопливаем весну: наст золой обсыпали. Чуть пригрело солнце — лужица появилась, а там пошло. Вода и камень долбит, а не то что снег. Еще лужица появилась, слились — и озерина. К открытию охоты перед шалашом полынья засинеет, селезень солнцу свое «зеркальце» подставит. А на то и зеркальце у селезня, чтобы утки в него гляделись.

Придешь однажды вечером и услышишь, как селезни крячат. Значит, и впрямь весна пришла, пора в шалаш забираться на ночь.

— Т-с-с! Летит! Слышите? Круг делает. Пролетит мимо — не обидимся, а шлепнется к манихам — так мы его и ждали. Весна ожидания не обманет.

## ЗАДИРА

РЯДОМ с избушкой, на старой вырубке, весной текут косачи.

Изогнув шеи, распушив хвосты, опустив крылья, они бродят по талому снегу, подпрыгивают, кидаются друг на друга. Такой шум стоит, что даже за рекой, в деревне, слышно, а река больше километра шириной в эту пору. Я одного из них давно приметил: ощипанный весь, а знай «чуфыкает». В каждое утро в одно и тоже время перелетает с бора на островок посреди разлива. Покрутит шеей, осмотрится и давай выхаживать, выказывать себя. Гляжу на него и посмеиваюсь, начиная понимать, почему одного из моих друзей косачом прозвали. О чем бы ни зашел разговор, обязательно вспомним «Ваню Косача», при появлении которого в избе тесно становится.

## СОСЕДКА

В КУРЬЕ, где мы ставили лодки, лед держится, пока не растает. Кусты мешают сквозному течению вытащить его на речной простор. Мы ждем не дождемся, когда лед исчезнет. А еще больше

волнуется трясогузка. Целыми днями бегает она по припайку, поторапливает весну.

А не будет льда — и трясогузка исчезнет. Кроме нас, никто не знает, куда. Мы знаем, да помалкиваем об этом. Только вам по секрету скажу. Под крышей избушки, с южной стороны, у нас полка есть, где мы манихи сушим. В самом углу — клок сена. Не ветром его занесло, а гнездо тут. Не боится трясогузка даже собаки, которая лежит на припеке. Привыкла, знает, что не тронем. Но стоит появиться чужому, как соседка наша уже по крыше бегает, «цизизюкает» на всю Мачу.

Приезжая на весновку, мы ждем, когда прилетит соседка из заморских краев, радуемся ей. А осенью вокруг избушки до самого отлета бегают, перепархивая с пригорка на пригорок, перекликаясь друг с другом, трясогузки-сегодки.

## АУЛЕЙКА

РЕДКО, но все же пролетит над Мачей и аулейка — небольшой, буроватой окраски нырок с длинным пером в хвосте. Его еще морянкой зовут. За то, что живет у моря.

Аулейкой ненцы назвали. В переводе на русский язык это означает: беда! А какая может быть беда, если весна шумит, реки вскрываются, солнце круглые сутки греет?

«Аули! Аули!» — Несколько раз сегодня разнесся над болотами тревожный клик. Поздновато летит морянка. Может, в том ее беда, что места гнездовой уже заняты другими утками? Или ненастье предвещает? Но погода все такая же — ясная, теплая. Если кто и работает за синоптика среди птиц, так это гагара, что на двенадцать разных голосов перед сменой погоды плачет. Оленеводы не зря ее «нюней» зовут.

## ПЛАВУНЧИКИ

ГЛЯЖУ на озерину, что осталось в наволоке после разлива, и глазам не верю.

Плавунчики!.. Как поплавки из пенопласта качаются они на чуть заметной волне. Давно не видел их, ой, как давно. И про усталость забыл и о том, что дома заждались. Тундра вспомнилась, море, озера, которым счета нет. Юность вспомнилась.

А живые поплавки уже вспорхнули, перелетели на другую

озерину и скрылись в синеве. А я и не знал, что они в тундру через наши места летят, не встречал ни разу, хотя веснью на остро-вах часто. Улетели плавунчики, а мне взгрустнулось что-то. Как же мало надо человеку, чтоб перед ним вся его жизнь прошла.

Оттолкнув от берега лодку и заведя мотор, я еще долго искал взглядом давних знакомых, но разве увидишь их, если и лодки на другом берегу спичечными коробками кажутся.

Улетели плавунчики. Мала птаха, но тоже на север спешит. Улетели!.. И грустить незачем: всякое было, а солнца больше.

## ПЕРЕВОЗЧИК

ВОДА пошла на спад. Круто пошла. Того и гляди, что придется лодку волоком тащить через веретии. Теперь удочку в руки и за хариусами.

Иду. Спешу. Стараюсь подойти к яме сверху и так, чтоб сучок не треснул.

Перед ямой обычно песчаные отмели лежат. Подойдешь к ним — и забелеет что-то, словно носовой платок кто подкинул, круги по воде разойдутся. Какая уж тут тишина, если чей-то голос зовет тебя «иди-иди-иди-иди!»

Это куличок-перевозчик. Гнезда тут у них.

Перелетает с берега на берег, лапками воду задевая, уводит в сторону. И впрямь — перевоз. Глядишь — совсем мелко стало. Но я не пойду за ним, не нужна мне его помощь. Не удалось с отмели удочку забросить, попробую из-за куста.

«Иди-иди-иди-иди!» Или гонит меня? Куда мне идти, как не вверх по речке. Я свою дорогу знаю. Без провожатого обойдусь. Мне еще долго пробираться через кусты, через рассохи, густой сосновяк, пока не блеснет перед глазами осколок семицветной радуги. Знаю, зачем иду.

## ПТИЦА-НЕВИДИМКА

И В КНИЖКАХ читал, и от старших слышал, что живет на земле удивительная птица коростель. Тем она прославилась, что будто бы пешком каждую весну к нам прибегает. Редко ее встретить можно: настоящая невидимка. Да и в деревне у нас не особенно интересовались, кто живет на лугах. Пожни — сено, лес — амбар.

Когда я стал взрослым, забыл про птицу-невидимку. А она взяла да и напомнила о себе.

Иду как-то после заката по Шипичной веретии, где раньше всегда держал караулку сосед Тимофей Иванович, охотник из охотников. Болеет старик, уже который год не веснует в заречье...

— Тр-р-р-р-р! — как по зубьям гребня чем провели. Странный непонятный звук. «Кто бы это?» — думаю. Остановился около большой березы. Вижу, какая-то птица, на кулика похожая, пригнув шею, вдоль веретии убегает в сторону. После половодья на земле ил белеет, трава только начала подниматься, шиповник еще листков не выкинул. Попробуй разгляди, что за птица голос подает. И только после, уже около избы, где друзья готовили ужин, понял, что это и есть дергач или коростель, знаменитый пешеход. Он постоянно на Шипичной веретии живет, «трещотку» его я не раз слышал, но внимания не обращал.

Спросил я о нем одного старого охотника.

— Прибегает, — говорю, — каждую весну из Африки.

— Брось! — ответил старик. — На то и крылья, чтобы летать. Станет тебе птица пешком ходить. А как через море, тоже, погнашему, пешим? Брось...

— А сам все же утром сходил на веретию, поглядел, знать, на удивительного ее жильца. Наверное, подумал: «В книгах зря писать не станут».

Но прав оказался старик. Коростель, как и все птицы, прилетает к нам. Живет скрытно, перелеты делает ночью... Кто как, а я не могу представить себе дергача летящим, уж больно быстро он исчезает с глаз, не поднимаясь на крыло.

## КУПАЛЬНИЦА

ПЕРВОЙ расцветает на солнцепеке мать-и-мачеха. Ее желтые цветы мыносим домой, когда на реке еще стоит грохот от ломающегося льда. А дорогу открывает купальница. Она растет по сырьим местам, которые сразу же после начала весны заливаются водой. Бутоны у нее вырастают еще в воде и, когда вода пойдет на спад, начинают раскрывать их.

В теплые солнечные дни, обычно сопутствующие спаду воды, круглые, желтые бутоны купальниц качаются на ветру, то касаясь воды, то снова окунаясь в нее. А между стеблями и листьями, так похожими на раскинутые руки, плещут хвостами язи, последними покидая мелководье, журчат быстро стекающая с лугов вода.

## СТАРЫЙ КОСЛАН

КОГДА я стал засыпать, меня удивила тишина, нависшая над селом. Лишь изредка откуда-то из переулков доносилось:— «Пипи-пи!»

— Кулики,— сказал друг.— Все воды просят, словно не у реки живут.

«Пипи-пи-ть!» И так всю ночь. Было в этом «пи» что-то особенное, казалось мне, я слышал эти голоса не в Кослане, а где-то в другом месте, давным-давно, о чем успел позабыть. Может быть, я слышал голоса времени, того времени, когда нас с тобой еще не было на свете? Может быть, во мне пробудилась тоска по тем местам, где никогда не раздавались гудки автомашин, не таращили тракторы, не стучали колесами, оставляя за собой шлейф дыма, тяжелые составы?

Перенести бы ее в города... Я встал с дивана, взял лежащий на ушате с водой блестящий медный ковш, из каких наши прядеды пили медовку, и зачерпнул воды. Она была чиста, без привкуса хлорки, холодная до того, что зубы заломило. Мне хотелось пить и пить ее...

## БЕРЕЗКИНА НЯНЯ

ДЕРЕВЬЯ, как и люди, друг без друга обойтись не могут. Даже береза, которой ни ветры, ни стужа не страшны. Ее в детстве ольха нянчит. Семена у ольхи легкие, крылатые, всходят быстро, заморозков не боятся.

Ольха березку малую греет, широкой листвой от ветров прикрывает. А на вторую весну березка и сама ничего не боится, к солнцу тянется. И так же, как порой люди, забывает, кто ее вынянчил. Прислушайтесь, о чем шумит она во время грозы: «Какая я белая», «какая стройная», «какая сильная, ловкая». И некому укорить ее за хвальбу, некому сказать: «Перед ольхой и мороз шапку снимает». Я тоже, как все, люблю нашу березоньку, не хаю ее, но и не всегда хвалю: за добро добром платить надо. Друг без друга мы ничего не стоим.

## ЖИВАЯ РАДУГА

ЧЕМ дальше в бор, тем уже и мельче речка. Вместо желтых песков — каменистые перекаты, где нет-нет и блеснет под лучами

солнца осколок радуги. Тут уже не зевай. Стоит червяку окаться в воде, как поплавок исчезает. Бьется, пытаясь уйти с крючка, крупный темноспинный хариус. Это его высокое перо на спине блестит под солнцем, как осколок радуги. Снимешь с крючка и видишь, как блекнут краски. Шумит перекат, словно жалея о потере, а солнце все ниже, и все чаще от переката к перекату поплавок исчезает под водой.

Мала Мача, мелка, но хариус ее любит. А он привередлив, не в каждой речке жить станет, забирается в такую даль, куда даже щуке добраться не под силу. Хитер. Но и мы себе на уме. За излукой новый перекат и яма. Давай еще попробуем — и домой пора: солнце уже давно село.

## ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

МЕЖДУ двумя тонкими березками трудится паучок: сеть-мухоловку плетет. Не первый день трудится. Ячея к ячее, узелок к узелку — вот и готова ловушка. Исчез паучок. А я возьми и тронь его сеть — хозяин тут как тут: из-за ствола выглянул. Понял, что тревога ложная, и снова спрятался. Все же удалось выманить его из укрытия еще раз, а больше не показывался. Понял, знать, по-своему, что над ним щутят. Или незаконную счастье применил, как браконьеры, и принял меня за грозного инспектора? Видел я его еще после не раз, но уже не тревожил. Умелец. Ячея к ячее, узелок к узелку сеть плетет, устали не зная. Берегитесь, мухи, попадете — не выпутаться.

## ТРАВЯНИК

ВДОЛЬ ручья на деревьях кора ободрана, ошметками висит. Это косолапый мишка, выйдя из берлоги, о своем пробуждении оповестил. Подойдет к дереву, обнюхает его, приподнимется на задние лапы, рявкнет на весь бор — и метку поставит, чтоб знали все — тут его участок. Много их, меток, по берегам. Звери сторонкой их обходят, и мы порой с опаской поглядываем. А бояться нечего: травяник это. Такие людей не трогают. Они пни выворачивают, муравейники разрывают, из земли корешки выкапывают. На строгой диете наш знакомый живет. А пометки на деревьях, так — кошка лапкой, а медведь — пятерней! Пятерня у него во какая — страшно представить.

Бояться нечего, а остерегаться надо, при встрече кидаться в сторону не стоит: медведя бояться, как от белки бежать.

## «Я — РЫЖАЯ»

ВЕСНА. Первый жаворонок с утра завел свою песню. В густой синеве, которая окутала прогалину, я так и не смог его рассмотреть, а ему нет дела до меня: знай, поет себе.

А на пригорке, с которого уже сбежали снега, то размахивая руками, то подпрыгивая на одной ноге, то задумчиво глядя куда-то вдаль, радуется весне девчушка, соседка наша.

Над ней плывут редкие тучки, ей шлют привет летящие к северу лебеди, на нее засмотрелся, сдвинув набок кепку, парнишка-механизатор, вышедший посмотреть, скоро ли поспеет для пахоты земля. Он тоже радуется — это для него первая самостоятельная весна, трактор в поле поведет.

А ей ни до кого нет дела. Она — воплощение весны. Стойная, гибкая, голенастая, забывшая на какое-то время про то, что скоро экзамены, про подруг, про все на свете, кроме солнца и ветра. Она просто радуется синему небу, ледоходу, яркому солнцу.

И вспомнилось мне, как однажды случайно услышал у черемухи, растущей в палисаднике:

«Мама говорит: я — рыжая.  
Папа говорит: я — рыжая.  
Друзья говорят: я — рыжая.  
А я гляжу на солнце и улыбаюсь:  
Я — рыжая».

Солнце на ее лицо свою мету поставило. И не рыжая она вовсе, просто веснушки около глаз появляются, когда снег таять начинает. Друзья поддразнивают, а ей хоть бы что. «Я — рыжая!» — словно в этом вся суть, словно для этого и растили ее матом с отцом.

Не знаю почему, но мне стало как-то особенно радостно.  
Будь счастлива, рыжая!

## ОПУШКА

СОЛНЦЕ почти не заходит. Пахнет прелью. Дороги покернели. Заречье лиловым стало. Кое-где на пригорках показалась первая травка. Небо синее-синее.

Я ухожу в лес с вечера. Ночую под елкой около токовища. Со стороны реки, из села, доносятся переборы «хромок». Пока рыбаки не разъехались по тоням, молодежь бродит по улицам с песнями и частушками до полуночи, а то и до утра.

Косачи молчат, еще не разнеслось над вырубкой первое «Чуфы-ш», мол, вставай, все проспишь, жалеть после будешь. Еще не слышно томного квохтанья тетерок: мол, кончай драться, беги за мной.

Только гармони на все лады заливаются у реки.

Мне кажется, что там, среди подруг, кружится на мосту в кадрили и она — темноглазая шустрая девчонка. С ней я учился в школе. Таскал за косички. Смеялся, когда доводил до слез.

Косички стали тугими, спускаются почти до пояса. Загордилась, нос вздернула. Меня и вовсе перестала замечать.

И, как назло, встречается каждое утро. Только спущусь с полей,— тут как тут. Глянет, прощурясь, из-под густых изогнутых бровей и спросит, что несущий.

Лишь посмотрю на нее искоса. «Обносились с матерью,— подумаю.— Платье-то из старья сшило». А мне зимой пушину отоварили: сапоги хромовые справил, фуфайку, еще часы куплю — «кировские».

«Пустой!»— насмешливо бросит она. Что делать — раз на раз не сходится.

Оглянусь. Она рядом идет: по соседству живем.

— Возьми меня, когда весновать в заречье поедешь на уток. Не помешаю. В разные караулки сядем. Думаешь, стрелять не умею?

«Не хватало еще бабу на охоту возить»,— думаю. Злюсь, а Маринка посмеивается:

— Я и не поеду. Охотник тоже. С тобой только мух варить. Ф-у-у!

И тут же непременно вспомнит: мать наказывала к нам забежать.

Сестренка, ползая по полу, щебечет:

— Тетя Малина присла.

Сама на руки к ней тянется.

А тете Марине всего пятнадцать. Смутится она и не знает, что делать, непривычно еще, чтоб тетей называли.

— Садись, Маринушка, за стол,— скажет мать. Ласково так скажет и посмотрит на нас.

Пока я бродил в тайге, она напекла шанег, кулебяку из свежих сиgov — последних, подледных, и приговаривает:

— Устал, наверно? Ешь!

Насмешница пододвигает что пожирней да повкусней.

— Сам наловил,— скажет.— Не купленное...

Румяные шаньги от похвал не лезут в горло, я захлебываюсь парным молоком и рассуждаю, как старый Митрич, что птица дружно токует, лето будет сухое, жаркое, сена наставим...

Уйдет Марина, а мы еще долго сидим за самоваром. Мать радуется, что война кончилась, отец скоро вернется, сын помощником стал, подбавит в самовар угольков и вздохнет, сложив руки на груди: «Соседке похоронная пришла, некого ждать».

«Погоди,— думаю,— вот устроюсь работать в аэропорт, в ки-  
теле захожу, фуражку с «капустой» надену, зарплату стану боль-  
шую получать, себе кожанку с замком куплю, а Маринке розо-  
вое платье, зеленую ленту, голубые туфельки».

«Капусту» на фуражке я позже долго носил, а подарка так и не поднес. Вскоре уехал из дома. Маринка стояла на угore и махала мне рукой, пока не скрылась из виду за поворотом. Пе-  
ред отправкой парохода я не знал, что сказать ей, стоял, опустив голову. Когда раздался последний свисток, она неожиданно при-  
пала головой к моему плечу. «Пиши,— услышал я чуть слыш-  
нее,— отвечу».

Вскоре и Маринка уехала из села в техникум. Не встреча-  
лись с той поры.

Сегодня, возвращаясь с охоты, я неожиданно услышал зна-  
комое:

— Покажи, что несешь, дяденька?

Оглядываюсь и вижу: стоит рядом со мной глазастая дев-  
ушка, с любопытством на мою сумку посматривает. Незнако-  
мая. Из приезжих, видно.

— Как зовут тебя?

— Марина!

— Видела такого?— спрашиваю, вынимая из сумки красно-  
брового петуха с белыми подпушками у дугастого хвоста.

А перед глазами стоит та, другая, что встречала меня на  
опушке жизни, за которой начиналось незнакомое.

Поляну, где раньше токовали тетерева, давно распахали и  
засеяли клевером. Тетеревам пришло переместиться в гору —  
дальше в лес. И село разрослось. Оно слилось с окрестными де-  
ревнями, на шесть километров растянулось, вместо одной улицы  
стало три. Так же бродят по улицам села вечерами подростки...  
Только кадриль уж никто не танцует. И песни не те поют.

Другое время. Другие песни.

## СИНИЙ СНЕГ

ВЕСНА исподволь берет, не сразу скажешь, когда она началась. Чаще всего удивляемся: «Ждали-ждали и проглядели ее появление, снег-то уже сбежал с полей».

А начинается весна на севере так: ночью мороз трещит, к полудню ветер поднимается, снегом закидает, глаза заслепит.

Но проплывает туча — и снова солнце. Ветер крепнет. Деревья скрипят от его напора, вершинами качают, сбрасывают с веток пласти затвердевшего на морозе снега. И сразу меняется все — горизонт из серого становится темно-синим, ели — черными, сосны — зелеными и даже березки в палисадниках как-то веселей выглядят.

Еще не раз налетят снежные заряды, прошумит метель, но они не оставят следа. Дни — маляры, подмастерья кудесника — солнца дружно работают. Один окунет кисть в лиловую краску, и, смотришь, заречье становится сиреневым. Другой пробежит по откосам и сделает их из белых желтыми. Третий — лёд на реке продолбит: знать надо, сколько силы потребуется, чтобы его в океан выбросить. Река до того обрадуется, что на лице ее веснушки выступят.

Тайга-матушка все это подмечает, детям своим наказывает: за что кому браться.

Беляк спешит шубу на серое пальто сменить, волки для логова место подыскивают, медведь начинает ворочаться в берлоге, кашлять от сырости.

Снег тем временем чахнет, становится рыжим, и все чаще на зорьках бродят по нему тетерева, оставляя следы-крестики.

Еще по утрам мороз обжигает щеки, невозможно выйти без рукавиц даже к колодцу за водой, еще хозяйки топят печки по зимнему, а уже пахнет весной.

Рябчики начинают вылетать на пригорки из глухих, полузаметенных снегом зарослей ольхи. Ветки, придавленные тяжестью снега к самой земле, будто подпрыгивают, распрямляются: «Вот и мы!» Куропатки взлетают над болотом, гортанно крича на всю округу.

И все эти звуки перекрывает чуфыканье чернышей, издали так похожее на журчание ручья.

Ночи все короче становятся, горизонт все синей, а леса пестрыми. И, наконец, на озерах появляется вода. Переваливаясь с боку на бок, выпятив грудь, первый селезень прохаживается по бережку, призываю покрякивая.

Началось!.. Свиязь разрезает воздух острыми крылами, чер-

нять к морю спешит, гагары грузно падают на воду и плачут от радости, не умея смеяться.

А над сосновым бором, над угрюмыми ельниками разносится бормотание чернышей. Они в это время ничего не соображают, днем и ночью дерутся на лесных полянах, только перья в разные стороны летят, кровь брызжет. До того измолотят друг друга, что на ноги подняться не могут, руками бери, а все чуфыкают, грозят расправиться, отплатить.

Уже с реки вода в луга хлынула, затопила их, заречье голубым стало, горизонт — золотистым от яркого солнца, поля зелеными от дружных всходов, на березах листочки появились. Попра бы, кажется, и кончать игрища, успоконяться — так нет, знай себе бормочут. Уже тетерки давно покинули ток, на гнезда сели, тишина кругом стоит, а они ничего не замечают, знай славят весну.

Весна исподволь начинает, но круто берется за дело. Ее начало — синий снег, синее небо, синий ветер. Если заметил, что все вокруг посинело — знай: пришла таежная весна.

Друзья мне часто говорят: мол, все природа, природа, а того не подумают, что ощущение близости к родной земле само по себе неповторимое счастье. От избытка чувств, от непреходящей радости жизни и сил сам невольно

в предутреннюю тишину  
поешь весну, как молодой черныш.

Просто весну. Весну чувств. Весну человеческой жизни.

### ПОЙ, ВАРАКУШКА, ПОЙ

САМ не пойму, с чего мы засиделись до утра над рекой. Михаил вспомнил, как он, израненный, вернулся с фронта, и врачи ничем не могли помочь. Знакомый лесник посоветовал: «Иди-ка ты ко мне в сторожку, паря, вроде за помощника будешь. Я тя быстро на ноги поставлю».

То ли березовый сок, которым угощал солдата лесник, то ли темнозорь, когда, пытаясь разглядеть поющего глухаря, стоишь на одной ноге в талом снегу — скорее всего, все, вместе взятое, подействовало: дело на поправку пошло.

— Жил бы да жил на земле! — сказал Михаил, глядя на реку, а я окунул его взглядом — рослого, широкоплечего, с чуть заметной сединой на висках — и подумал: такой может и в дру-

гой век перешагнуть, меня, что вдвое моложе его, обставить. От крепкого корня дядя.

Сидим над крутым обрывом, под которым бесится река. Сила у нее такая, что если сесть в лодку и плыть к противоположному берегу, затопленному водой, то сколько ни греби — седьмой пот на лбу выступит, а хватишься — не ближе, как километра на полтора ниже по течению.

Солнечные лучи скользят по откосу и скрываются в сиреневых, еще не одетых в листву зарослях ольшаника.

Тсс! — Михаил поднимает палец и уже в который раз прислушивается к чему-то.

— Соловушка!.. Бывало, сижу на пороге сторожки, а он как зальется в кустах — сердце замирает, запах земли чуешь.

Мы перешли через овражек, остановились в ельнике, откуда неслась трели.

— Рядом где-то! — И Михаил бесшумно направился в чащу. — Знать, недавно прилетел, не нарадуется.

Но соловей выдавал только одно колено. Его сменяли другие птицы. Сколько же их тут собралось?

Побродил-побродил мой друг по кустам и вернулся ни с чем. Разве в таких заросляхглядиши!

— А говорят, на севере соловьев не бывает!

Я пробовал разуверить друга, но он и слушать не хотел. Замолчал я: пусть верит, ему так хочется, чтобы в наших хвойниках соловьи пели.

Михаил не знал, что сидящая перед ним на ольховой ветке птичка с рыженьким хвостиком и алоей грудкой и есть тот самый соловей, которого он пытался разглядеть в кустах. И поет она без устали, наверно, уже больше часа.

— Фит-т-чур! Фит-т-чур!

Михаил снова прислушался.

— Покажись! — Проговорил он как-то необычно тихо, но в ответ донеслось разноголосое пение.

Варакушка!.. В этих зарослях она каждую весну гнездо вьет. Михаил не первый, кто принимает ее за соловья.

По дороге на родину варакушка прислушивается к чужим песням, запоминает их и перекладывает на свой лад. А что начинает с соловьиной трели, так это, знать, по-родственному. Знаменитый солист ей своим приходится. Вот и выводит она:

— Фит-т-чур! Фит-т-чур!

К себе в гости зовет да никак не дозвовется: некогда ему. А может, слава голову вскружила: что, думает, я в хвойниках не видал. По паркам да по садам концерты дает.

Михаил и сынишке своему, маленькому Андрейке, в тот же

день рассказал про соловья. Я слушал и молчал: вырастет Андрей — познакомится с варакушкой. Чем она хуже соловья? Вон куда залетает!

## ТЕМНОЗОРЬ

ВЕСНОЙ мы как бы не замечаем бега времени и только спустя месяцы, обычно поздней осенью, под шум ветра и дождя начинаем вспоминать весну. Это еще не тоска по ней. Тоска приходит позднее — во второй половине зимы. Память, оказывается, хранит многое, чего мы порой вроде и не замечаем. Так было и со мной в темнозорье, которое провел с друзьями в охотничьей избушке. Показалось, что снова я у Чернышева ручья, что весна еще только-только начинается, ледок хрустит под ногами, ночью не видно ни зги.

Не с вами ли, друзья, я только вчера перебирался в Заречье, тащил за собой лодку? Тепла ждали, а оно замешкалось где-то в пути. Всему свой срок, а пока приглашаю вас побродить по местам, которые близки не только по своей, но и по отцовской памяти. Колыхнет память, и взглянем на знакомые до боли тропки с другой, еще не знакомой стороны.

\* \* \*

Еще мальчишкой я прочитал, кажется, у Бунина о том, как стонет весной глухарка. Прочитал и запомнил, но понять не мог, так же, как другое, всем известное есенинское «на бору со звонами плачут глухари». Прочитал это игрой поэтического воображения, хотя рассказы Бунина люблю больше всего за точность детали, за сккупость фразы и густоту красок.

Но иногда и слепой прозревает. В глухой предутренний час, когда лишь один куропатъ оглашал сопочный бор своим бесовским хохотом и хлопаньем крыльев, похожим на барабанную дробь, я перешел через ручей, присел на штабель полусгнивших бревен, закурил. Лес еще спал. Куропатъ не в счет. Он в это время рассудок теряет. Но что это? Я даже вздрогнул, привстал. За спиной темнел редкий ельник, за которым лежало болото. Летом здесь берем морошку. Ее тут навалом, ступить некуда. Пока наполнишь ведро, от запаха цветущего багульника голова кругом пойдет. Гляжу, снег кругом, лишь кое-где старые пни торчат. А из чащи доносятся непонятные звуки, отдаленно напо-

минающие стон человека, когда он не в силах перенести боль, и тут же как будто кто трещотку закрутит. Делали мы такие в детстве — деревянная шестеренка и планка, прыгающая по ней. Они у нас пулеметами считались...

И снова тишина. Жутковато стало, ноги сами повернули в домашнюю сторону, и я остановился у ручья, словно выжидая чего-то. А тут еще куропать, как оглашенный, носится с места на место. Темные места по Чернышеву ручью — болота кругом, глухие пади.

Где-то хрустнул сучок, спросонья зашевелился спящий на елке рябчик. Любопытство взяло верх. Я свернул в сторону болота. Даже при сумеречном свете только что начинающегося утра были видны на снегу отпечатки глухариних лап и бороздки, начерченные крыльями.

Еще до заморозков бродили здесь птицы. Ток, наверно. Не слыхал что-то о нем, хотя чьи-то силки каждую осень появляются вдоль дороги. И сам с лайкой тут хаживал, не раз поднимал добрых петухов. Но при чем тут глухари? Рассуждая сам с собой, я шел на непонятный крик, пока не наткнулся на пеструху. Они поднялись из-под ног и тут же сели на сосну. Птицы уже были хорошо видны. Я мог бы снять одну из них, но к чему, ведь осенью сам придешь в эти места. И глухари, значит, тут. Ток, значит, сохранился. Три пеструхи — три выводка осенью. Слева еще две поднялись.

Но глухаря я так и не увидел. Несколько раз показалось, что кто-то убегает от меня по насту, скрываясь за деревьями, потом я услышал уже знакомое «хрюканье», если можно так назвать звуки, которые издает глухарь, когда сердится на что-то. Пояснений не требовалось. За «трещотку» я принял частое хлопанье его крыльев, а непонятный крик, от которого кинуло в озноб, был весенним стоном глухарки, о котором писал Бунин. Иначе, пожалуй, не скажешь. Не помню, какой эпитет стоит у него, но мне бы хотелось добавить: радостный. Так порой вздыхают люди после долгого ожидания встречи — радостно, облегченно. А как же быть «со звонами плачут глухари»? Тоже точный образ, но уже собирательный.

После такого открытия я не спешил в избушку, уже как-то по-другому прислушивался и к орущему на весь лес куропатю, стараясь понять, о чем кричит он. Ему, наверно, кажется, что его песня лучшая, что из лесных солистов — он первая скрипка. Эта скрипка меня до реки провожала, а перед глазами стояли черные ельники, в ушах звучал незнакомый до этого, отдаленно похожий на стон, брачный крик глухарки.

\* \* \*

Темные ночи и холода, покрывающие прогалины синим ледком, не мешают весне продвигаться на север. С каждым днем все разноголосей становится лес. И вот уже снова завела свое нескончаемое «ду-ду» таинственная птица, которую никто из нас в глаза не видел. Сидишь в шалаше, поджиная прилета селезня, а из глубины бора несется «ду-ду-ду», «ду-ду-ду». Я, наконец, не выдержал. Хватит, думаю, слушать эту лешеву дудку, надо и на музыканта глянуть. Вскинул ружье на плечо и отправился в бор, надеясь вернуться к утреннему лёту утки.

По старой лесовозной дороге, на которой белеют остатки снега, иду в глубь бора. Бесшумно махая крыльями, над самой головой пролетают совки и кидаются в сторону. Сколько ни иди, а монотонное «ду-ду-ду», «ду-ду-ду-ду» все на таком же расстоянии от тебя. А может, и не птица это? Берет же где-то истоки молва, что крутит кто-то людей, уводит за болота, откуда обратно хода нет. И хотя знаю, что все это сказки, но неуютно становится в лесу, сиротливо, даже квартальные столбы, на которых точно указано, сколько километров от реки отшагал, за зверя принять можно.

Вот и ручей перешел, и болото обогнуло, а таинственная птица все где-то впереди, лишь чуть левее переместилась.

Долго бродил я в ту ночь, уже забрезжило, когда вышел на старые вырубки, Из-за холма, из-за молодого сосновка ясно слышалось «ду-ду», «ду-ду-ду-ду-ду!»

Но птицы, на голос которой шел многие километры, я так и не увидел. Оказалось, что завела она меня в ельники и хвостом помахала. Вместо нее я гидрологов встретил. У них тут скважина заложена. Свернул я на стук движка.

Спроси старииков про этот отдаленный ночной голос, они ответят: «лешева дудка». Спроси пастуха, пожмет плечами. И все же это голос птицы. Так оповещает о своем прилете в тайгу глухая кукушка. Слышишь ее, а не видишь, встретишь — и не догадаешься, что вот она, перед тобой! И не темнозорье виновато, а ее скрытность.

\* \* \*

Избушка стоит над самым разливом, из окна ее видно, как на реке вырастают горы льда, стаи уток, лебеди спешат на север. Всего сутки — и как же все изменилось кругом. С утра солнце показалось. Тепло пало, а к вечеру дождь ударил. Через ло-

га не пройти ни на лыжах, ни пешком — развезло. Союз солнца и воды — сила! А вокруг избушки лес звенит на разные голоса. Иду, и кажется, что какая-то пичуга у меня спрашивает:

— Витю видел? Витю видел? — назойливо, словно я должен знать все.

— Какого Витю? Перфилова племянника? — смеясь, отвечаю я.

— Видел? Видел?

— Он сейчас в шалаше сидит. Вчера крякового селезня притащил. Первым из нас. Первого в жизни.

— Каков! Каков! — доносится из молодого ельника.

А с вершины стройной сосенки, растущей на поляне, певчий дрозд уже в который раз повторяет:

— Что ж ты не идешь? Что ж ты не идешь?

Я уже позавтракал, а он все приглашает. Было бы к чему.

— Пить! Пить! — просит кулик на лугах.

— Пей, если хочешь. Кто тебе мешает... А нам в Нерицу заглянуть бы надо. Еще не бывали. Очистилась, наверно, речка ото льда.

Иду, разговариваю с птицами, смеюсь, мне весело и радостно, а разлив розоватым стал, ветерок с реки потянул. У избушки стоит Яша — старый друг, тоже полосатый тельник носил.

— С кем это ты? — спрашивает. — Я думал, приехал кто.

— Не махнуть ли в Нерицу, думаю, до вечера. Ребята из экспедиции на машине подкинут.

— Я и сам собирался. Праздник у меня завтра... — Рассуждаем, как лучше сделать, а из-за избушки доносится:

— Что выдумали, что выдумали?..

— А мы-то думали — одни, никто не слышит. Лесные обитатели все знают, все видят.

Не ручаюсь за точность перевода их языка, одно скажу: сами прислушайтесь к их голосам и неожиданно для себя откроете, что с птицами можно говорить, о чем хочешь.

— Люблю! Люблю! Люблю! — Твердит на островке какой-то длинноносик.

— А я, думаешь, нет? Нашел чем хвастать.

— Чего шумишь? Чего шумишь! — отвечает ему с бора косач, а сам бормочет о том же и хлопает крыльями больше всех.

Одним словом — весна!

Ненастная пора — темнозорь, запоздалые метели, зазимки, когда забереги снова покрываются коркой льда, а земля снегом, портит настроение, гонит в тепло. Но выпадет несколько солнечных дней и загрохочет лед на реке, наполняя быстро светлеющие ночи шорохом и треском. Начнется весенний пролет

птиц, рыба направит свой путь в речушки и ручьи, разбредется по кустам — и, кажется, нет лучшего времени. Поживи с неделю-две где-нибудь в избушке, и не раз колыхнет в памяти темнозорый, позовет тебя.

## ЧЬИ ВЫ?

ЕЩЕ вчера чибисы спрашивали нас:

— Чьи вы? Чьи вы?

— Коровенские. Порыбачить приехали.

Не верят. Со всех сторон несется:

— Чьи вы? Чьи вы? — хоть паспорта с собой бери.

Сбылась мечта — выйти в отпуск, оторваться от дел, забыть про житейские заботы и уехать куда-нибудь под ёлку.

Поставили катагар — палатку из легкого брезента. Заметали разрешенные Правилами сорок метров пущальниц — ставных сеток с небольшим хоботом. Наладил огнище.

Поброшу в лесу, где всё поет о весне, вытрясу сетки и кричу соседу:

— Заворачивай! Хвастайся!

Никакого лечения не надо, даже если сто болезней до этого имел: сами улетучиваются.

— Чьи вы? Чьи вы?

— Коровьего ручья не видали? Так и деревушка зовется.

— Чьи вы?

Но это было еще вчера, а сегодня с утра тишина стоит, только селезень упрямо ищет свою крякушу, кружится над разливом, заглядывая в каждый уголок.

Нет ее, словно сквозь землю провалилась.

Отталкиваю от берега лодку, еду смотреть сетки. И тут замечаю: пока спал — вода резко пошла на убыль, кусты внизу черные... Щупаю веслом дно: совсем мелко. Так можно и застрять. Надо убираться, пока лодка проходит.

Значит, вынимать сетки? Жаль! Какие язи ловились. А караси — отменные. Где еще таких найду.

Проталкиваюсь веслом через кусты ивняка и слышу тревожный голос крякуши:

— Кря!.. К-р-я!

Совсем рядом сидит, но не взлетает. Не похоже это на нее.

— Ага! Вот где ты!..

Вижу легкие волны — отплывает в сторону.

— Э, да тут совсем мелко. Где-то островок есть. С гнезда поднял — то-то прячешься.

На ивняке, полу затопленном водой, белеет что-то.

Вчера тут леши играли, звон разносился по кустам, брызги летели. Неразумные эти леши: половина икры обсохнет. Само то ушли? Вынимаю сетки, заметанные с носка, от бора, по ворге — специально прорубленной для этого просеке. Они, к удивлению, пусты. Не ждал, что рыба так быстро скатится с наволока на глубь.

Пусто. Больше здесь делать нечего. Что за отдых без наварной ухи, без разорванных щуками сеток. Мы не из тех, кто просто хочет полюбоваться природой. Для того и сети вяжутся, чтоб рыбу ловить. Знаем этих «отдыхающих». Только отвернись — пущальницы вытрясут, вырезая рыбу ножом, чтобы поскорее управиться, как бы не застали! — а то и совсем заберут, котелок на огнище вместо мищени используют — продырявят весь, попадись крякуша — и ее не пощадят. Знаем этих людей.

Осталось свернуть палатку, согреть чаек на дорогу и новые места искать — поближе к реке.

— Как у тебя? — слышу голос соседа.

— Подъязки. Нету доброй рыбы.

— И у нас тоже.

— Дуй к огнищу. Вместе отчалим.

Дымок костра плывет над наволоком, где уже показываются зеленые островки с крупными желтыми цветами.

Завариваем чай. Вспоминаем удачливые весны. Прикидываем, куда лучше ехать.

Над нами вьется рассерженный селезень. Он, наверно, думает — по-своему, что мы его подружку забрали. Вечером утка покажется, приласкает его, крыльшки почистит, вместе покормятся — и задремлет он на носку, где нас уже не будет, спрятав голову под крыло. Проснется — и снова искать, пока крылья не ослабнут, в крепь — густой кустарник с прошлогодней осокой, на линьку не заберется.

Весна была поздняя и крутая. Быстро пронеслась она. Поэтому и тишина кругом, что кончилось время игрищ, песен, семьи у каждого, заботы появились. Одна кукушка еще долго будет в бору куковать, до сухой воды, пока, как говорят, колосом не подавится.

Лодки наши снова наполовину обсохли.

— Как вода покатилась!..

На пожнях после паводка остается толстый слой ила, вывороченные с корнями деревья, дёрн, мелкий хлам. Войдут реки в берега — рабочие в наволоки приедут. Костры загорятся на лугах. Хлам уберут, чтоб у машин косы не ломать.

Много беспокойства в это время птице: гнезда у нее на опушке бора, в дуплах, под корягами на пожнях и прямо в траве. Начнет она отводить людей в сторону, подранком прикидываться, как будто мы не знаем в чем дело. А к началу сенокоса утятятся, зашлепают лапками по воде, разбегаясь в разные стороны.

Ночи уже совсем белые стали. Тишина. С черемух валится на новую зелень желтоватый, уже не нужный ей цвет. И когда он успел пожелтеть?

Вроде только начинал расцветать.

Одним словом — лето.

Я начинаю поглядывать в домашнюю сторону.

Может, отдохнул и хватит?

За работу пора — летний день зиму кормит.

## ЧЕРНЕТЬ ПОШЛА

ПО-РАЗНОМУ летят птицы на север. У каждой свой путь, свое время. Кряковые селезни в одиночку тянут, издалека оповещая о своем прилете. Достается им тут: в кустах от холода прячутся. Шилохвость табунами идет, выбирая для кормежки глухие озера, когда забереги появятся. Свиязь высоко в небе несется, со свистом, переговариваясь, радуясь, что снова на севере. Полыньи любит. Голубан, красивейшая из уток, с шумом летит, и когда шлепается к манихам, то кажется: стая вот-вот скрадок крыльями опрокинет. Манихами мы зовем утиные чучела. Манить, значит, приманивать, обмануть. В самый разлив, когда бегров не видно, голубан летит. А завершает перелет чернеть.

Эта весна затяжной была. Уже вода на убыль пошла, сухая утка давно на гнезда села, а чернеть все не показывалась: снега кругом.

Ждать перестали, когда в одну из ночей солнце ярким пламенем осветило верхушки сосен на домашних косогорах и опять подниматься стало, показалось из-за острова черное облачко, за ним другое, и вскоре вся река почернела. Странные какие-то тучки, против ветра плывут, над самой водой.

— Вот и черная пошла! — Митрич стоял над обрывом и показывал вверх по течению. — Испокон веков так было.

— Сколько же ее?

— Миллионы, наверно! Трое суток полетит беспрерывно. За этой уткой к нам лето спешит.

## ЛЕТНИЕ ДОЖДИ

ГДЕ-ТО слыхал: дождь лил дважды на дню, а мы уже и счет им потеряли. Только вышли сегодня к реке, как снова капля по капле, а потом зарядило, словно из ведра. Никакие плащи не спасут, ни под каким деревом, будь то даже сказочный дуб, не отсидаешься. Но мы не сахарные, не размокнем, и, махнув рукой на ненастье, пошли к дороге, где стоял автобус. Дождь будто ждал этого — в сторону ушел. Солнце быстро обсушило нас, а когда садились в автобус — возвращаться домой не хотелось. Стволы сосен словно позолотой покрылись, черемухой запахло, трава под ногами стала суще и гуще. И все сразу поняли: дело идет к лету. Дождь, что прошумел над лесом и полями, простучал по крыше автобуса, особенный, которого все ждали.

Земля парила, солнце было в окна автобуса, среди нас не умолкал разговор о том, что скоро грибы в лесу появятся. И уже никто не вспоминал о промокших насквозь плащах, о ненастье. Как мало надо все же человеку, чтобы он душой возрадовался.

## КОСТРЫ У РЕКИ

ТИХАЯ летняя ночь пала на землю. Только туман клубится да буксиры пыхтят, спуская плоты в низовья реки. Да еще костры мерцают. Кто сидит около них в этот час? Может, случайный прохожий, которому нужен перевоз? Или рыбак, еще не потерявший надежды поймать ту рыбину, о которой мечтает с детства? Да не потеряет он надежды, не покинет его мечта... Я стою над крутояром, слушаю ночные голоса, вспоминаю то, что рассказывали мне об этих берегах.

Под крутояром еще на дедовской памяти текла река. Она ушла. Пробила новое русло. А озёра, что образовались на ее старом пути, заросли травой.

На горе стояло село. Нет его. Там вырос город, жители которого принесли на эти берега новую жизнь.

А что костры, горящие по ночам у реки? След их останется разве лишь до нового половодья. Виден костер издалека только ночью: взойдет солнце, и только легкий дымок укажет место, где горит он. Костер недолговечен, но человек тянется к нему все так же, как к огню первого очага. Спешите зажечь свой костер, подкиньте в него дров, чтоб люди задержались у него.

Ушла река, но люди помнят о ней.

Стояли на этих берегах темные леса — люди знают, о чем шумели они.

Исчезло село — мы сохраним память о нем, о тех, кто первыми поселился на этих хмурых порой берегах.

Для людей спеши разжечь свой костер, а они, люди, постараются для тебя.

### ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА

СЫН мой, сын, несмышеныш мой, ты помнишь птичку-невеличку, что на дереве сидела, солнце, выглянувшее из-за тучи, песней встречала? Рассказал бы я тебе сказку о ней, но далеко-ваво ты от меня сегодня. А может, услышишь? Как в той сказке, которую я тебе расскажу:

Птичке-невеличке кусты над рекой так же милы, как тебе Кэччойяг, лагерь пионерский, где вас много собралось.

Не велика птаха, да своим голосом поет, тоже солнце славит. Берегите ее.

Да еще запомни: птицу по перьям знать, а нас по тому, с чем по земле идем. Ты рогатки в кармане не носишь, камня за пазухой не держишь?

Совсем недавно птичка, которую мы видели, вылетела из гнезда. И петь-то она по-настоящему не умеет. Лишь пробует. Но голос от пробы к пробе крепнет, так же, как крылья от летанья растут.

Сын мой, сын, я хочу, чтоб и ты чувствовал за плечами упругие крылья мечты. Без них человеку нельзя, даже если он еще и несмышеныш.

Я расскажу тебе сказку про птичку-невеличку, и она поможет тебе. Только не хвались море зажечь. Такие сказки не для нас. И крылья нам даются, чтоб было куда лететь.

А куда спешишь ты, о чём песня твоя и друзей твоих? Я хотел бы, чтоб в сказку вошел и Кэччойяг. Так что давай складывать ее вместе, не спеша. Ведь мы привыкли с тобой спешить медленно.

### ГРИБНАЯ ПОРА

ПЕРВЫЕ грибы — это первые грозы, после которых обычно стоят жаркие сухие дни. Те из грибов, что успели освободиться от мохового покрова, сохнут на корню.

С нетерпением ждем мы грибного сезона.

Он наступает с приходом грозы, после которой небо заволакивается обложными тучами и начинается теплый мелкий дождичек. Он идет порой несколько дней подряд. Кажется, и не льёт, а просто капает, но зайди в лес и через несколько минут промокнешь насовсюз.

После длительного ненастя начинает парить от жаркого солнца. Воздух в лесу напоен влагой. Голоса птиц особенно звонкие. Тогда-то и сбрасывают с себя пеленки грибки-боровички. Целыми семействами появляются они в борах-беломошниках, в березняках, по крутым взгоркам вдоль лесных ручьев.

Бери корзину, а еще лучше берестяной пестерь и спеши в свои места. Такие места у каждого грибника есть. Про них каждый предпочитает умалчивать, хранить их от чужого глаза.

Придешь в такое местечко, а там красным-красно подосиновики хороводы водят. А если с детьми — то поход за грибами превращается в большой праздник.

После первого грибного дождика погода начинает капризничать — то солнце, то ветер, то сушь, то проливной дождь. Наступает золотая пора, и длится она до холодов, пока ямки между кочками водой не зальет, пока заморозки не ударят и не зазвенят под ногами первый ледок.

## В ЛЕСУ И ДОМА

ДОМА, если не слышу с балкона воробышного гомона, не вижу через окно их потасовки из-за хлебных крошек, мне чего-то не хватает. Привык за утренним чаём слушать их перебранку, даже крестников замел.

А в избушке, стоящей на берегу Мачи, я привык засыпать под песню камышовых овсянок. Невзрачные на вид пичуги, на воробья похожи. Только весной черной шапочкой и черным галстуком похвастать могут. Строго одеты. И песня их незатейлива, но своя.

— Чур-чур-чурррю-чих! — заведет один, присев на ветку черемухи, усыпанной белыми цветами.

Чур-чур-чурррю-чуу! — ответит другой. И начнется концерт-перекличка. Самки на гнездах сидят и слушают.

А я лежу, закинув руки за голову и слушаю, пока не усну. И мне опять снится полузаметенный снегом балкон, пройдохи-воробы, автобусная остановка.

В городе, чем ближе к весне, тем чаще вспоминаю Мачу, песни камышовых овсянок, цветение черемухи, рыбакские сети, в которых боятся чудо-лещи, неизвестно откуда появляющиеся со второй — усинской — водой.

И так из года в год. Все меня тянет куда-то, все не нагляжуясь, не успокоюсь, а пора бы.

Чур-чур!..— Пусть не случится со мной такое. Сердцем чую — долго еще шагать по нехоженым тропам. Еще не раз вспомню где-нибудь, может, далеко от севера и полузаметенный снегом балкон и полузатопленные поженки. Они одинаково дороги мне.

## НЕБО

ТЫ задумывался, что такое небо? Синяя глубина, тучки, огненное солнце, звезды, разноцветные столбы сполохов.

Говорят, небо — это пространство, где пролагают свои трассы лётчики, где, оставляя за собой огненный след, уходят к звездам межпланетные корабли. Я не знаю, что такое небо и только седьмым чувством постоянно ощущаю его, всегда ношу в себе.

Ты растешь, мой сын, и тебе по ночам снятся горы, переходы через речки, прыжки через пропасти. И со мной такое было в детстве. Но почему ж и теперь нет-нет взмахну во сне руками, словно отрываюсь от земли, словно крылья за спиной выросли? Все выше, все дальше.

В сердце человека с детства живет тяга к полету, зависть к птицам, парящим над землей. А чему завидовать? Человек создал такие машины, что летают быстрее звука.

Я ли не полетал, я ли не знал неба? Так нет же, приснится, что взмахнул руками, оторвался от земли и лечу... Куда?

— Ты тоже растешь, папка?

— Тоже.

Воздушный поток поднимает меня все выше и выше. Куда лететь мне? А вот живет в сердце тяга к полету и что ни год, то сильнее.

Говорят, что небо — голубое пространство, но только ли? Небо это высота, без которой нельзя человеку. Расти, тянись к высоте, не зная, как говорят пилоты, потолка, а если почувствуешь, что достиг его — не жалей. Каждому свое. Умей держать набранную высоту. Это не легче, чем взять ее.

## ФЛЕЙТА ЧЕРНОГО ДРОЗДА

Я МОГ бы пройти мимо, Емвалька, не оставив следов на твоих берегах, но, может, к счастью, случилось иначе. В шуме больших и малых рек, которыми богат Север, мог бы не услышать твоего голоса, но услышал его. Тихий у тебя голос. По-разному звенит он в черных ельниках, в березовых перелесках, в сосновых борках, которых пощадил даже неразумный топор. Ты узка. Даже теперь, когда на Вычегде островков не видать, не то что отмелей, в пору большой воды, перехожу через тебя по замшелому стволу поваленной ветром лесины. Всего каких-то два-три шага.

Ты хочешь о чем-то рассказать? У рек, как и у людей, есть свои тайны, свои предания. Но мы, люди, берем лишь то, что хотим слышать, что близко нам. О чем же хотела поведать ты?

Странно, но я пришел сегодня сюда, на крохотную поженку, где многие десятки лет звенела чья-то коса, дымокур отгонял комаров от чьего-то шалаша, просто так. Не радостью поделиться, не за тем, чтобы унять необъяснимую тревогу, порой находящую на человека нежданно-негаданно, как снег в конце мая. Приди она — к людям поспешу, а не в сторону от них, как слепой, что радуется, когда его задевают локтями на тротуаре. Ведь это люди рядом идут, они спешат, и он с ними. Толкайтесь, говорите, ничего, так веселей...

Я и не знал, как это хорошо — просто заглянуть в лес. Слышишь: почки лопаются на деревьях. Ты напоила меня сегодня березовым соком. Не той ли живой водой, о которой в бывальщинах говорится? Лежу, закинув руки под голову и, кажется, слышу, как трава пробивается сквозь влажную суzemку навстречу свету и ветру. Где-то рядом поет черный дрозд. Счастливец, кто увидит его. А я только что держал его в руках, любовался им, как диковинкой. Сколько лет ждал дня, когда опутаю его, сколько искал, а встретил на твоем берегу, Емвалька.

Лежу, закинув руки под голову, гляжу в синее небо с редкими, похожими на летящих в тундру лебедей тучками, и не верится, что черный дрозд лишь приснился мне. Нет, я держал его в руках, а потом развернул сеть и отпустил на волю. Пусть играет на своей флейте, завораживает юных, для которых его песня, как южный ветер для первой листвы.

Как легко сегодня, как свежо кругом, словно расступились леса, запахло клевером, и чей-то до боли знакомый голос позвал за собой. Он не знаком тебе, этот голос? Может, бродячая юность моя, чей след затерялся среди оленевых троп, вернулась

в отчие края? Нет? Значит, просто приснилось, как и то, что держал в руках черного дрозда, певца южных дубрав.

Я не мог пройти мимо тебя и не прошел. Я мог не услышать твоего голоса, но услышал. О чем ты хочешь рассказать? Не о том ли, что обмелеешь скоро, маленьkim, никому неведомым ручейком затерявшись в тайге, вспоминая про весну, когда все шумит, все рвется к морю, еще не зная, не видя его. А море не только простор, но и горечь соли и скрытые в кипящих бурунах камни, страшные в своем равнодушии и молчании. В море все равны — большие и малые, как реки, так и люди. Куда же спешишь ты? Зачем?

Расскажи мне, Емвалька, кто оставил зарубку на старой пихте, чье огнище застает травой у излучины, над которой шумит молодой сосняк, куда и кто унес куст смородины, кто потерял цветастый, уже вылинявший на солнце платок — по рассейности, в спешке, раздвигая руками кусты, или шатаясь от счастья? Расскажи про это, а я подарю тебе сказку про черного дрозда.

«И до тебя здесь бывали люди, и после придут»...

Знаю про это, но мне, Емвалька, открылось и другое. Я мог пройти мимо тебя и не прошел. Я мог не расслышать твоего голоса, но услышал. Так и у нас, у людей. У сердца тоже бывают и половодье, и межень, и «сухая» вода, когда синице искупаться негде, вот и грозится отомстить — море зажечь...

А дрозд все поет. Ему некого бояться. Птицелов забыл про тонкую капроновую сеть и спит, закинув руки под голову, рядом с угасающим костром. Давно разошелся туман, солнце поднялось над ельниками, ветерок ударил. Все спешит, все меняется. И я, забредший в лес просто так, закрыв глаза, спешу досказать тебе сказку про флейту черного дрозда. Знаешь, о чем он поет? Будь Емвалькой, береги себя, только это остается после нас. Потому так молodo и разноголосо шумит море, так велики приливы, неизбывна сила моря, в котором теряются наши следы. Я о тебе знаю все и ничего не знаю. Я лишь повторяю имя твое «Емвалька», как повторял когда-то девичье: Ненико. Кто дал тебе его, о чем говорит оно? Много на земле рек и речек, быстрых и тихих, своюенравных и послушных, а Емвалька одна.

А Ненико, моя Ненико? Я так и не знаю, встречалась ли мне она? Может, приснилась просто, так же, как флейта черного дрозда?







# ЦЕЛЕБНОЕ РАЗНОТРАВЬЕ

---



## ПИЖЕМСКИЕ НАВОЛОКИ

Я СНОВА на берегах этой реки, берущей начало в тиманских увалах. Что же, собственно, привело меня сюда, может, уже в сотый раз? Что ждет? Чем порадует меня она? Трудно сказать. Одно знаю: название этой реки идет от целебной травы — пижмы, и побывать здесь хотя бы несколько дней — для меня лучше всяких санаториев, самых дорогих лекарств.

Вторую ночь провожу на заброшенном огнище у Прокопая. Совсем недавно здесь стрекотали сенокосилки, звенели конные грабли, слышались голоса, горели по вечерам костры, а сейчас тихо, лишь большие, пахнущие мятою стога напоминают о страде сенокосной. Тихо вокруг. Изредка просвистят над тобой утиные крылья, всплеснет в реке рыбина, блеснув под лучами вечернего солнца серебристыми боками, да прогудит подвесной мотор. Даже с крежа вижу играющих на песчаной отмели подъязков. Сколько же их тут собралось! Закинь удочку — набросятся на червяка шумной стайкой, начнут тормошить его, и вдруг, как искры от костра, разлетятся в разные стороны. А поплавок тут же исчезнет под водой. Горбач из глубины подсмотрел. Он бьется на песке — красивый, сильный, и как-то жаль становится, что через несколько минут эти краски поблекнут. И снова сидишь, слушаешь тишину.

Что же все-таки тянет меня сюда? Рыбалка? Есть места, где она побогаче. Более привольные, кажется, созданные матерью-

природой для отдыха. А здесь ночами без теплой куртки не обойтись. Или просто привычка к знакомым местам? Но где бы ни был, везде чувствую себя как дома, дороги приучили к этому. Что же тянет меня к Пальнику, как называют это место? Откуда взялось это название? Неподалеку от Прокопая сохранились развалины старой избы. В давние времена кто-то из крестьян рубил и выжигал тут кусты, из года в год расширяя поженки, что узкой лентой тянулись вдоль реки. А теперь куда ни глянь — стога, и только вдоль бора еще сохранились сплошные заросли ивняка, да и они скоро исчезнут. Как только ударят холода, сюда придут механизаторы и могучие ножи бульдозеров сделают свое дело.

Тихо вокруг. Сгущается темнота. И начинается удивительный по своей красоте перепляс зарниц, когда в полной тишине сверкают молнии.

Я не знаю, что меня сюда тянет,— то ли желание посидеть с земляками у костров, вспомнить прошлое — это тоже нужно порой человеку, то ли неизбывная страсть побывать, как теперь говорят, наедине с природой, то ли «усталость тихая, вечерняя». Но по утрам, покидая огнище, я не скажу ему «Прощай!», а скажу «До скорого свидания». А по ночам, в городе мне еще долго будут сниться всплески идущего на нерест лосося, поплавок, уходящий в воду, певучий говорок землячек, расспрашивающих о житье-бытье, приглашающих тебя к общему столу, усталых после долгого страдного дня, но, как правило, заканчивающих вечер берущей за душу песней, и зарницы, а не грозы, от которых горят леса.

Я снова на берегу этой реки, и мне снова удивительно хорошо, спокойно на душе, словно припал губами к целебному источнику, что смывает с души человека наплестки прожитых лет.

### СЕМГА ИДЕТ

ТЯНЕМ лодки бечевой. Узкие лямки режут плечи. На крутых поворотах еле держимся на ногах, чтобы не свалиться с крёжа. Тяжело, но пожаловаться некому. Только так можно добраться до Ипатихи — река стремительная, каменистая. Отдыхаем на плесах, но чем выше поднимаемся по Пижме, тем их меньше.

Солнце в это время не закатывается. Только комары напоминают о том, что наступил вечер. Они лезут за ворот рубахи, в глаза, в нос, до крови искусали руки. Чем больше бьешь, тем больше становится комара: на кровь слетаются.

Всем было хорошо северное лето, да комара много, спасу от него нет.

«Бу-у-х!»— разносится над рекой. «Бу-у-х!»— отзыается вдали.

Это семга в ямах играет.

Издалека, от берегов Норвегии, из года в год приходит она к нам на нерест. Даже теперь, когда море у Норвежских и Кольских берегов гудит от разрывов, когда над ним поднимаются языки пламени, она рвется к Пижме, бегущей к морю с Тиманского кряжа. Много речек вокруг, с виду все они друг на друга похожи, а семга одну любит. Говорят, что дорогу она по запаху узнает. Чем же пахнет пижемская вода? Право, не знаю.

Холодная, как лед, прозрачная, она ломит зубы и утоляет жажду косаря. Донным камнем припахивает Пижма? А может, целебными травами, что растут по ее берегам? Поговаривают же охотники: мол, раненый зверь в реку бросается, там силы набирает. Да и название реки происходит от цветка — от желтых гроздьев пижмы, что качаются в наволоках.

— Семужка пошла, идет кормилица...— рассуждают в лодках женщины, а на тонях-то пусто. С сенокосом бы поскорей управиться. Как-то еще с погодой будет, время на время не приходит.

Лодки, разрезая быструю, тянутся вверх по реке, к дальним сенокосным уроцищам, а в тишине безоблачного вечера раздается «Бу-у-х! Бу-у-х!».

Семга идет...

— Спите на ходу!— кричит бригадир.— Не видите?..

Лодку разворачивало течением поперек реки, мы налегли на лямки.

— Та-а-к! Так! Ладно!.. Тяни, робятки!.. Добро!..

А над рекой несетя: «Бу-у-х! Бу-у-х!» Семга, гордость наша, кормилица наша идет на нерест.

## ОГНИЩЕ

И ПОЧЕМУ меня так тянет к костру — к языкам пламени и снопам искр, разбрасываемых в разные стороны легким ветерком, к горьковатому запаху дыма?

Ночи еще светлые, можно бы и без костра обойтись, а нам обязательно нужно сесть кружком у огня или прилечь на траву и вести неторопливые разговоры о том о сём.

Начнем с погоды, которая, как обычно, капризит, а закончим космосом.

— На Великой маленько осталось, с утра закончить надо,— это бригадир.

— На Глубокую перейдем? — это второе звено интересуется. Там травостой лучше и каждому хочется попасть туда.

В голосе бригадира, моего сверстника, слышится что-то знакомое.

Так же, бывало, Вася Комиссар по вечерам говорил бригаде о сделанном, советовался, разнарядку на завтра давал.

— Дождик помешал,— говорил он, но сегодня не без завтра. Только взяться. Наше дело простое: затянул песню — так веди до конца. Никто за нас сено страдать не будет.

Так же неторопливо потягивали цигарки косцы, а женщины собирали на стол нехитрый ужин.

— Давно не бывал на нашем огнище,— это уже ко мне относится.

— Все некогда. Другим занят.

— А тянет? Чай, вырос тут.

— Тянет. Да и живу далековато от вас.

Огнище и дом — что в них схожего? Черемуха под окном и костер у реки, прохлада родных комнатушек, где-то ползал когда-то на четвереньках и делал первые шаги, туча комаров над головой, от которых не спасает даже дым костра... А есть общее.

Огнище — это место, где люди собираются на отдых, на ночлег, где они живут летом. С него все и начинается на земле.

Как было в наших краях в старину? Выходил человек из глухомани к реке, качал головой от удивления, садился на валежину и думал думу.

— Благодать-то какая! — говорил он себе, вставая.— И не чаял увидеть такое. Способил бог...

Разводил костер, а утром начинал рубить избу. К ней со временем другие приостанавливались. Смотришь, деревушка выросла, а там село, хотя на это порой века уходили.

Да что деревня! И Москва не вдруг строилась. И она, значит, тоже с огнища начиналась.

Да и сейчас не то ли самое?

Кому не верится, может в наши края заглянуть, к геологам. Сегодня они греются у костров, а через год-два на месте палаток городки поднимаются да какие... Часто слышишь: «Не городок, а Москвы уголок». К ней от великого множества наших огнищ пути-дороги тянутся, по ней наши жизни, как время, сверяем.

А к костру нас тянет, наверно, потому, что напоминает он о родных местах, о тепле родного дома. В ком о родном доме

память живет, тому легко по земле ходится, тот никогда не будет листком, что несется над наволоками, гонимый ветром, сам не зная куда.

## БЕРЕГОВУШКИ

ОХ и жара!.. Духота. В Подмосковье идут проливные дожди, больше недели ненастье, а у нас в нижнепечорье — тридцать пять градусов тепла. Две недели подряд! Земля на полях потрескалась. Только начавшие набирать силу стебельки многолетних трав поблекли, вот-вот пожелтеют. Ростки картофеля не могут пробить толстую глинистую корку. Люди угрюмо смотрят на запад, в сторону моря, откуда к нам чаще всего заносит ветром обильные влагой тучи. Спустя полмесяца они так же станут смотреть на восток, желая ясной теплой погоды, или, как у нас называют, ведрия. Во время сенокоса дожди — помеха. А теперь, как нужен теперь ливень! Ведь и на лугах, что не были затоплены паводком, трава почти не поднялась. Косить нечего будет. Осеню разве управишься! Она у нас короче воробышного шага.

После сева до сеностава тихо в селе. Кто косилку готовит, кто трактор ремонтирует, кто грабли делает, кто косы точит — все загодя приготовить надо, чтобы после руками не махать, не пенять на себя. И все смотрят на небо.

Ох и жара! Душно. Береговушки сегодня разлетались. К чему бы это?

Ласточек-береговушек много в окрестностях села. Кто из нас, мальчишек, не карабкался по обрыву, в кровь разбивая коленки, пробуя захватить щебетунью врасплох в ее норке, сделанной у самого карниза крутого берега? Кто часами не лежал, уткнувшись лицом в землю, держа наготове отцовскую кепку, чтобы вовремя прихлопнуть птичку? Трудно, ой как трудно застать ласточку врасплох! Они заботятся друг о друге, предупреждают об опасности.

Серому коту старой Гришихи не раз доставалось от этих безобидных птичек. Только подлезет он к норке, протянет когтистую лапу, чтобы вытащить оттуда вместе с гнездом беспомощных, покрытых желтым пухом птенцов, как налетят они со всех сторон, как накинутся на него — кубарем вниз летит. И еще долго лижет ушибленные места, жалобно мяучит где-нибудь в кустах.

Трудно представить наше село без ласточек-береговушек. Они вносят оживление, радуют сердце. Как часто прохожие останавливаются на дороге, чтобы послушать их щебет, посмот-

реть, как они усаживаются на телеграфные провода и, отдохнув немного, снова взлетают. Как часто рыбак, отчаливая от берега, любуется ими и качает головой: «Сколько раз в заречье слетали, вострокрылые, пока я за веслами ходил?»

Ох и жара стоит!.. Как в парилке! Бери веник. Скидывай рубаху и хлещи себя — поддавать не надо. Даже старики, что любят погреть свои кости, сидя на завалинках, к полудню в тень перебирались, толкуют между собой: «Дождичка бы!»

Но едва перевалило за полдень, как береговушки, словно по сигналу, скрылись. Откуда-то издалека налетел порывистый ветерок. С низовья донесся непонятный шум.

Быть дождю!

И дождь заявился. К вечеру горизонт закрыла черная туча. Ветер взметнул по улице пыль. Ровная как зеркало гладь реки заволновалась, заплескались о берег белые волны, высоко подкидывая стоящие на якорях рыбачкие лодки. Через всё небо блеснула зигзагообразная молния. На село обрушились раскаты грома.

Не успели люди закрыть окна, выключить радиоприемники, как по стеклам забарабанили крупные, с горошину, капли долгожданного дождя. Стихнув на несколько минут, он кинулся на землю лавиной, утоляя ее жажду.

Не зря крутились над землей ласточки. К дождю это. Воздух плотней становится, мошкара не может высоко подняться, вот и разлетались с утра щебетуньи, чуть крылышками траву не задевали.

Первая гроза. Первый ливень. Они обычно в мае бывают. А у нас в мае ледоход, еще земля не оттаяла, ни к чему дождь. А вот в июне, после сева, только и знаешь, что смотришь на небо да звонишь на метеостанцию: «Как там? Скоро ли?»

Всю ночь шумели на улицах потоки. Земля парит. Глянцево-черная, покрытая зеленью, она улыбается незакатному солнцу. Весело на душе: и травы на лугах вымашут в рост человека, и на полях добрый урожай соберем.

## КОРЮХ

### ЗАКАТ. Ясный, розовый закат.

Над голубыми от солнца ельниками кружит ястреб. Над лугами трепещут крылышками жаворонки. Высоко над рекой с веселым щебетом носятся ласточки. Где-то неподалеку звенят конные грабли, тарахтит трактор.

Отстраняя рукой ветки черемух, на которых уже висят мелкие, еще зеленые ягоды, вдавливая в желтый песок округлый галечник, идёт вдоль Пижмы человек, то и дело взмахивая длинным удилищем. На воду падает золотистая мушка, сделанная из петушиных перьев. У кого из нас нет таких мушек? Кто не оставил без хвоста соседских петухов: сегодня перышко, завтра другое, а там, глядишь, ничего не осталось.

Сколько раз перепадало за это от отца и мне. Что поделаешь, если петух у соседей почему-то всегда красивей, чем свой. Дело не трудное — прижал петуха к забору, не слушая его суматошного «Кал-ле-чат!», выдрал самые лучшие перья. Накрутил перья на крючок и обметал цветными нитками — вот и готова мушка. Спешишь к реке, где играют на быстрых перекатах хариусы.

Пижма славится ими. Здесь нерестится сёмга, а хариус любит поживиться за чужой счет. Скапливается он тут в несметном количестве. Кроме семужьей икры его привлекают сюда шумные перекаты, донные ключи, от которых вода и летом остается холодной: не любит жары хариус, подавай ему воду холодную, как лёд.

Вот и сейчас, чуть шевеля плавниками, стоят толстобокие разбойники около камней, подкарауливая добычу.

— Раз! — Упало что-то, распластало крыльшки.

— Хват! — И готов.

Снова что-то упало...

Другие кинулись.

Тут знай, не зевай. Гнется удилище. Брызги в разные стороны летят. Серебрятся бока хариусов.

— Нужен ты мне! — Неожиданно слышу я голос незнакомца. Вижу: парень какой-то снимает с крючка рыбешку. Снял и бросил в реку. Закружила ее быстра, потащила вниз, на плоский камень выбросила. А неподалеку сёмга бьёт — икру мечет. Человек оглянулся, думает, наверно: «Эх, такую бы поймать!» Посмотрел, как она коп — углубление в галечнике делает, и дальше пошел: близок локоть да не укусишь. Сёмгу лишь на блесну можно взять да и то не всегда. Во время нереста она перестает питаться.

Постоял и дальше пошел. Только хруст веток доносится из-за мыска да кулички перелетывают с места на место.

Человек мне незнакомый, из экспедиции, знать, первый раз в наши края попал. Может, и хороший парень, да разве так делаются? Года через три из этой рыбки, похожей с виду — синеватой, пестрыми пятнышками на спине, — на мелкого хариуса — жигана, которую, говорят, и птица не клюет, вырос бы красавец

лосось. Из далеких краев, с моря спешил бы он к Пижме. Обходил бы ставные ловушки, перескакивал бы через верхнюю тетиву неводов, пытался бы от омулевки — тонкой, почти незаметной в воде крупно-ячейной сети, плывущей по фарватеру. И так дошел бы к самым истокам Пижмы, что берет начало в болотах Тиманского Камня. Дошел бы, но лежит сейчас на валуне, ненужный никому. Только порог шумит да сёмга мечет икру.

— Оглянись! — кричу я.

Не слышит.

Какую красоту походя загубил — чужой земле человек.

А перекат все так же шумит. Через него с верховьев Пижмы скатываются к морю корюхи — эти синеватые, с пестрыми пятнышками на спине рыбки. В море они наберутся сил, вырастут и разойдутся для нереста по маленьким речкам, каких на севере великое множество, будут бить на порогах, радуя людей сметкой, силой, красотой, упрямо пробиваясь к истокам рек.

## ВЬЕТСЯ ТРОПКА

ВЬЕТСЯ узкая тропка по ложбинам и угоркам, то к реке выскочит, то через ручеек по жердочкам перейдет, то затеряется в душистом разнотравье и появится вновь лишь у дороги, что проглела через наволоки.

Чего не увидишь на этой тропке в утренний час, когда солнце еще не успело высушить крупную, как горох, росу, когда над Пижмой еще не разошелся ночной туман, не загудели моторы.

Из-под раскатистых листов борщевика, похожих на ветки доисторического дерева, вспорхнула пичуга и присела на вершину толстого стебля. С листа на лист перескакивает она, попискивая тревожно, на тропку перепорхнула, бежит перед тобой, волоча крыльышко...

Не спеши за ней, приостановись, раздвинь густую траву — на земле лежит свитая из сухих травинок, перышек, волосков чашечка, а в ней — пятнистые яички.

Сделай вид, что не заметил, не склоняйся над гнездышком. Ты не один на лугах в этот ранний час.

С большой, надломленной ветром ивины, что склонилась над рекой, в твою сторону косо посматривает ворона. Хитрюга! Стоит тебе уйти, она непременно заглянет под зонтик борщевика, — проверит, на что ты глядел там...

«Кр-р! Кр-р!» Замахала крыльями, грузно снялась с дерева.  
Перелетела через тропку...

А пичуги как не было: прижалась к тропке и слилась с нею, даже глаза полузакрыла. Боится: уж не догадалась ли серая, что у пичуги гнездышко тут?

А чуть в стороне трава колышется, кто-то испуганно бьется в ней. Зайчишка!.. Крохотный, серенький, с большими выпуклыми глазами. Забрался в траву, а убежать не может — запутался в ней, лапой как в петлю попал. Что бы переждать, пока пройдем, на ноги понадеялся лopoухий, да не рассчитал прыжка.

— Ну что, попался? — ты гладишь его по мягкой, похожей на пух шерстке и слышишь, как стучит робкое заячье сердце.

— Беги да не попадайся больше, несмышеныш.

Зайчишка прыг-прыг — и как не было его, тут же в кусты свернулся.

А если к озеру заглянуть, что кувшинками заросло, увидишь, как из него ручей в реку выпадает, как из-под самых ног крякуша вылетит — забьет крыльями по воде, заплещется, раскричится на всю округу. У нее тоже гнездо, тоже в траве, но у самой воды.

Вьется тропка среди густого разнотравья, а по обеим сторонам лежит Страна Чудес, в которую можно попасть лишь на утренней зорьке. Хочешь увидеть ее — встань пораньше, накинь пиджак на плечи, зашнуруй кеты и, не торопясь, иди куда глаза глядят. Тропинка сама приведет тебя куда нужно.

## И ПЕСНЮ ЗВОНКУЮ ЗАПЕЛ

ЛЮБЛЮ стога первой косы. Сено в них мелкое, зеленое, и зимой сохраняет запах лета. А во время сенокоса, дыша их целебным настоем, не чувствуешь усталости, готов трудиться круглые сутки. Так, по правде сказать, и бывает. В страдное время не до сна.

Ранним утром, когда бесчисленные пойменные озера окутаны молочным туманом, сквозь который падают на прибрежные кусты лучи незакатного солнца, на пожнях лежит густая, крупная роса, словно кто хрустальные бусы рассыпал, идешь на присоску.

Еще дрема не прошла, еще глаза по-настоящему раскрыть не можешь, а бригадир уже торопит: «Давай! Давай!» Плеснешь в лицо холодной водой — и «горбушу» в руки — большую, похожую на серп с изогнутой ручкой косу.

Пожни у нас узкие, между озерами лежат, повороты крутые и везде машиной не возьмешь. Около кустов, на крутых берегах озер косиши вручную.

Только «ж-жик-жик!» разносится в тумане. Трава послушно ложится наземь. Она для того и росла, чтобы коса по лугам гуляла, было где нам плечи поразмять, у达尔 свою показать. Взмах с правой руки, взмах — с левой — и тянется за тобой широкая полоса скошенной под корень травы.

Но туман рассеивается, роса исчезает, солнце поднимается все выше, и косари возвращаются к избе, чтобы передохнуть и взяться за другое дело.

Над пожней, словно привязанный к чему-то, в синем, безоблачном небе трепещет крыльшками жаворонок.

«Тир-лир-лир-лю!» — несется с высоты. Весной мы его не замечаем, не знаем даже, когда прилетает он. Поля маленькие, разбросанные по крутым склонам холмов. Несколько раз проехал трактор и дальше. Сев за несколько дней вершим.

Весна на севере звонка и разноголоса. В шуме утиных стай, в лебедином клике, в курлыканье журавлей, в суматошно-радостном гоготе серых гусей песня жаворонка теряется. Не до него нам в те дни. Но во время сеностава, когда кругом наступает тишина, часто видишь, как бородатый косарь посмотрит в небо, качнет головой и скажет:

— Эк, распелся!..

Около избы горит костер. Женщины готовят завтрак. Сердито, словно сетяя на то, что запаздываем, что приходится ждать, пыхтят чайники, заливают огонь кипятком.

Бросаем на длинный досчатый стол под окнами избы толстомордых карасей с заплывшими от жира глазами, вынутых по дороге из пущальниц. Караси бьют по столу хвостами, раскрывают рты, но уже острый нож сосабливает с них золотистую чешую, шкерит — и на сковородку.

Потом залезаем в парусиновую палатку, дремлем часика два — и снова слышен голос бригадира:

— Вста-ва-ай!

На пожнях который день лежит кошенина. Пересохла уже. Нужно сгрести ее и сметать в стога. В небе ни облачка, но ветерок начинает задувать с запада, крепнет, как бы дождя не на-гнал. Нельзя кошенину на пожнях оставлять.

Всей бригадой — кто с граблями, кто на лошадях, кто с вилами — спешим на луга.

Босоногие мальчишки, подложив под себя вместо седла мешок с сеном, погоняют лошадей. Женщины поддевывают кучи веревкой, собирают остатки сена граблями, и кучи одна за дру-

гой оказываются в остойки. Нет ничего радостней, как метать стога первой косы. Сено ложится ровно, поднимать его легко, заканчивая работу знаешь, что стог может простоять до будущей весны, не пробьет его ни дождь, ни снег.

Пока мальчишки подвозят к остойке последние кучи, мы ставим подпоры, утираем пот со лба, говорим между собой о том, что вода весной добрая была — все пожни покрывала и ушла быстро. Вон какие травы поднялись, любо посмотреть.

А чуть в стороне от остойки все так же трепещет крыльшками в ясном небе жаворонок. Кажется: как взлетел он ранним утром, так больше и не спускался на землю. Звучные, рассыпчатые трели, мелодичный свист все звенят и звенят над нами.

Смотрю на певца и вижу, как он быстро опускается на землю. Сколько ни гляди, не заметишь его в траве. Пестрая в полоску окраска делает жаворонка невидимкой. Знаю, зачем спустился. Где-то неподалеку от нас сидит на гнезде его подружка, которой сейчас не до песен. Пой-пой, а о ней забывать нельзя — покорить надо, спросить: как там, скоро ли?

Перед тем, как опуститься на землю, он, чтобы обмануть нас, свернет в сторону, присядет около кустов и оттуда, скрытый травой, побежит к гнезду.

Счастье его: где он поселился, травы еще не тронуты. Мы за них еще нескоро возьмемся, а то могла быть беда — легко под машину попасть, она не разбирает что косит. Утки под косу попадают, зайчишки. Откуда нам знать, кто прячется в траве.

— Тир-лир-лир-лю! — несется с высоты. И как это мы не заметили его весной? Голосистый. Ни с кем не спутаешь. Не долго ему петь осталось: недельки две каких-то.

...Осенью так же незаметно, как прилетел, отправится он в дальнюю дорогу, в не знакомые нам края, где пробудет до следующей весны.

— Тир-лир-лир-лю! — Где кроме России услышишь такую песню?

## ПРИКОСКА

ПРИШЛО время — погоды не жди, чтобы у соседей зимой взаймы сена не просить. И в ненастное лето беда не всегда в том, что травы плохи. Хороший хозяин не только по раздельным на волокам да веретьям машинами косит, а и в кусты заглянет. Смотришь, на веретье голо, а в затишьи, по кулижкам, травы давно ждут тебя. И хотя мы живем в машинный век, а не греш-

но взять в руки стойку или ту же горбушу. Вроде бы, наука проста, да не каждому под силу. «В наш-то век да врученую?» А вдуматься, так в каждом деле есть своя прикоска, вроде бы, не главное дело, но не обойтись без него.

Не с того ли все чаще тянет меня на полузаорские луга да в тихие кулиги? Не дальняя дорога учит, а близкая. Не в гуле машин, а в обыденных разговорах ищу главное.

Косари опять на лугах. Ничего, что небо тучами обложило: будет на тучи и добрая погода. Будет на острые косы и много сенокоса.

И мне бы на зорьке прикоску сделать — среди разнотравья слов самые нужные найти, ведь какова трава — таково и сено.

### ШАНЕЖКИ-ВАТРУШКИ

КОГДА уезжаешь из дома, мать так не отпустит, чтоб в темноте не встать, печь не истопить, шанежек тебе не напечь.

«Куда мне», — говоришь, ведь в городе все есть да и дорожато всего два часа лету.

«Как без ватрушек-шанежек ехать, чай, там у тебя друзья-приятели, пусть деревенской стряпни отведают, магазинная-то оскому набивает».

Как не взять протянутый тебе узелок, наполненный неприхотливой снедью с горячего пода. А через некоторое время так захочется снова побывать в деревне, посидеть за столом, на котором кипит самовар, уплетая только что вынутые из печки шаньги с черникой, забывая о том, что губы после этого долго синими остаются, словно чернилами вымазал.

«Дай-ка еще, мама, — скажешь. — Вкусны твои шанежки-ватрушки». И глухариное перо в растительное масло окунешь, чтобы сделать подрумяненную корочку помягче. Сколько ни живу, а домашнюю стряпню ни с какой, даже самой знаменитой, кулинарией не сравню. Может, кто и улыбнется, что о такой мелочи разговор веду, но посмотрели бы вы на девчушек, бегущих летом вдоль реки по наплескам, шлепающих босыми ногами по глине к огнищу сенокосных бригад. У всех узелки в руках, а в узелках этих не только шанежки, но и переменная рубаха для отца, туесок с простоквашей, пачки папирас.

— А ну, развертывай, — скажет отец, уставший после работы, — что там мать наготовила.

Поужинает. Снимет усталость с плеч. Порасспросит, все ли в семье здоровы, как у матери дела на ферме. Редко мужикам

летом в деревне бывать доводится. И пойдет сетки трясти, чтоб дома свежей ушицы отведали. Нет, что ни говори, такой узелок — большое дело. Не нами заведено, но нам этот обычай блюсти.

## ЗАЛИВЕНЬ

ВСЕ лето стояла такая жара, что казалось, будто юг переместился на север. Духота. Земля потрескалась от палящего солнца. И мои односельчане, чаще всего сетующие на ненастье, мешающее сенокосу, то и дело поглядывали на небо. «Хотя бы дождик пошел — землю влагой напоил», — слышались голоса. Но редкие тучи проходили мимо, по ночам гремели сухие грозы, после которых над лесами поднимались огненные языки пожаров, опустошающих предгорья Тимана, охватывающих многие десятки километров. И мужчины вместо сенокоса становились пожарниками, садились в вертолеты, высаживались в глухой тайге и по несколько дней, не сомкнув глаз, бились с огнем, возвращаясь домой пропахшими дымом и гарью. Но всему свое время. Минувшей ночью было нечем дышать, термометр показывал выше тридцати, что для северян непривычно и тяжело переносится ими. А с утра небо заволокло тучами, загремел гром, зашумели деревья под напором густого, порывистого ветра, и в полдень ударили дождь. Не люблю морось — она портит настроение, от нее никуда не спрячешься, ничем не укроешься, равнодушно встречаю дожди — обычное для нас явление, готовлю корзину под грибы, когда начинаются ливни. Но как назвать этот дождь, тот, что за пять минут наполнил бочки, стоящие под окнами, водой, от которого зашумели потоки, прижалась к земле картофельная ботва?

— Заливень! — сказала старая крестьянка, стоящая у привалка сельского магазина. — Подал господь, внял нашим поклонам.

Сказано точно: заливень! Долго ждали его люди и не беда, что на какой-то день умолкнут на лугах косилки. Прошумел заливень, снова яркое солнце, природа словно помолодела, все кругом улыбается и звенит на разные голоса. Я не смог найти сравнения для заливня, но это похоже на избыток добрых чувств, когда хочется быть щедрым, всего себя бескорыстно отдать другим.

## МАЛЬЧИШКИ, МАЛЬЧИШКИ...

ПОДПРЫГИВАЯ на легкой волне, наша лодка быстро несется к устью Пижмы. Все наше снаряжение — удочки да вещевой мешок с провиантом. Накануне я зашел к старому другу, посидел с ним и проговорился, что хотелось бы побывать на Белом ручье, но мотор отказал. «В чем же дело?» — пробасил он. — Бери моих мальцов и поезжай. Сашка мотором владеет. Им полезно».

Два брата, школьники, застенчивые и в то же время как-то не по возрасту самостоятельные, что, впрочем, всегда отличало подростков деревенских от подростков городских, нередко бьющих баклужи в парках и на улицах, всезнающих и в то же время нуждающихся в поводыре. Сказываются условия жизни. Отец, рыбак, рано начал брать их с собой на охоту, приучать к труду.

Непоседа-Саша сейчас сосредоточенно смотрит вперед — не наскочить бы на топляк, обойти мели. Чувствуется, что бывал он тут не раз, и мы вскоре без приключений добираемся до места, хотя устье реки настолько замыло песком, что порой приходится тащить лодку на себе. Братья накрывают мотор чехлом, канистру с бензином и сумку с инструментами прячут в кусты. Старший — Володя — взваливает на плечи мешок и вот уже идем по узкой тропе, вьющейся среди отливающих золотом соснов. Мы идем к старой мельнице, от которой осталось лишь несколько бревен да название, а оттуда забираемся все дальше в глушь, где в ямах, над которыми свисает густой еловый лапник, стоят в ожидании добычи хариусы, что с осени забираются в истоки Белого ручья.

До его истоков не добраться — далековато, но пока не устремим, будем идти дальше. Первые ямы, по всем признакам, уже обловлены: берет лишь мелочь. Ручей на перекатах пересох, трава по берегам в рост человека. На одной из ям ждала удача — на песке затрепыхались три крупных хариуса. Ребятишки уже приустили и я предлагаю им почавничать. Разводим небольшой костер около воды, хотелось бы на взгорке отдохнуть, но нельзя — бор настолько сух, что чиркни спичку и она вспыхнет как бензин. Когда идешь, ягель хрустит под ногами, от запаха смолы и хвои как-то особенно легко дышится и шагается.

— А как вы рассказы пишете? — спрашивает обычно молчливый Володя. — Вот про этот день можете написать?

Что сказать ему, если порой сам не знаешь останется ли в памяти поездка. Белый ручей я исходил до самых истоков, где на большом болоте стоят три сосны и неподалеку от них берет начало речка, уходящая совсем в другую сторону. Встретив много зорь, проведя здесь много ночей у костра, я все еще толь-

ко мечтаю рассказать об этом уголке — о ручье, чья вода холдна как лёд, о ланке, с которой в былые годы не раз встречался тут, сосняке, красной гривой тянувшемся между ручьями и болотами и, наконец, об Ингусе, верном спутнике моем, прослужившем мне ни много ни мало двенадцать лет. «Может быть, и напишу,— отвечаю Володе,— если получится, но вспоминать вас, конечно, буду часто. Ну, что, дальше пойдем?»

— Идем! — отвечают они.

Ручей все уже. Ельники все гуще. Начинаются темные места. Улов у нас небогатый: на всех дюжина хариусов. Зато сколько наслышался от сорванцов всяких историй, чего с ними, оказывается, не случалось.

Милые, славные ребятишки, по тому, как вы чувствуете себя в лесу, куда забрели впервые, по уверенности вашей, по сноровке и, наконец, по знанию многих мелочей, которые полезно держать в памяти даже нам, взрослым, вижу — пойдете за отцом, кем бы ни стали в жизни.

Я прошел по знакомым тропам, которые напомнили мне немало счастливых дней, а вам открылся еще один уголок родной земли. Чем больше ходишь по ней, тем сильней привязанность к тем местам, где ты рос, где прошло твое детство. Мне было хорошо с вами, а как пишутся рассказы, вы когда-нибудь поймете сами — ваш вопрос застал меня врасплох. Вам хочется посмотреть большие города, а я, как мальчишка, мечтаю написать настоящий рассказ. Каким он будет, еще не знаю.

...Мальчишки, мальчишки, все у вас еще впереди, в хорошее время жизнь у вас начинается. Спасибо за Белый ручей.

## ПОГОДЫ НЕ ЖДАТЬ

НОЧЬЮ прошла гроза и разразилась ливнем. В ложбинах ручьи зашумели. Кошенину, что уже в кучках была, пришлось разметывать по лугам и заново сушить.

Но с косой в руках погоды не ждать, и мы пошли за озера посмотреть, какова трава там.

Травостой оказался хуже, чем ждали. Подопрел местами на волок — не просыхал долго, «плешины» образовались. Вода по лугам сквозь шла, илу набросало — корка образовалась, через которую трава долго не могла пробиться.

Стоим, толкуем: то ли подождать косить, то ли начинать. А луговой чекан со стебля на стебель перепархивает и твердит: «Не-ту-тут! Не-ту-тут!»

Не косцу трава, а траве косец. Поглядим, где получше, а здесь подождем: время терпит. После дождя травы быстро вымашут.

«Не-ту-тут! Не-ту-тут!» А сам все дальше от нас, за ручей перелетает.

«Чек! Чек! Чек!» Как будто кто-то косу отбивает за кустами. Это все тот же чекан нас от гнезда отводит, от маленьких большеротых чеканчиков, для которых насекомых в траве ловит, а нам кажется: траву показывает.

За ручьем и вправду травы богатые. Косить да косить, пока не затвердели, в семя не пошли. Тут и нивяник, и горицвет, и кашка, и буйно растущие белые соцветия зонтичных.

Так и порешили: отсюда продолжать, а соседнему лугу дать время потучнеть.

«Чек! Чек! Чек!»— несется нам вдогонку. А косы давно отбиты, опробованы, уже стога стоят в наволоках. Гроза вот только немножко помешала. Да где гром, там и ведрие. Снова печет солнце. Кошенину грести пора.

## СУШЬ

— ВЫРУЧАЙ, Гнедко! Тебе не нравится сушь, а нам она по сердцу. Тебя овод одолел, а мы радуемся.

Первым сенцом, Гнедко, пахнет, мелким, зеленым. Зимой, подбирай его из кормушки мягкими губами, ты закроешь глаза и увидишь перед собой заливной луг. Теплей станет в конюшне, углы которой потрескивают по ночам от морозов, инеем покрыты, а ты паром от холода, словно попоной, накрыт.

Выручай, Гнедко, как бы гроза не ударила к вечеру, шелоник копны по лугам не раскидал. Злой он шелонник, ни стыда у него, ни совести, разгуляется — все нипочем.

Позвякивают на лугу спицы конных граблей, скрипят рычаги, оставляя за собой пахнущие клевером валки. То, что лежит на пожнях, еще не сено. Это лишь кошенина. Вот когда в стога ее смечем, можно будет сказать: «Добро поробилось!»

Выручай, Гнедко! Ночью тебе отдых дам. Видишь, даже Митрич двое суток не спал, а все крутится. Старенький он, наш Митрич, на отдых бы ему, но разве усидишь дома, если сено пора страдать. Ему бы карасиков пущаленками ловить, а он к стогам торопится, сено метать собирается. Ему бы байки на огнище вести да сказки рассказывать, а он с утра до ночи на ногах.

Выручай, Гнедко! На тебя надея. Пора, Гнедко, горячая. Каждая минута дорога. А минута не иголка: потеряешь — не найдешь. Сушь стоит.

— Тучи находят! Поживей, бабы! — суетится Митрич. — До грозы сметать надо.

Звенят рычаги граблей. Я разворачиваю Гнедка на последний заход, распрыгаю его и тоже берусь за вилы.

— Тучи находят!

Откуда-то издалека донеслись раскаты грома. Но кошенина уже в стогах. Теперь можно сказать: «Первого сорта, бригадир, сено. Первого сорта».

## ЖИВУЧ КАРАСЬ

КОГДА в остожьях вырастают новые стога, а земля начинает трескаться от полуденной жары, плохо бывает у рыболовов с наживкой. В эту пору мы обычно берем ее в остатках прошлогоднего сена, в черной и мягкой земле остожья. Черви там особенные: с четверть длиной и в палец толщиной. Не наживка, а чистое золото для тех, кто любит встретить зарю на озере.

Вот и теперь так случилось. Собрался я на рыбалку, а в банке не черви — мелочишка. На таких только ершей дергать. А разве ерш рыба? Он только для навара, для тройной ухи годится. Вкуса, конечно, у ерша не отнимешь, но и удить его сплошное наказание — все пальцы исколешь, пока снимешь с крючка. По-крупней бы клевали, еще можно терпеть, а то все как один — с мизинец. Что с такими делать? Нет, думаю, где-то добрую наживку искать надо.

— А ты около озерины покопай, в иле. Вороны там не зря бродят, — посоветовали мне.

Беру заступ и спешу туда. Под илом и впрямь рыхлая черная земля. Но ил глубок, пока до земли доберешься, откидывать его устанешь.

— Что воронам тут делать, — подумалось мне, — или тоже червей промышляют?

Но вороны, старые и прожженные разбойницы, искали другое. Это я понял после, когда из пласта ила выпал, затрепыхался на траве золотистый карась.

Так вот за кем охотились мародерки, вот кого высматривали у озерины, наполовину высохшей.

Караси зашли в озерину весной. Потом вода спала. Другая рыба успела уйти, а карась ленив, полусонный, любит теплые

места. Дождалось их семейство, что озерко высохло. Но и горевать особенно не собирается: зарылось в ил и дремлет себе. Появится осенью вода — уйдет в большое озеро, на глубь. А если нет? Не знаю, правда ли, но говорят люди, будто караси и мороза не боятся — оттают и снова хвостами бьют. Как налимсы. Тех зимой с реки притащишь, бросишь на пол, как поленья, а через полчаса они заползают. Это я видел, а про карася не скажу. Может, вам случалось? Не зря же пословица говорит: «Живуч как карась».

### БЫТЬ ЗАМОРОЗКАМ

ЕЩЕ гудят над ухом комары, назойливо лезет за шиворот, в глаза проклятая мошака. Еще бегут в лес толпы грибников, с утра до позднего вечера не смолкают их голоса. Еще вовсю идет уборка урожая, а кое-где и заготовка кормов. Еще днем обходимся без пальто, порой ходим без пиджаков. Бабье лето встало перед нами во всей красе. Но уже пожелтели листья берез, багряным пламенем полыхает осина. Открылась охота. Ночи стали темные, холодные.

А вы заметили, как много было в эти дни в лесу пауков, путешествующих на своих коврах-самолетах? Разве не чудо? Живут себе спокойно, ловят мух, и вдруг начинают путешествовать, держась за свою сеть, которую легкий ветерок относит все дальше и дальше от дерева, где она была сплетена.

Много было таких путешественников, но исчезли куда-то. Есть примета: исчезли пауки-воздухоплаватели — жди заморозков. Пожалуй, это действительно так. Прислушайтесь к ночному небу, где уже начинают загораться звезды, и вы услышите «пипи». Так будет до утра. Это начался отлет певчих. Кончается золотая пора.

### ПЛАКСА

СЕГОДНЯ была у меня неожиданная встреча. Еду около озера и вижу: впереди меня тропку пересекает целое семейство. Тетерка, их у нас почему-то маракушками зовут, первой меня заметила. Заквохтала она, как заплакала, крылья распустила и кинулась под копыта Гнедка. Конь даже растерялся: косит испу-

ганными глазами. Тетеревята тем временем скрылись в густой траве, лишь вершинки вейника раскачиваются.

А я-то и не знал, откуда берутся в бору тетерева. В лесу они лишь зимой живут, а гнездятся в кустах, на лугах и поскотинах рядом с нашим жильем. Первое время молодь жучками да цветочками пробавляется, лишь к осени на ягоды переходит. Все одинаково пестренькие, и не разберешь, где петушок, где курочка.

Я остановил Гнедка: пусть успокоится мать, никто ее пестрянок трогать не собирается. Маракушка юркнула в кусты и оттуда послышалось спокойное квохтанье: детей собирает.

И снова тихо. Редеет туман. Роса блестит на траве. От тетеревиного выводка лишь следки остались, да и тех скоро не будет, солнце высушит.

А поздней осенью, когда ударят заморозки, пожелтеет листва на березах, кто-нибудь из охотников вскинет на опушке бора ружье. И захлопают крылья косачей, разлетающихся в разные стороны.

— Счастливо, маракушка! — Я помахал рукой в сторону кустов.

И неожиданно вспомнил: так у нас порой ребятишек зовут! Плакса, значит. Маракушка — полузыбтое русское слово. И верно, расквохталась, словно расплакалась. А сама под копыта коня бросилась! Сколько же смелости в этой плаксе, чего не сделает ради своих несмысленых-пестрянок! Понятно: мать!

## ЧИП-ЧИП

И НЕ ЛАДНО порой бывает, да удачливо. Отправился я в то утро на рыбалку, а пришел домой с утенком. Не думал, не гадал, что придется ему нянькой быть.

Иду это по лугам, посвистываю. На плече удилище, в руке брезентовая сумка. На голове вместо шапки накомарник, похожий на шляпу. По пути, пролезая через кусты, успел рукав у пиджака в клочья разорвать. Беда небольшая: на задорном Буюне, говорят, век шуба в изъяне. Вернусь домой, думаю: нитку в зубы, в ушко, и долго ли умеючи заштопать? Штопаную-перештопаную одежку на рыбалке носить даже приятней: свободней себя чувствуешь, не боишься испачкать в иле, в рыбьем клёске, в глине.

Иду по лугам, посвистываю... На душе радостно, просторно, вольготно. Пусть, думаю, комары гудят над головой, веселят и дразнят меня одновременно. Нет желанного ветра — не проснулся еще. В этих кустах где-то спит он. Иду — и думы уводят в детство, когда о сложностях жизни не задумываешься, все легко кажется, все светло, будто от всех забот-хлопот отдален.

Только вышел на расчистки, как из-под самых ног, разбрзгивая воду в лужице, утенок в сторону кинулся.

Расчистки — это новые луга. Здесь еще в прошлом году качались на ветру сплошной ивняк да коряевые березы с метлами, на которых, по слухам, в старину ведьмы на шабаши летели. Народ — мудрец, всякое выдумает.

Зимой, в лютую стужу, здесь загудел бульдозер. Окинул тракторист кусты взглядом, сдвинул шапку на затылок — давай выкорчевывать их, сгребать в кучи.

Весной, когда снег подтаял и осел, бульдозерист потрудился здесь еще недельку-другую, и как не было зарослей.

В половодье мы тут караулки делали на уток. Не знали еще, добрая ли трава в первый год на расчистках вымашет — земля все же гусеницами избита, а механизатора уже благодарили: «Чтоб ему сто лет жить, не стариться». Утка больно расчистки полюбила, в бесчисленном множестве тут держалась до спада воды.

А когда с удочками на озера пошли, травы уже начали буйно подниматься, голова кружится от их пряности, на месте разлива лишь лужицы остались.

Что-то, видно, случилось тут со свиязихой и ее выводком, если один утенок из выводка остался.

Может, ястреб матку закогтил, и малыши без нее погибли. Может, ради озорства кто-нибудь переловил их или в рыбакскую сеть вместе с матерью угодили.

Жизнь — она и у связей полна неожиданностей. Всего не угадаешь.

Утенок забился от меня под толстое корневище старой черемухи. Поглядел я на него и так, и этак — бурый комочек!..

Прикрыл его пиджаком. Взял в руки, глажу по головке, а он от страха глаза закрыл, сердечушко выскочить норовит...

— Ну, что с тобой делать, малый? Одного оставить — пропадешь.

Домой нести? Мурзика, кота нашего, придется из квартиры выселять: коготки у него остры. И как-то еще привыкнешь к новой жизни — мал ты, чтоб вскормить. Хорошего у тебя не стало — одно худое осталось. Худого не станет, что останется?

Все же решил я взять свиязенка домой: из двух бед меньшую надо выбирать. Один-то он так и так погибнет, а под присмотром, может, и вырастет.

Вечером прибежал сынишка из садика и в ладоши захлопал:

— Утя-утя!..

Сашка мой уже в старшую группу ходит, разбирается, что не воробей по комнате бегает, а утенок.

— Он у нас будет жить? А как его зовут?

— Зовут зовуткой, величают уткой! — смеюсь я. — Какое же имя ему дадим? А?

— Чип-чип-чип-чип! — Свиязенок перебежал из одного угла комнаты в другой, юркнул под диван.

А сынишка на колени и зовет его: «Чип-чип-чип!»

— Вот и придумал имя. Чип-чип! Чем только кормить? А?

— Я жучков притащу. Червяков надо? А рыбку?

Чип-чип оказался старше, чем мы думали. Он только первый день стеснялся, а потом начал хватать своим не по росту большим клювом все, что попадет. Молока в блюдце нальешь — пьет молоко, манной каши сваришь — давай кашу, хлеба накрошишь — давай хлеба.

Больше всего Чип-Чип любил, когда Саша приносил разных жучков-паучков, собирать которых ему помогали ребята всего дома.

Только пощелкивали они у Чип-Чипа, как орешки. Дождевых червей тоже ждал — набросаем их на пол, ползают, а он, искося, повернув голову набок, долго глядит, выбирая, что пожирнее — и раз клювом, как лопатой, подкинет червяка вверх, подхватит и давай трепать, пока не проглотит. «Прожорлив, как утка», — эту пословицу я не раз вспоминал после того, как в доме появился Чип-Чип.

Спала одна печаль с плеч. Теперь бы подружиться с утенком. И мы начали таскать ему водоросли, от которых пахло озером, на которых Чип-Чип любил отдыхать после сытного обеда. Ванны ему устраивали, наливая воду в большой таз, а после брались за тряпки и мыли пол в кухне, чтоб не попало от матери за беспорядок.

Поладили, но вскоре от нового квартиранта по ночам покоя не стало. Просыпался он рано, когда еще и солнышко не взошло, и начинал прыгать по комнате.

«Что, думаю, носит его?» И как-то оставил дверь открытой, стал наблюдать за ним.

Оказалось, форточку мы в окне на ночь не закрывали и ночью в комнату залетали комары. Их-то и ловил Чип-Чип.

Он прыгал с пола на диван, с дивана на стол, осматривался кругом, прислушивался и, широко раскинув «крылья», подпрыгивал, как резиновый мячик, вверх, шлепаясь оттуда на пол.

Потому и стоял по ночам шум в комнате.

— Молодец! Глазок у тебя зорок, не надо сорок. Так и марлю на окно вешать ни к чему — всех комаров изведешь...

Рос наш Чип-Чип не по дням, а по часам. Привык к нам. Стоит войти в дом, как бежит навстречу, смешно переваливаясь с боку на бок, покачиваясь, вытянув шею, со своим неизменным: «Чип-чип-чип-чип!» Мы уже знаем: есть просит.

Сяду работать, а он вокруг стола крутится: «Чип-чип-чип-чип!» Всё бросай, иди ему корму давать.

Наш Мурзик, белый как снег кот, отменный мышелов, тоже привык к странному гостю. Сначала, правда, глаза у него зелеными огоньками вспыхивали при виде утенка, пришлось встрепенуть дать, довести до сознания, что нельзя трогать маленьких, даже утят. А потом он только с презрением глядел на утенка, словно говорил: «Чего ты, хозяин, с ним возишься?» — и осторожно, чтобы случайно не задеть его, убирался на кухню. Так и поделили квартиру на участки: кухня — Мурзiku, передняя — Чип-Чипу.

Вот и крылья стали отрастать у свиязенка, как листочки из почек, начали проклеиваться маховые перья. Долговязым стал наш Чип-Чип, некрасивым. Ничего в нем не осталось от того пушистого комочкa, что я притащил с озера.

Стал я подумывать, не пора ли отпустить своего приятеля на волю, чтоб к какому-нибудь выводку примкнул, к дальнему перелету в теплые края подготовился. Сашка тоже согласился.

— Отпустим, — сказал он. — Он весной к нам снова прилетит. Думаешь, не прилетит?

— А как узнать — прилетит Чип-Чип в наши края или нет? Где он зимовать будет?

Вспомнил я, что лежит у меня в ящичке с патронами кольцо, снятое с хохлатой чернети, убитой во время перелета. Мы эту утку космарем зовем за длинные косицы на голове.

Еще весной мы отправили письмо в Москву, в центр кольцевания птиц и вскоре получили оттуда ответ. Он и сейчас хранится в ящике письменного стола: «Уважаемые товарищи! Кольцом «Копенгаген 449735» была помечена взрослая хохлатая чернь (самец) 18 апреля 1963 года на весеннем пролете на острове Лоланн у г. Наксков. С его помощью мы узнали, что все утки, гнездящиеся летом в северной части нашей страны, проводят

зимнее время преимущественно по берегам Балтийского и Северного морей в Западной Европе.

Научный сотрудник Т. Шеварева.

Москва, В-331, ул. Кравченко, 12».

А что, если этим кольцом пометить нашего Чип-Чипа? Решил я его свиязенку передать: вместо паспорта оно ему послужит.

Нацепил белое колечко на лапку и поехал с Чип-Чипом и Сашкой в заречье, на пойменные озера.

Перед тем, как выпустить свиязенка, мы приметили в одном озерке, глухом, закрытом от посторонних глаз зарослями черемухи, выводок свиязюхи. Их-то мы и искали.

Утки считать не умеют. Для них пять-восемь-десять — это просто много, как для ребятишек, что только начинают считать по палочкам. Чужих детей мать часто принимает за своих. На это я и рассчитывал.

В час, когда садилось солнце, деревья бросали на землю густую тень, в протоках плескалась плотва, в заросших травой озерах, причмокивая от удовольствия губами, жировал карась, я и отпустил Чип-Чипа.

Он сначала не понял, что случилось — начал плескаться, крутиться на одном месте, вытягиваться столбиком, шлепать по воде лапками.

— Одурел от радости. Беги, глупыш, пока снова тебя в наркомарник не посадил!..

Услышав мой голос, свиязюха с шумом вылетела из-под куста на середину озерка и встревоженно закрякала. Чип-Чип прислушался, вытянул шею и вдруг бросился на ее голос.

Может, ему вспомнились мать, братья, сестры, которые исчезли неведомо куда в тихое летнее утро? Не знаю!

Он вдруг замахал крыльшками и рванулся к утке, а за ним и те, что прятались по кустам.

Только дорожка на воде напоминала о Чип-Чипе.

Еще долго я слышал голос матки, уводящей выводок в траву. Вот они показались на минуту в «оконце» зарослей, но уже нельзя было разобрать, который из утят Чип-Чип. Я пробовал позвать его. Мне даже показалось, что плывущий в середине выводка утенок обернулся и потряс головой, как это делал Чип-Чип, но, наверно, только показалось: Чип-Чип не откликнулся. Ему было не до меня: в гостях хорошо, а дома все же лучше.

А мне стало грустно.

Не глазами, а сердцем я неожиданно прикоснулся к большому и светлому миру, что раскинулся перед нами, где не только человек или птица, но каждая былинка живет, радуется, грустит, незаметная порой, но и неповторимая.

Где ты сейчас, Чип-Чип? Сынишка мой часто тебя вспоминает, ждет, спрашивает, скоро ли прилетишь? Уже сосульки попадали с крыш, земля начинает «дышать», уже не далек день, когда над нашим таежным краем, над безбрежными хвойниками засвистят острые крылья и разнесется звонкое связиное: «Фюити! Фю-ю-и-ти!»

Под выстрел не попадись. С кольцом ты или без кольца, откуда нам, охотникам, знать? Где ж зимовал ты? Может, в Африке, как считают? Или чуть поближе, как жизнь говорит?





7. Залигель





### НЕПОСЕДА

СРАЗУ же за избой сосняк начинается. В нем и поселился бурундучик.

Гоню, бывало, стадо на дойку, а он откуда ни возьмись прошмыгнет в траве у самых ног и взнесется на сосенку, зацыкает оттуда: мол, что тебе нужно здесь, что нужно? Сердито так, нахально. Прочь гонит.

Кладовая у него, наверно, где-то была по соседству. Он ее в земле устраивает. Рачительный хозяин. Семечка или зернышка не бросит. За щекой их в нору таскает. И все по своим местам в норке раскладывает, грибы с ягодами в одну кучу не свалит.

Сентябрь шел. Он запасы на зиму делал. Вот и сердился, что я мешаю. А потом, знать, привык. Усядется на ветку и посвистывает что-то. А я остановлюсь около сосенки, полюбуюсь его полосатой шубой и белыми очками около глаза, и как хлопну вицей по голенищу сапога. Он снова зацыкает да так сердито, что по неволе рассмеешься, тут же наземь спустится, по бревну пробежит, на задние лапки присядет, косо посмотрит на тебя, затем швырк — и след простыл.

Как заморозки ударили, он уже больше не появлялся. В это время бурундучик, как медведь, спит крепким сном. А чуть зима на исход пойдет, солнце начнет пригревать, он за свои запасы взьмется. Ни раньше, ни позже. Сил наберется после зимней спячки и отправится на поиски подружки.

Недавно я случайно оказался у этой избы. На охоту шел с собакой. Присел отдохнуть. Собака кого-то обляла в сосновке. Подхожу к дереву, а там бурундучок. Разозлил он собаку своим цыканьем. Она его за настоящего зверя приняла. А мне вдруг радостно стало, словно с детством повстречался. Расплодились тут, знать, полосатые, понравился им этот борок. Окликнул я собаку и прочь отозвал, а забавному крохе пальцем погрозил: без меня, мол, не попадайся, можешь плохо кончить. Цыкать ты мастер, да не всегда это к месту. Того и гляди, окажешься в зуках у лайки.

Шмыгнул он на верхушку сосны, присел на задние лапки, а передними подергивает, словно говорит: «Привет, мол, зачем явился сюда?»

С добром, милай, с добром. А ружье? Оно не для тебя. Да и стреляю редко. Для полной формы его, так сказать, ношу, чтоб соседи думали «на охоту собрался» и не любопытствовали, что я в лесу потерял.

### РЕЧКА МАЧА

СКВОЗЬ замшелые ельники течет эта речка на север — быстрая, шумная, узкая местами. К морю спешит, хотя на картах ее не найдешь, в разговорах ее имени не услышишь.

Мала Мача, мелка, но где плыть, ту и воду пить. Я люблю эту речку в любое время года. Зимой, под завывание метели, мне она часто снится. Встанешь утром, глянешь на разрисованные морозом окна и вздохнешь: «Когда-то снова ее увижу!»

На берегу Мачи стоит избушка. Мы часто бываем в ней. И это утро встретили у ее порога.

Ночью пал первый заморозок. Шуршат под ногами желтые листья берез. От рассохи к рассохе, с трудом пробираясь сквозь заросли ивняка, рвущего сапоги, от болотины к болотине, переходя с берега на берег по валежинам да по кокоринам, все дальше от жилья уходим мы.

Сосны спросонья бормочут что-то, лениво покачивая ветками. Белка процыкала, взбегая на сушину и прячась от нас в гайно. Желна сыграла побудку, простукав клювом, как долотом, по сушине. Ингус навострил уши, закрутился в чаще, исчез.

Раннее утро. Самое время для глухариной охоты.

## ПРОСВИСТЕЛИ ЗАРЮ СВИРИСТЕЛИ

— СВИРИ-свири-свири-стии,— словно кто на дудочке в лесу заиграл. Далеко слышно.

— Петушки, петушки летят. Погляди, Вась!— В голосе брата столько радости, что я невольно оборачиваюсь.

Над верхушками елок летят свиристели, петушки по-нашему.

По красоте одежки они от снегирей не отстают. Черные полоски около глаз, темно-серый с яркой желтой полоской на конце хвоста, снова полоски, белые, на крыльях и яркие красные пятнышки. Все цвета тайги свиристели взяли. А хохолки из пушистых розовато-серых перышек. Кто из пернатых может похвальиться такими? Не за них ли и прозваны петушками эти добродушные птички?

Откуда-то из детства всплывает:

— Всю рябину петушки поклевали, ряbam ничего не осталось.

Любят свиристели рябину, как ребятишки конфеты с «мишкой» на обертке.

— Свири-свири-свири-стии!— звенит над лесом.

— Зарю играют,— говорю.

— Как наш Пестря?— спрашивает брат.

Мы смеемся. Пестрей мы петуха прозвали. Горлан, каких в деревне не бывало. И неуём.

Проснется ночью в курятнике, встряхнет крыльями, вытянув шею, и как заголосит...

Мать проснется, заохает, что все проспала, а время только за полночь перевалило.

— Окаянный,— проворчит она, выключая свет в кухне.— Сапомому не спится и других с ума сводит.

Только он глаза сомкнет, а Пестря опять свое кукареканье заводит. И так порой до утра.

— Не могу больше,— скажет мать отцу утром.— В могилу меня сведет. Скоро ли ты его, отец?..

— Долго ли...— отец подмигнет нам.

Нам жалко Пестрю — драчун, непоседа, но голову высоконосит, гордо. Даже Ингус побаивается его, когда Пестря мимо конуры проходит: не попало бы.

Я помалкиваю. Знаю, почему Пестря стал время путать. Но-чами работают в кухонке, где и курятник стоит. А когда спать ложусь, нет-нет и забуду свет выключить. Пестря яркий свет лампочки за солнышко принимает, вот и кукарекает.

Отговорим мать, рукой махнет, мол, что с вами делать, пусть живет горлан.

— Свири-свири-свири-стии! — уже издали, чуть слышное. И не рябину вовсе ищут свиристели, ее в эту осень полно кругом, всем до весны хватит, а зарю играют непоседы. Летят над лесом и посвистывают в свои дудочки: «Подниматься пора с постелей, хватит нежиться, утро настало».

А нам, как Пестре, не спится. Вон в какую рань поднялись, спать бы еще да спать. Да чем меньше сон, тем слаще он. Мать сама приучила с детства пораньше вставать, приговаривая: «Сонлив да ленив — два родных братца. А ну, мужики, поднимайтесь да за работу».

В привычку у нас вошло думать вечером, а делать поутру.

### «ДУРНИ»

НЕТ в тайге птицы доверчивей щура. Сколько ни бродил по лесам, а таких дурней не встречал. Случалось порой выстрелить рядом с ними из ружья, а они хоть бы что, только темно-бурыми крылышками чуть взмахнут и снова за свои щуриные дела возмутся.

Думал сначала, что не все «винтики» в голове у них закручены как следует, но нет: кинь в них палку — тут же про свое «влю-влю-влю» забывают, разлетаются в разные стороны.

Просто эти красавцы в малиново-красной одежке,— будто на всю жизнь как на праздник собрались или в гости,— с человеком редко встречаются, потому и не боятся его — в глухомани живут.

На зависть всем соседям щуры дружно живут. Ни ссор у них, ни ругани, ни потасовок, как у воробьев, что горланят зимой на улицах села, места у дымоходов поделить не могут.

Редко увидишь щуров около деревень. Не любят они вырубок и редколесья.

А вчера я встретил их на опушке бора около пожен, где припорошенные снегом алеют гроздья рябины.

— Плохи наши охотничьи дела,— подумалось мне,— если щуры за рябину взялись. Неурожай, значит, в ельниках. Семян нет. Потому и белка куда-то ушла. Есть еловые семена — щур к рябине не прикоснется, разве только забавы ради.

Значит, вовсе они не дурни. Понимают что к чему.

## СЕСТРЫ

ЕСТЬ у меня фотоснимок: две белоствольные березки обнялись, как сестры на прощанье. Его подарил мне один из друзей.

— Где ты встретил их? — спросил я.

— По старой тракторной дороге.

— Я же по ней сотню раз проходил!

— Смотреть надо. На шестом километре. Около развилки.

Они, эти березки, были совсем юными, когда в бору загудели бензопилы. Большая сосна, падая, задела одну из них, и та испуганно метнулась к старшему. Обняла ее старшая сестра, прикрыла упругими ветками, спасая от падающей сосны...

Годы прошли с той поры. Много раз облетала листва. Взрослыми стали сестры. Вокруг них уже машет руками-ветками шустрая белобрысая девочка, а старшая все о младшей беспокоится, к себе ее прижимает, прикрывает — теперь уже от холодного ветра, что гуляет по вырубке.

Так и стоят у дороги — обнявшись. Сотню раз я проходил мимо, не замечая в них ничего особенного, а друг увидел.

Я берегу этот снимок, как самый дорогой подарок. Деревьев в лесу много, а эти березки запомнятся: все прощаются, все никак не могут расстаться.

## ПРОБА ГОЛОСА

ЗИМА на пороге. В лесу каждая ямка водой наполнена до краев, болота озеринами стали, сбрасывают излишки воды в ельники. Я давно подметил, что как только в борках появится вода — жди заморозков и снега.

Вчера пал первый утренник. Рано проснулся, словно чувствовал: произошло что-то. Вышел из дома, гляжу: иней на крышах белеет, тишина кругом, небо чистое-чистое, а река потемнела. Посмотрел — и давай сапоги натягивать.

Солнце взойти не успело, как уже километров восемь в гору отмахал. Так подморозило, что сверху держит. Идти легко, вело село.

Вот синичка пискнула, клести куда-то пролетели, кукша раскричалась на весь лес, извещая о моем приходе.

Даже не цикнул на нее, как обычно, не припугнул ружьем.

— Шуми, — сказал, — пусть знает, что охотник появился, что надо осторожным быть.

Есть у меня одно mestечко по Северной рассохе (это боль-

шой таежный овраг с бесчисленными ответвлениями), где вода бывает лишь весной во время таяния снегов и поздней осенью. Леса кругом повырублены, а там остался нетронутым островок километра на три. За островком — низкое заболоченное место, заросшее ольшаниками, иван-чаем и травой, что поднимается порой в рост человека. Азартно в тех местах охотнику.

Там и рябчика можно подманить, и зайца с лёжки поднять, и глухаря узрить. Долго они в калтусах, до глубокой осени держатся. И куда спешить: ягоды и зелени сколько хочешь, люди обходят стороной.

Только стал подходить к своему угодью, как услышал бормотание тетеревов. Что они водятся там, я не сомневался: летом заприметил большой выводок, и, хотя охота давно открылась, берёг: пусть, думаю, взматерят.

Какой интерес быть дичь, когда ей каблуком сапога хвост придавишь, и то не взлетает. Совсем другое дело, если она сторожка, слышит тебя издалека, когда ее, как говорят, вокруг пальца не обведешь!

Знал я этот выводок, знал, что есть тут тетерева всегда, но что на ток попаду — не ожидал. Не поверилось даже сначала, за журчание ручья посчитал их голоса.

Ближе подошел — бормочут.

Гляжу: на поляне расселись, где совсем недавно впервые смородины отvedали. Брассыпную сидят. Не дерутся. Голоса ломкие. Хрипят.

Присел на пенек и поглядываю, что дальше будет. Поляна чистая, сухая, летом по ней коса гуляла, подорожники серебряными кружками на земле рассыпаны да у одинокой березки небольшой стожок сена поставлен кем-то.

Все видно.

Старки почему-то нет: наверно, попалась в зубы лисице или бродячей лайке. Тетеревята сами себе предоставлены.

Один из них в драку полез. Шею изогнул. Хвост распустил. Баском начинает: «Ур-ур-рр!» — и захлебывается.

— Чуфыш! — Это уже что-то значит. С характером петушок.

Просидел я там на еловом пеньке часа два, забыв, что пришел поохотиться. Только поднялся, чтоб уйти, как из-под самых ног тетерка поднялась, за ней — десяток.

Задиристый петушок все чуфыкает, грозя сверстникам разделаться с ними. Он совсем близко от меня сидит, но сколько ни всматриваюсь, не могу заметить ничего такого, чтобы отличало его от других. Обыкновенный косач-сегодок, ничуть не лучше остальных, что слетелись на поляну из калтусов. Но у тетерок глаз острей, чем у меня, приметили, знать, в нем особенное что-

то: со всех сторон к нему сбежались. В лесу ухажоры получше есть, проверенные в турнирах, так нет, к этому тянутся.

Осторожно, чтоб не потревожить птиц, я скрываюсь в ельнике.

На обратном пути вспомнил: обещал сыну рябчика принести. Поискал в карманах манок, но оказалось — дома оставил. Пустым вернулся, сказав сыну: «Завтра принесу!» А он мне в ответ: «Я сам!..»

Всему свой срок.

Сегодня я снова был в истоках Северной рассохи. Взял несколько рябчиков: от сына еще долго ждать, он «промышляет» игрушечным двухрублевым ружьем, что в универмаге купили.

Сырая погода. Неуютно в лесу. И косачи молчат. Но когда уходил домой, мне вдогонку донеслось одинокое:

— Чуф-ф-шиш!

Знакомый голос. Еще не оперился петушок как следует, а знай твердит:

— Чуффышиш!

Я понял его так: «Шалишь! Голыми руками меня не возьмешь. Взрослым стал».

## СНЕЖНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

КАКИХ только цветов не встретишь весной в лугах. Возвращаясь с рыбалки, я всегда привожу домой букет, в центре которого синеют колокольчики. Сам не знаю, почему припали к сердцу эти цветы.

Но то, что колокольчики в глухом лесу растут и до поздней осени качаются на ветру, не слыхал.

Случайно увидел их. Пробираясь сквозь чащу к речке, чтобы набрать воды в чайник, я споткнулся и полетел по косогору вниз.

Стиснув зубы, чтоб не закричать от боли в боку, цепляясь за валежину, я приподнялся и стал искать глазами вылетевший из рук чайник. Он лежал под старой елью, а рядом с ним чуть покачивались от ветерка, залетающего в чащу с речки, прозрачные светло-голубые колокольчики, непривычно праздничные среди темной еловой чащи.

Снег кругом лежит, перед тем, как ему выпасть, заморозки пали, а они синеют. Задень чуть-чуть — зазвенят. Не их ли перезвон рябчик на песню переложил? Он любит ко всему прислушиваться. Эти елки часто навещает. На снегу следки оставил.

Каких только цветов не встретишь весной на лугах, но им не сравниться по красоте с теми, что выросли в глухих ельниках, качаются на ветру до поздней осени: с крохотными колокольчиками на тонких-тонких стебельках с узкими листочками. Не эти ли колокольчики рвала девочка-горемыка, что у злой мачехи росла? Не под этой ли елью сидела она в лютую метель, когда кругом ветер завывал и серые волки зубами ряцкали?

## ПОТЕРЯННЫЙ ТОК

ГРИГОРИЙ Васильевич, старый охотник, с которым мы большие друзья, не раз говоривал мне:

— Был ток. Где-то между болотами. Сказывали люди: чуха-ря оттуда возами возили. Столько его слеталось — солнце крыльями закрывало. Всю ночь шумела птица, рассаживаясь по деревьям. Был ток, да не стало. Никто к нему дороги не найдет. Заговорен, знать. Нам, старикам, не найти, а молодым пошто не попробовать? Около деревни какая охота! Сорок только пугать.

И хотя я знаю, что не всему верить, что хитрят порой старики, глаза нам отводят, чтобы поменьше в их «родовых» угодьях бродили с ружьями, но бывальщина про заговоренный ток покоя не дает. Пять весен его искал, а теперь и осенью хожу да рассматриваю: авось наткнусь.

И древней песни глухаря вдосталь наслушался, и ни с чем не схожие радостные стоны копалух, бегущих на зов токовика, запомнил на всю жизнь. Услыша такое, уже не поднимешь весной ружья на глухарку. И не раз метался в бреду, прихватив на охоте лютую простуду. А все уема нет.

Все ищу. И весны ждать не стал: ток можно и осенью найти. Когда птица взматереет, она на какое-то время собирается около токовиц.

Уже который раз я замечаю глухарей, летящих в сторону Нижней Мачи. Не перелетающих с дерева на дерево, как бывает при кормежке, а летящих напротив. И сам с каждым разом забираюсь все дальше, в глубь Сопочного бора.

Вот и до Нижней Мачи добрались. Далеконько забрели с братухой. Придется в Митиной избе заночевать. Она километрах в десяти от места, где мы вышли к речке.

Я гляжу на часы. Всего полдень. Еще можно побродить. Время за нами, но и перед нами тоже время. Оно нас спозаранку разбудило, а теперь мы ему покоя не даем.

Напротив нас Першина рассоха. Пригрубые, порой отвесные берега этого оврага пугают своей чернотой. Сплошные ельники!

Где-то там, за вершиной этой рассохи, начинаются болота, перейдя которые можно выйти к Белому ручью, что впадает в Пижму.

— А ток где-то тут. Между Белым ручьем и Мачей. Пройдемка еще?

И хотя братишко устал, но характера ему не занимать, род у нас упрямый.

— Раз пошли, идти надо,— отвечает.

Близко к вечеру на полусухом болотце, заросшем карликовой бересой, из-под самых ног начали взлетать глухари. Мы взяли двух «стариков». А глухари все взлетали и рассаживались по елкам, черные, как головни.

Сердце у меня зашлось. Расхотелось стрелять в доверчивых, никем не пуганых птиц.

— Вась, а Вась? — говорит братишко. — Наверно, тот самый. Надо дедку Гришке сказать.

— Молчок,— отвечаю.— Спросит кто — ничего не слыхали, никого не видали, пусто, мол, на Першиной рассохе, одна маята. Скажешь другу, а пойдет по кругу. Распугают птицу, перебьют, разлетится — и не поглядишь больше. Заговорить бы такие места, как это, от дурного глаза, от браконьерской жадности.

## ОХАПКА ДРОВ

ОБЫЧНО день для нас настает, когда солнце над лесом поднимается, но если ты настоящий охотник, то вскочишь задолго до рассвета. И потому времени много в запасе, есть когда набродиться в лесу до того, что ружье, как мешок, станет плечи давить, ноги спотыкаются о каждую кочку. Доходит, чаще всего с опозданием, что у самого длинного дня есть конец.

Когда мы снова вышли к Маче, вновь распрощались с Першиной рассохой, напарник мой телогрейку расстегнул.

— Зря мы так оделись. Жарко.

— Утро — серенькое, денек красненький, но нынче тепло, а к ночи мороз ударит. Что тогда делать будешь? Осень — она хуже зимы. В тайге — не дома. Поздним вечером день хвалится. В избушке!

А где она, эта избушка, срубленная кем-то давным-давно, закопченная дочерна, с каменкой и широкими нарами, застланными шкурами соxатых, столь же древними, как и сама построй-

ка? Добраться бы до нее, и тогда можно считать, что ночи не увидим. А ночи долгие осенью, скучные. Да и сырь в лесу. Воды в ельниках полно.

В деревне мне сказали: «Чуть пониже Першиной рассохи, все по крёжу тропка ведет. К травянику выйдешь. За ним — Медвежья рассоха. У этого травяника (рассоха приметная) и стоит Митина изба. Путик когда-то вдоль речки пролегал». Вот и все, что я знаю о Митиной избе.

Две крутые сопки за плечами остались, разбитая молнией лиственница, острые щель, похожая на лежащего зверя, — все как будто так. Приметы совпадают. А вот и старые пасти — ловушки из бревен, а на них куча гнилья — остатки укрытия. И, наконец, чуть заметная тропинка.

Ноги уже сгибаются, ружья давят плечи, пот льет с лиц, сумерки сгущаются, а избушки все не видать.

Братишко молча плется сзади. Становится жалко его, но нет худа без добра. Если есть в нем охотничья закваска — все назавтра забудет. На всякий случай приглядываюсь к местам.

Один из моих друзей так же искал однажды поздней осенью затерянную в лесу избушку. Ночь его в лесу прихватила. На беду свою где-то спички обронил. Мерзнуть бы ему под елкой до утра, да муравейник еще в сумерках заметил. Вырубил топором нору. Залез в нее, а утром увидел перед собой избушку. Рядом с ней был!

Спрашивал я после, как спалось. «Как постелешь, так и выспишься, — усмехнулся он. — Под голову кулак, а под бока и так. Муравейник-то сверху замерз, а внутри сухо, тепло. Пришлось занимать чужую квартиру».

И меня сомнение берет, а помалкиваю, чтобы братуху не тревожить, чтобы привыкал. Для него сомнение — лишняя опаска, для меня, может, — начало мудрости.

Иду, посматриваю, запоминаю. Вот и травяник. Еще чуть-чуть есть времени. Влево сворачивать пора, снова к речке — изба!

Мы снимаем с плеч тяжелые рюкзаки. Как же легко стало. Теперь осталось дров нарубить и огонек в каменке раздуть.

Темень — глаза выколи. И еще заморосило. Где сушняк исказать?

Зажигаю спичку и обрадованно говорю брату:  
— Ложись на нары, отдыхай!

Кто-то, незнакомый нам, покидая избушку, оставил в ней охапку смолистых дров, на подоконнике — спички, соль, завернутая в газету, распечатанная пачка «гвоздиков».

Ничего, что избушка полна дыма. Нары низко устроены. Дым глаза не ест.

Мы ужинаем и еще долго не спим. Где она — усталость? Мы ли еле передвигали ноги?

— Вася, а наверно, дядя Перфил был. Папиросы-то его.

В паз стены, мундштуком внутрь, воткнут «гвоздик», как в деревнях зовут «Байкал».

— А ведь, пожалуй, он. Его привычка.

— Помнишь, как дядя Перфил про муравейник рассказывал?

— Ты разве слышал?

— Тут недалеко такой же большой есть.

— Я что-то не заметил.

— А ты сушину приглядывал для костра. Думал, почевать в лесу придется?

— Угадал! Два ноль в твою пользу. Спи. Как у тебя в школе-то?

— Порядок!

— На порядке и города держатся. Спи. Школа учит, а охота мучит. Не пойдешь, наверно, в лес больше?

Покидая избушку, мы заносим туда охапку дров, выкладываем в мешок лишние припасы и подвешиваем к потолку, чтоб грызуны не добрались. Может, и сами зайдем когда — пригодятся. А если нет — другие попользуются. Ночь коротка, а жизнь длинна. За добро добром платят.

Шел Перфил Михайлович по своим делам, времени тоже в обрез было, а позабылся сам не зная о ком. А может, и не он. Кто бы не был — спасибо, земеля!

Так издавна повелось у северян. И обычай этот древний не только в лесных избушках вспоминать, а всегда в сердцах носить надо. Много про Север слухов по белу свету бродит: и Закон — тайга, и Хозяин — медведь, а на поверхку иначе выходит — человек человеку в тайге не просто друг, а брат.

Сегодня мы в избушке заночевали, а завтра геологи на нее наткнутся. Измученные дальней дорогой, обросшие щетиной, прилягут они на нары около каменки. Охапка сухих дров, наколотых нами и занесенных в избушку, даст им тепло и свет. А много ли человеку нужно, чтоб себя счастливым почувствовать? Счастье не ищут, а делают.

## ГЛУХОЕ ОЗЕРО

СКОЛЬКО искал я это озеро, а оно оказалось рядом с бараком, среди болота. Случайно на него наткнулся. Сумерки сгущались. Мелкий дождик накрапывал. Я еле-еле передвигал от усталости ноги. Присел на гнилой пень и понял, наконец, что заблудился.

Тишина кругом. Только за густыми зарослями ольшаника какие-то всплески раздаются. Не утерпел, захотелось взглянуть что там. Озеро!.. Да какое — шир...

Начал вспоминать, куда попал. А ведь слыхал об этом озере, о нем столько былей-небылиц сложено.

Полузаросшее болотной травой, окруженное чахлыми сосенками и кустарниками, оно отныне будет мне долго сниться, пока снова не окажусь тут.

Шука вовсю жиরует. Всплеснет, ударит хвостом по воде — волна, словно от катера, в разные стороны идет. Ткнется носом в плывун — и скроется в глубине. Подойти можно: местами берег совсем близко от ельника, всего несколько метров отделяют кромку леса от черной воды.

Усталости как не бывало. Но тишина, окружающая полуночник, и таинственные всплески, от которых качаются белые головки пушицы, давят плечи. Сиротливо одному в таких местах.

А может, ошибся? Может, не щуки жириуют в глухом озере, а водяные змеи.

Верят же в Змей-Горыныча и его прожорливое семейство старые люди. Треснул сучок. Кто-то широким шагом ломился через заросли ивняка к болоту... В полутьме зловеще прокаркал ворон. Я прибавил шагу. Спотыкаясь о кочки и колодины, спешу поскорей убраться подальше.

Взойдя на пригорок, облегченно вздохнул и пошел вдоль болота, надеясь выйти на старую лесовозную дорогу. Не прошло и часа, как оказался у заброшенного барака.

Мыши пищали под полом, кто-то всю ночь возился на чердаке, звенели стекла в полузыбких ветром рамах, скрипела входная дверь.

Еле дождался утра. У костра бы лучше посидеть, но спичек не было, выронил их где-то в спешке по рассеянности. И хотя не раз бывал в этом бараке, но пока не рассвело, все казалось, что не туда попал, что тракт, по которому недавно вывозили с делянок лес, не рядом, а где-то далеко-далеко.

Пробовал я после найти глухое озеро и снова не мог. Куда ни сунусь — трясина. Лишь пушица качается на ветру да под ногами желтеет морошка. Вместо озера нашел бугор, где сосны одна другой лучше и птицы там великое множество, словно со

всего бора сюда гостить слетелись. Табунами тетерева из-под самых ног поднимаются, где от брусники земля красной кажется, ступить некуда.

Вчера, подкидывая дровишки в печурку, я рассказал друзьям-геодезистам об этом бугре.

— Знаем его. Просека наша надвое его разрезала. Второй створ. Километров три отсюда.

— И озеро знаете?

— Бывали и там. Даже плутали. Ночь в болоте провели. К этому озеру только в одном месте пройти можно, а дальше болотина за болотиной. И занесло нас туда сдуру. Ракеты пускали у барака ребята — на них вышли. — Ответили мне. — Щуки в том озере отменные водятся, как бревна...

А я-то думал, что открытие сделал, озерное царство хотел друзьям подарить, а они мне его сами в дар поднесли, да как — кусочек карты подарили. На ней — голубое блюдечко, и написано «Глухое озеро».

Зато Мачу я раньше открыл. Заглянул однажды на ее берега да и застрял на годы... Каждую осень — что-нибудь новое нахожу.

— Просеки наши в тайге, как улицы. Они тебе все расскажут, — сказал мне старшой. — Пригодится карта.

— Спасибо. Глухое озеро — не Великий океан, — ответил я. — Но что же там дальше, за болотами? А?

— Леса!

— А дальше?

— Поживем — увидим. Карту с воздуха делали, а мы километры ногами измеряем.

Вспомнилось, как на болоте от их сапог «хлюп-хлюп» разносилось и темнели «окна», не замерзающие даже в самые лютые морозы.

Я храню их карту, как дорогой подарок, часто смотрю на нее. Осеню снова собираюсь на Мачу, хотя друзья мои трудятся уже в других местах, в Сибири, кажется.

## ПРОВОДНИК

ОКОЛО дороги лежат сломанные нарты. С весны остались, когда оленеводы двигались к северу. Круглые сутки идут к побережью Ледовитого океана через наши леса няпой — олени обозы. Тысячи голов насчитывают колхозные стада. У нас оленеводы

только зимой бывают. Рады бы летовать, да гнус мешает — разбегутся олешки в разные стороны, не съешь их.

Зимой лучше наших боров-беломошников пастбищ нет. Ягелем они богаты — оленым мхом.

Зимой олени выкапывают лишайники копытами из-под глубокого снега. Копыта у них широкие, раздвоенные. Чистого места в бору не оставят. Так зароются в снег, что и не видно. После них и зайцу и куропатке есть где покормиться, есть где укрыться от ветра — земля обнажена, в порохах ветер не берет. Но чуть зазевайся — у лисицы в зубах окажешься.

— Скажи-ка мне, Федор, где сейчас север, где юг? — спрашиваю брата.

— Не знаю, — отвечает он.

— А ты у проводника спроси.

— У кого?

— У ягеля. Те побеги, что к северу тянутся, у него всегда темнее и короче первых. По ним направление точно определишь. Понял теперь? Где же дом?

Брат махнул рукой в сторону невидимой за разливом тайги реки.

— А как думаешь, ягель нам может пригодиться?

— Мы же не олени!

— Так-то оно так, но если поранишь руку или ногу, разомни этот мох в порошок и присыпь рану — как рукой боль снимает и затягивает ее быстро. Никакие микробы в рану не попадут. Бывали времена, когда и в хлеб ягель добавляли, вместе с соломой в ступе толкли. Нам с тобой повезло: в счастливые годы живем.

— Далеко сейчас олени?

— У Черной речки. Не слыхал про такую?

— Нет.

— В Баренцево впадает. Сопки там кругом, озера. Лебеди. В море — нерпы, семга, омуль. Простор там — ни комаров, ни мошки. Там весной оленята рождаются. Стада вернутся к нам после ледостава на реках. Где-то уже сейчас звенят о первый ледок олени копыта, рогачи гаремами обзаводятся, дерутся между собой. Вернутся к нам оленеводы — покатаемся на быстрых нартах.

Мы сидим на опрокинутых кверху полозьями нартах и кажется мне, что пахнет дымком возле чума, а неподалеку шумит студеное море.

## УШЛА БЕЛКА

В НЕНАСТНЫЙ день, прячась от нудного дождика под крышей сарая, косари хмуро глядели на пески, о которые бились серые волны.

— Белка опять пошла. Не к добру,— проговорил кто-то.

— Ясно, не к добру. Тонет-то сколько...

Я только что спас одну. Плыла по волнам к луговому берегу. Из сил выбивалась. Выключил мотор и протянул весло. Откуда у нее ревность взялась? Прошмыгнула по веслу в нос лодки и спряталась под брезент, робко выглядывая оттуда. Но как только причалил к берегу — и нет ее, уже по песку бежит. Теперь доберется до бора. Туда спешит.

Рыженькая, мокрая, как не похожа она на того голубого зверька, что с громким цоканьем взбегает от собаки на верхушки елок поздней осенью.

— Густо пошла.

— Сгинет много. Она на воде держится, пока хвост не намок...

А попробуй его не намочить, если волны, как песцы, гонятся. Закрутят зверюшку, потеряет она направление, и начнет кружить... Воронья не зря по песку много бродит, легкая добыча кругом.

Вспомнились эти разговоры, когда первый снег выпал. Следов «треугольничком» не видать. Лайка не взвизгивает от нетерпения, не обнюхивает замшелые стволы елок. Всего одну за три дня нашла. Нет белки. Не любоваться мне этой зимой связками шкурок с дымчато-голубым мехом, не стучать обухом топора по сушинам, где частенько беличьи гнезда бывают, или гайна, как зовут их охотники.

— Нет, Ингусок, белочки-то сейгод,— говорю собаке.— Всего одна и бегает. Не ищи. Гнездо советь — сама из него восемнадцатая выйдет. Побереги голос до того времени.

Нет белки. Ушла. А куда — никто не знает. Молчит тайга.

## ЯМЩИК

СРЕДИ бора стоит большая сосна. Ее давно облюбовал дятел. Каждый сучок простукивает,— только опилки вниз летят. А под сосновой синицы суетятся. Дятел — их кормилец. Что бы они делали без него в суровую зиму... Не берут их клювики промерзшую кору, под которой прячутся червяки. И вместе с дятлом

обязательно пролетает к старой сосне поползень. Покрутится вокруг ствола, забираясь повыше, а потом — по сосне вниз головой,— и как она у него не закружится!— да еще присвистнет. Не зря его в народе ямщиком зовут. Только не пойму я, кого он подгоняет — синиц или себя? Наверно, синиц, чтобы не мешали: «Освобождай дорогу — сомнем!» Слушаются, уступают дорогу лихому ямщику.







# ФЕДЬКИНЫ УГОДЬЯ

---



## ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО

И НАДО же было выехать нам в самые морозы, когда в деревнях по два раза на день топят печи, и то не в горницах, а на кухнях отсиживаются. Холодина. Углы домов трещат, смазка в машинах замерзает, а над лесом медленно плывет огненная луна.

Но мы не на автомашине — не застрынем. Нас везет низкорослая лошадка, запряженная в кошеву — широкие вместительные санки, наполненные сеном. Под сеном еще тяжелая бочка с бензином. Друг мой, лесничий, к себе в лесхоз его везет на время распутицы. Пижма вскрывается раньше Печоры, и пока мы ледоход пережидаем, здесь успевают на моторных лодках сотни километров наездить.

С таким грузом, как у нас, быстро не поедешь. Не налегке: ступью, как говорят, лошадка идет. Выехали ранним утром при звездах, а теперь уже опять к ночи близко. Те же бесчисленные звезды да луна, которая, кажется, вот-вот вспыхнет.

Тихо в лесу. Узкая санная колея тянется от болота к болоту, от пади к пади, от гряды к гряде. О многом надумаешь, пока едешь.

Каких-то шестьдесят километров, но когда мороз подхватит в пути, они длинными кажутся, эти километры. Вот и Разбойник проехали, водопад, который на всю Пижму славится злым правом. Сейчас он притих. Ненадолго, правда. При первых же от-

тепелях забурлит снова — лишь сверху кромкой льда покрылся.

По обеим сторонам реки молчаливо стоят могучие лиственницы — северный дуб. Такое дерево топором не сразу свалишь: отскакивает он. Семь потов с тебя сойдет, пока лиственница закачается и рухнет, подминая под себя молодые сосенки. Но зато, когда столбы под дом из лиственницы поставишь — век ему стоять. Это дерево в земле не гниет, с годами, наоборот, крепче становится, словно в камень превращается. И мороз лиственницам не страшен. Не под силу ему расколоть их. Лишь молния любит ударить в их стволы — только щепки летят в разные стороны, но и после этого еще много лет стоять такой лиственнице над рекой, и наши внуки будут удивляться, кто это ее так расколошматил.

Великаны лиственницы стоят, как стражи лесного царства, у дороги, ведущей к седому Тиману. Мимо них незаметно ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит. Их редкие толстые сучья торчат, как пики. Становится не по себе. Хочется поскорее оказаться в густом ельнике, где луна мягким светом озаряет снега, где от елки к елке выются заячьи стежки, где спит глухарь, спасаясь от мороза в глубоком снегу. Когда-то в детстве мне хотелось попасть в лесное царство. Не здесь ли оно начинается?

Скрипит под полозьями смерзшийся на морозе снег, ровной ступью тащит кошеву лошадка.

Нет, это не сказочное царство, а родной край, теплей которого нет на белом свете. Мороз? Он молодит. Поторапливает. Напоминает, что нужно спешить. Жизнь так коротка. Нам так мало отпущено. Но человек крепче даже этих великанских лиственниц, вершины которых, кажется, упираются в звезды, ибо все лучшее на земле сделано человеком.

Кто-то первым проложил здесь тропику, она стала дорогой. Кто-то первым увидел эти берега — нависшие над рекой серые скалы и пороги, не замерзающие даже в лютые морозы. Удивленно глянул на эту красоту и начал рубить деревья для угла. На местах глухих заимок выросли села, здесь поднимутся города. Сколько людей прошло до нас по этой земле?

Человек не умирает, ибо он оставляет след. И чем бы мы ни занимались — до нас к нашему делу прикасалось много рук, крепких, мастеровых, нам не знакомых. Мы уйдем — за него возьмутся другие руки. Этим славен человек. Этим могуч он.

## ЗАХОД

СКОЛЬКО людей, гляжу, с ружьями по лесу бродит, а мало кто с удачей домой возвращается. Хотя и говорит: «Охота — это не трофей, а отдых», но все же лучше прийти вечером, ну, хотя бы, с рябчиком в сумке. Перевелись они? Не верится в такое. Тоже в лесу частенько бываю, хотя ружья давно в руки не брал. По утрам люблю послушать их пересвист, полюбоваться, как они взлетают из-под самых ног.

Что сторожки — да! Пальбы в лесу много. Кто в воздух, кто по пустым бутылкам — душу тешат. Напугана птица, в крепях до поздней осени держится. Кроме ружья в руках еще надо и голову на плечах иметь, понимать, для чего носишь его.

Я сегодня — горожанин, а завтра — промысловик и с детства помню: «В лес направился, паря, все примечай. Птица хитра, а ты ее перехитрить должен. Гляди, как она сидит: смирно ли, ягоды клюет или к ветке припадает. Манок-то у тебя магазинный или самоделка? Лучше всего из заячьей косточки сделать. Точь-в-точь как у рябчика получается: в один голос — маточка, с перерывами — самец. Не спеши, присядь, выбрав местечко. В пустой ходьбе толку мало. Посвисти разок-другой. И крылья над самой головой у тебя прошумят, петушок на ветку усядется, заверещит, а то и по земле молчком прибежит. Они любят это. К каждому шороху прислушивайся. Белку берем собачкой, а рябчика — удачкой».

Так мне один дед наказывал, когда я еще мальцом был. Разное случалось. Порой чуть не на дуло ружья рябчики садились, пошевельнуться не смеешь. Порой отвечает, но не летит — в сырую погоду. Под каждую елку заглянешь, пока не вспорхнет. И у них тоже передовой есть. Вспугни его — все разлетятся, ищи-свищи. И тут уже стороной обойти их надо, заходом взять, дав успокоиться, а не с хвоста высматривать. Удача охотника — сметка его, сообразительность.

Сколько раз вспоминал я про этот совет, ночуя в промысловой избушке, а сегодня подумалось: он поможет и тем, кто впервые попадает в тайгу, хочет поближе познакомиться с ней.

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

НАС двое, мы ждем утра в новой избе, построенной совхозом для сенокосной бригады. Ингус приподнял голову, словно говоря, мол, идти пора. Сколько лет он верно служил хозяину, этот

черный пёс с белой грудью, наш, коренной. Я знал его щенком, что залезал в меховую рукавицу, захлебываясь, тянул молоко через соску. Знал неутомимой в поиске, отчаянной до безрассудства лайкой, готовой броситься за сбитым с лиственницы глухарем в студеную воду речушки. Его голос не раз гремел на взгорках Белого ручья.

Он уже не тот, мой Ингус, для собаки тринацать лет большой срок, глухнуть стал, нюх терять стал, но все так же рвется в тайгу, когда видит в моих руках ружье. Как не возьмешь с собой. Я не просто привык к нему, а по-настоящему люблю его — слишком много разговаривал с ним наедине.

— Что, Ингусок, кажется, пора?

Чуть брезжит рассвет. По знакомой тропинке, которую нашел бы и с закрытыми глазами, иду в глубь бора. И удивляюсь тишине. А кругом всё бело. Первый снег. Он, наверно, удивил обитателей бора не меньше, чем нас с Ингусом, особенно тех, кто еще не знает, какие перемены в их жизни предвещает он.

Зайчишка, заметив свои следы, сделал скидку и залег под кустом можжевельника, замер: что ж это такое? Молодой глухарь, прилетевший на галечник, подмочил свои меховые сапоги и скосил глаз: не вода, а сырь. Кукша раскричалась на весь лес: «Зима! Зима!» Знаем ее, старую сплетницу. Не разобравшись что к чему, чего не накричит. Не зима вовсе, а только первый снег выпал, снег, который быстро исчезнет. Ни к чему тревогу бить.

Белый ручей. Вершина его затерялась в необозримых болотах. Старый друг мой, с которым я немало побродил в лесах, Перфил Михайлович, сказал однажды:

— Вершина твоей Мачи и Белого ручья близко друг от друга лежат. От Медвежьей рассохи нужно направык идти через болото, пройти к трем высоким сосновам. Около них ручеек журчит. Это и есть начало Белого...

Много раз я пытался добраться до того места, да так и не сумел: далековато. И Перфила Михайловича не стало, и я давно не бывал в близких сердцу урочищах, а все тянет туда, все хочется забраться выше по ручью: а что там?

Сегодня снег. Первый снег. Крутые откосы, усыпанные галькой, белеют в утреннем полумраке. Вот и пожни остались позади, и путь — охотничья тропа, неизвестно ком проложенная вдоль ручья, уводит меня все дальше в глубь соснового бора. Много разных деревьев в наших лесах, но самое красивое, пожалуй, сосна. Высокие, без единого сучка стволы и густая шапка-крона, а под ногами белый мох. Не за это ли назван ручей Белым? Или за пески, что отливают белизной? Слышу, как склону

бурлит вода, вижу в быстром потоке ожухлую листву берез, среди которой, как огоньки, выделяются листья осин, сбитые ветром. Как сейчас слышу знакомый голос с хрипотцой:

— Ты сходи туда, не пожалеешь. Места там интересные. На взгорках много света, а на другом берегу такие чащобы, что хочется поскорей на дорогу выбраться. Чернолесье, травяники...

Перфил Михайлович, Перфил... Сколько тропинок ты мне указал, сколько неведомого открыл! По твоему совету летним утром я впервые пришел к развалинам старой мельницы и, закинув удочку в бурлящий поток, где и воды-то, казалось, всего до пяток, вытащил черноспинного хариуса. Сколько раз бывал здесь после, а первой встречи не забуду. Чем выше по ручью забираешься, тем круче берега, глубже омыты и гуще чудом уцелевшие по берегам после сплошных рубок леса. Подойдешь к откосу, заглянешь в яму и увидишь локотных хариусов, неподвижно стоящих у коряг. Без шума, не спеша, стараясь, чтоб твоя тень не падала на воду, забрасываешь удочку — и поплавок тут же исчезает. Здесь не то, что на пойменных озерах, не размахнешься удочкой, чуть не так дернул, погорячился, и леса зацепилась за сук, а хариус повис в воздухе, бьется и срывается с крючка, только круги по воде расходятся. Поделом. Уметь надо. Идешь дальше и настораживаешься. У перехода через болотце, за которым снова начинается сухой белый бор, ободрана кора с деревьев, свисает ошмётками до самой земли. Кто ж так постарался?

— Погляди там,— наказывал мне однажды Михаил Игнатьевич, старый крестьянин, полуслепой, которому уже за восьмой десяток перевалило, а все еще на сенокос ездил.— Погляди, есть ли ошмётки. С весны, говорят, травяник там бродил. Матка. Василию сказать надо. Он мастер на медведя ходить...

Ободранная кора по деревьям признак того, что участок занят, чужаку сюда соваться нечего, хозяин может дать прищельцу взбучку — отточил молодой косолапый свои когти. Стоит где-нибудь случайно обломиться ветке, как удилище вздрагивает в руке и, оглядываясь по сторонам, долго не можешь успокоиться. После я понял: Михаил Игнатьевич был прав: травяник тут живет. Угодья у него богатые, разнотравью калтусов, порой не-проходимых для человека, можно только позавидовать. А если заглянешь сюда осенью, сколько тут бурой от сока, переспевшей бруслики, лежащей на белом мху, столь тяжелой, что ветки не могут держать ее, обязательно вернешься сюда. Выпал снег. Первый снег. И мне чуть жаль, что не успел побывать здесь по-раньше, когда только начинался листопад. Весной, по большой воде, хариус забирается в самую вершину ручья, где даже в жар-

кую пору, когда в пижемских наволоках становится душно от запаха мяты и клевера, когда солнце обжигает лицо, когда тучами вылетает на луга овод, здесь прохладно, и вода остается холодной. Что и нужно ему. Осенью наоборот: стоит начаться листопаду, как черноспинные красавцы стаями начинают спускаться вниз по течению или, как говорят у нас, сплыть в реку, где зимуют в глубоких ямах, у самого дна, редко поднимаясь на кормежку.

Жаль. Не успел. Зато в другом повезло. Первый снег увидел. Первый снег. Кто это на нем копытца свои выгравировал? Олени! И как бы хотелось, чтоб это были настоящие дикиари, что еще не перевелись в пижемских лесах, в предгорьях Тимана, в междуречье — на болотах, лежащих между Пижмой и Цильмой, что в зимнее время табунами делают большие переходы. Нет, скорей всего на Белом ручье снова прижился приболевший весной и отставший от стада домашний олень. Он может вернуться к сородичам, когда они будут проходить на зимние пастища, а может выбрать и другой путь — прибиться к диким. «Дикиари» любят это. Много беспокойства приносят они пастухам. Целые гаремы воженок угоняют порой из молодых стад стройные, широкогрудые, с раскидистыми рогами ухажеры.

Присаживаюсь на большой мшистый пень под самым откосом, закуриваю. Спешить некуда. А Ингус не зря метался по чаще, нашел-таки глухаря, поднял его с земли. Большая черная птица взлетела с галечника и села на густую раскидистую сосну, стоявшую поодаль от других. Издали вижу только темное пятно да Ингуса, что лает, крутит хвостом, словно совершаet перед царь-птицей ритуальный танец. И глухарь вытягивает сквозь сучья голову, издает какой-то звук, отдаленно напоминающий хрюканье, с любопытством наблюдает за собакой.

Подхожу сбоку — так ближе и незаметней. Снег смягчает шаги. Поднимаю ружье к плечу...

Взяв за лапы упавшего на первый снег глухаря, чувствую в руке приятную тяжесть. И тут вспоминаю старого охотника Василия Александровича Дуркина. Всю свою жизнь, не считая двух войн, первой мировой и Великой Отечественной, он провел в Пижемских лесах. Этот человек в своих угодьях еще с весны знал, сколько там будет птицы, белки, зайца, лисы, где живут выдры и норки, где дуплится куница. А какой стрелок был!

Постарел Василий Александрович, уже трудно поверить в то, что этот худой, разбитый параличом человек, еле переступающий с ноги на ногу — тот самый охотник, чья слава в свое время бродила далеко за пределами Пижмы. Только здесь, на проби-

том неизвестно кем давным-давно путнике можно понять старого охотника.

Василий Александрович познакомил меня с Пижмой, с ее необозримыми лесами. Перфил научил чувствовать себя в лесу как дома в любое время суток. От каждого из них я взял то, что еще не раз пригодится в дороге жизни.

Взошло солнце. Снег начинает исчезать на глазах. Вода в ручье уже не кажется черной, как смола, а бор из золотистого стал красным. Так вот откуда выражение «красный лес». Я гляжу на сочные бурые ягоды, нагибаясь, беру горсть брусники и чувствую, как она тает на губах. Та ли это брусника, что еще совсем недавно белела на взгорках? Солнце, заморозки и первый снег завершили ее созревание. Теперь до глубокого снегопада и стойких холодов птица будет жировать на ягодах. Ее в этом году, несмотря на позднюю, холодную весну, больше, чем в прошлую осень. И как хочется, чтобы она не выводилась по Белому ручью, чтобы глухаринные выводки заставляли вздрагивать от испуга, взлетая из травы, растущей по калтусам, неискушенных рыболовов, что уже прослышили о хариусе Белого ручья и забираются по нему все выше.

Выхожу на знакомую тропку. Проясняет. Легкий ветерок покачивает вершины замшелых елей, и я, как на чудо, гляжу на старую раскидистую рябину, обвшанную крупными гроздьями ягод. И на земле — ягода, исклеванная птицами. Сколько же ее на этом дереве. Ни листочка не осталось, а гроздья висят, словно ждут, когда налетят птицы. Недолго ждать — подует сиверок, заметет землю и начнется здесь птичье гостеванье.

Я жду, когда Ингус снова подаст свой голос. А где-то на Вычегде или на Выми, Удоре или Сыне так же идут по своим тропам мои друзья-охотники. Они берут у тайги не сколько надо, а сколько можно, берегут ее, как самое дорогое в жизни, любят, как могут настоящие сыновья любить материнский дом, носят в избушках, а то и просто под густой елкой. Каждый, наверно, спрашивает себя: а что там, где я еще не был?

## ЛИСТОПАД

**СУМЕРКИ.** Мы ломаем ивняк, густо растущий вдоль песчаных кос, и тащим его охапками в низину, что раскинулась вдоль курьи, где вечером плескались язи, а в сумерках, уже невидимый нами, бегает по вязкому илу, словно обидевшись на что-то, жалобно попискивает кулик. В обиде он, наверно, что так бы-

стро темнеет, что злой шелонник — холодный и строптивый — с низовьев ударили. А уток нет. Небольшая стайка свищев поднялась с воды перед нашим приходом — и все.

— Вечером тут нечего делать,— сказал Виктор, бросив на землю охапку ивняка,— а вот утром...

Я верю другу. Он эти места знает.

Чтобы сделать караулки, времени требуется немного, но мы все же не успели. Темнота настолько густилась, что всё окружающее превратилось в сплошную черную стену, сквозь которую с трудом пробивается к нам огонек избы бакенщика. Глухо гудят волны, откатываясь от берегов, покрытых мелкими, похожими на траву порослями ивняка. Наш «вихрь» поет ровно. Идем осторожно, на малом ходу, чтоб не наскочить на топляки, которые, к сожалению, губят прозрачные когда-то воды матушки-Печоры. Домашний берег все ближе, он надвигается на нас, как крутая гора, и где-то у подножья этой горы всё ярче мерцает огонек бакенской избы, словно предупреждая нас о надвигающейся опасности, подпрыгивают на волнах путеводные знаки. У домашнего берега ветер бьет сильней, и мы разворачиваем лодку носом к волне, но этого не требуется — остается всего несколько метров. Толчок — и наш «капитан» выключает мотор.

— Вставай, приехали!

На его корабле двое из трех должны во время пути находиться в положении космонавтов, то есть полулежа, чтобы капитанский глаз имел обзор. Это несколько непривычно, утомляет, но скорости, с какой несется лодка, можно позавидовать. Куда за ней на «казанке». У робкого человека, стоящего на борту, от такой езды дух захватывает.

Полуоушпью находим ступеньки, вбитые в крутой берег, поднимаемся к избе, закуриваем, присев на скамейку, разжигаем на огнище костер.

— Часа в четыре подъем. На остров надо попасть до рассвета.

— Есть, капитан.

Встаем точно в четыре. Наливаем из термоса по кружке чая, наскоро завтракаем — и снова гудит «вихрь», поднимая за коромой белый бурун.

— А ветер-то упал. Моросит.

Да, утро начинается с мелкого дождичка. Это нам на руку.

— Тьфу, тьфу, чтоб не слазить.

Еще не доехав до Зыкина, каждый мечтает об удачном выстреле. Еще не сделав караулок, мы уже как бы видим летящих над нами уток.

Виктор был тут два дня назад. Ему повезло. Четыре утки взял и пару гусей. Редко кому такая удача в последнее время выпадает в зорьку. Чаще всего нормы отстрела не выполняются. Это, наверно, единственный случай, когда за недовыполнение норм нас не ругают на профсоюзном собрании, не требуют отчета на летучках, а радуются, хотя мои друзья-охотники порой недоуменно качают головами: как, мол, это я промазал? Впрочем, есть среди них и люди другой породы — чирок у них пре-вращается в гуся, а гусь чуть ли не в страуса.

Втыкаем в покрытый грязью песок ветки ивы и, замыкая круг, входим туда. Я неподалеку от Виктора, в конце курьи, а Гриша левей, поближе к реке, неподалеку от озерины, что осталась на песке после быстрого спада воды. Я вижу из своей караулки два черных пятна, похожих на кусты. Теперь остается только ждать. Рассветает быстро. Вот уже видны контуры песчаных бугров, которых много на острове, заросли ивняка, чуть полыхает восток, и от этого караулка Вити стала, кажется, еще черней.

Но что это? В той стороне ударил выстрел, и послышался густой всплеск. В ту же минуту над моей головой просвистели утиные крылья. Еще. Еще! Я даже не успел заметить птиц. Взвожу курки старенькой двустволки, напряженно жду, но понимаю, что не гожусь для такой охоты. На взлете другое дело. Тут все решают секунды. И вдруг замечаю, что уже утро наступило, что я поставил караулку чуть ближе к Вите, чем следовало, повыше бы ее сделать надо. А утки летят то парами, то большими стаями, неожиданно появляясь из-за поворота, словно перед тем, как сесть на воду, облетают остров.

Еще выстрел! «Чистовой», как любит выражаться Витя. Позавидуешь. Ловко он сразил гоголя — над самой водой тот летел, сбоку. Я не решился спустить курок: к чему в белый свет палить, как в копейку, а он успел. Словно споткнувшись о что-то, перевернулся гоголь в воздухе и шлепнулся на воду.

Утки летят. Я сижу, положив ружье на колени, а Виктор нет-нет и стреляет. Лёт все выше, вот-вот прекратится. Да! Виктор уже оттолкнул лодку от берега, собрал убитых уток и заводит мотор. Гуси так и не прилетели. Однажды они нарвались на засаду и облетают Зыкин стороной.

Мы снова едем к избушке бакенщика, но теперь уже видим перед собой не черную стену, а широкое плёсо, крутой, изрытый ручьями берег, где алым пламенем горят на ветру рябины, качаются, сбрасывая последние листья, березы, желтеют кроны могучих лиственниц.

И снова пьем чай в жарко натопленной комнатушке. Хозяин

в этот раз оказался дома. Неожиданно для себя я спрашиваю деда, лежащего на койке, закинув руки за голову:

— Иван Федорович, сколько лет человек может молодым оставаться?

В глазах старика, чуть усталых и проницательных, окруженных густой сеткой мелких морщин, добная усмешка:

— Чего это тебе вдруг?

— Да так, о смысле жизни думаю.

— Вот оно что... О смысле жизни! — Он погладил рукой бороду. — Кому как дано. Всяких людей доводилось видеть — и стариков среди молодых и молодых среди стариков. Это от тебя зависит. Сам-то как метишь? Или поскорей в старики записаться хочешь?

Мы смеемся.

— Я не к тому. Подольше бы. А то говорят: старики, пора солидность заиметь, а ты всё вприпрыжку.

— Кто ж посмел на тебя поклён такой возвести? — И снова в глазах его мелькает добная усмешка. — Не спеши. Успеется. С мое поживете — все узнаете. Прыгай пока прыгается.

Сдал дед в последние годы. Какая-то сухота появилась на его лице, спина ссутулилась, жили на руках набухли. А все работает, судам путь указывает, в случае неполадок в бакенах, где уже давно стоят автоматы, включающие свет в положенное время, выезжает на субой\* в любую погоду.

— Куда путь держите?

— По крёжу побродить собрались.

— Поосторожней. Медвежьи лёжки в траве не раз видел. Матка с детенышами. Не нарвитесь.

— Как-нибудь... А лоси не ревут?

— Пока не слышно.

Сколько раз, сидя около этой избушки, слышал я в осенние вечера рёв лосей. Листопадник, как раньше называли сентябрь, начало их гона. Много лосей водилось когда-то по рассохам Полойского ручья. Тропы остались — широкие, как просеки, пробитые словно для того, чтобы дать путь вездеходам для завоза в тайгу буровых станков и другой техники. Сегодня, куда ни кинься, всюду встретишь геологов. Который день я мечтаю встретиться с проектировщиками, работающими где-то неподалеку, и всё не удается увидеть их палатку. Линию ребята проектируют для будущей ГРЭС.

Мы уже идем по краю обрыва, под которым раскинулись луга, заросшие ольхой. Где искать в этот предвечерний час ряб-

\* Субой — стрежень, середина реки (сев.-рус.).

чика? В ельнике или на ольхе? Заморозки еще не прибили траву, еще голубика не опала с кустов, брусники полным-полно, она только силу набирает, станет особенно сочной перед выпадом снега, а сиверок еще не задул. Значит, тут, где-то в ельниках, в вершинах рассох должны жировать выводки. И, как подтверждение этому, слышим шум крыльев. Мал рябчик, но шума при взлете делает больше, чем глухарь, и не подумаешь, что он так может. Останавливаемся. Закуриваем. Даём выводку успокоиться. Виктору можно позавидовать на утиной охоте, а в лес он ходить не любит. Не любит? Не то слово. Просто не приходилось ему бывать в тайге с ружьем.

— Не умею,— признается он.— Сколько раз поднимал рябчиков, взлетят, только шум услышу, а сколько ни всматриваюсь, не могу углядеть, куда присели.

Бывает такое. Давно ли вдоль Вычегды я с сыном за грибами ходил? Слышу: рябуха верещит. Пройди, говорю сынишке, метров десять вправо. Он еще не понял в чем дело, но все же свернулся с просеки в сторону и вздрогнул от шума, поднятого взлетевшим выводком. Один сегодняшний перелетел через просеку и присел рядом со мной на березку. Прижался к ветке — не заметишь. Сашку я пальцем поманил. Смотри, говорю, и показываю рукой. Вот! Подвел его прямо к березке. Спрашиваю: видишь? «Вижу!» — Сашок взялся обеими руками за ствол, раскачивает березку, а рябчиконок все сидит, лишь головой крутит. Не сразу до него доходит, что человека бояться надо. Доверчивая птица.

Как давно, увлекшись глухариной охотой с Верной, много послужившей хозяину лайкой, ныне молча лежащей у конуры, не вынимал я из кармана манка.

— Фи-фи-фи-фи-фи-фи! — раз, другой, третий. Молчат. Еще разок, чуть с повтором — начинается перекличка. Один из рябчиков не выдерживает и, сорвавшись с ёлки в нашу сторону, с шумом садится на ольху, крутится на ветке, стараясь увидеть того, кто так нетерпеливо звал его к себе, залетел на чужой участок. Так будет до выпада снега. Рябчики разбиваются на пары осенью. Мелодичный свист их — своеобразная брачная песня в пору листопада.

Не зря сентябрь называли в старину листопадником. Скрыта в этом названии какая-то непонятная грусть, которую не передашь словами, ее можно только прочувствовать.

Мы, охотники, и носим ружья для того, чтобы они стреляли, но это не мешает нам подолгу стоять над обрывом, слушать, как

шуршит переносимая с места на место листва, с любопытством рассматриваем летние порхалища, следы глухаря на откосе, куда он прилетает за галькой, без которой не смог бы выдержать долгую северную зиму.

Ходить бы еще да ходить, но Виктору на работу пора. Он строитель. Вся их бригада из двух человек. Не выйди один — и план сорвется.

Снова вечернеет. Пора возвращаться в деревню. Обратно идти легче. Спускаемся вдоль крёжа в долину ручья. И уже не таимся, идем, громко разговаривая между собой. Я который раз повторяю в слух:

Мой листопад, как май, хорош,  
Сыщи ему другое имя.

- Ты чего бубнишь? — спрашивает Виктор.
- Да вот вспомнилось, а начало забыл.
- Так с конца начни, — смеется Виктор. — Разве нельзя так?
- Ты случайно стихов не пишешь?.. — отвечаю ему.
- Куда мне. Читать люблю. Особенно когда не врут, когда правду-матку пишут, а то загибают больше.

Настроение у нас хорошее. Жаль только, что ехать придется снова в темноте, на малом ходу, но ветер встречный, а это приятно, если он бьет в грудь — как-то уверенней себя чувствуешь, собранней, готовым к дальней дороге, где встречаются и поветерь, и полудник, и всток, и всегда злой шелонник, который, наверно, и сделал нас, северян, упрямыми, не боящимися непогоды, людьми «чистового» характера.

Запало мне в душу слово «чистовой» и хочется добавить, что сутки, проведенные на охоте, еще не раз назову «чистовыми». Это означает: удачными, дающими хорошее настроение, предвещающими что-то радостное. А то, что все в жизни зависит от нас самих, в том Иван Федорович прав. Человек начинает статься лишь с того времени, когда становится ко всему равнодушным, захлопывает ставни своей души, чтоб ненароком не проквозило ее. Мы же — люди чистовые!

- Что ты твердишь мое слово?
- Понравилось, Витец.
- Бери мотор да ставь на корму. Меня, кажется, снова радикулитчик прихватил, разогнуться не могу.
- Все утки!
- Утки да рябки — потерял портки. Молчал бы уж.

Подтрунивая друг над другом, мы сталкиваем на воду лодку, полуобсохшую на берегу, и машем руками бакенщику, что разжигает костер, собираясь готовить ужин.

Гусей мы все же увидели, но не там, где ждали. Утром следующего дня над деревней. Они большим клином летели над полями, громко оповещая нас о начале великих перемен, о дальнем пути, что их ожидает. Покружились — и сели куда-то на лесное болото.

Месяц листопада прошел. Теперь жди снега.

## ГОЛУБЯТНИЦА

ГОЛУБИ жили на чердаке. Их было более тридцати. Деревушка маленькая, глухая, и отовсюду видно, как в чистом небе плавно, по спирали, мчатся к солнцу птицы и так же быстро опускаются на крышу.

Голубей у нас раньше не держали и никто не знает, откуда появились они. Может, из тайги — потомки вяхиря? Деревня как-то веселей выглядеть стала.

А у ребят после занятий в школе одна забота: сизокрылых гонять. Но стали исчезать голуби. Сначала один, потом другой, за ним третий — и пошло. С ног сбились, стараясь узнать причину.

— Кошка повадилась! — сказали в деревне. — Выследить надо.

Но почему ж раньше кошки не таскали голубей, хотя жили с ними в одном доме? Ребята на Мурку стали косо посматривать. А тут еще следы на снегу. Кошачьи, мол.

И только старый охотник Ермолай, увидев эти следы, задумался и сжал в кулак рыжую бороду.

— Вон ты куда забралась! — усмехнулся он. — Вот ужо погоди...

Старик кругом капканы расставил. Вскоре в один из них попал зверек с бурой пушистой шкуркой, чем-то похожий на соболя, знакомого ребятам по картинкам. Они тут же побежали к охотнику.

— Куничка это! — сказал им Ермолай. — С Камня пришла. Пора и честь знать. Покормилась у нас.

Больше голуби не исчезали. Их теперь в деревне много и по утрам слышится на всю округу тихое воркованье, как будто косачи голоса пробуют.

## ДРУГ МОЙ ПАША

ЕСТЬ у меня друг. Специальность у него из самых скромных — лесничий. Живет он в селе Замежном, в небольшом домике на берегу быстрой порожистой Пижмы, что, разрезая Тиманский кряж, спешит к Печоре. Замежное — за мегом, значит, село, за большой излучиной. Есть такие меги, что по реке километров сорок надо на лодке проехать, а напрямик пройти — всего-то два-три и будет.

Леса. Скалы. Болота.

Павел Пономарев из тех, кто крепко привязался к этим местам и много лет прожил тут. Спросил я его однажды, как лесничим стал.

— Семнадцатилетним на фронт попал. Всего насмотрелся. Домой вернулся на костылях. Рос я в деревне. Там и силы заново набирал. Когда окреп, по-новому взглянул на сосновые боры, на черемуху по берегам рек, на ельники. Потянуло в леса. «Там твоя жизнь, Павел», — так и сказал себе.

Начал Павел с лесника. Потом школу закончил. Получил направление в Пижму.

Много дает сегодня человеку коми парма, как у нас называют тайгу: и топливо, и строительный материал, и мебель, и живицу, и смолы, и целлюлозу. Да разве все перечтешь? С каждым годом заготовки древесины увеличиваются, создаются новые леспромхозы, и все чаще мы говорим о необходимости возобновления его запасов. Ведь они не бесконечны.

— Сам посуди, — сказал мне как-то Павел, — вокруг райцентра не стало уже давно настоящего леса, за грибами, за ягодами даже приходится далеко ходить, строительный лес — за десятки километров возим. А район особенный. Тундра близко.

Немногословный, больше любящий слушать, чем рассказывать, Павел всегда оживляется, когда речь заходит о лесопосадках, проводимых в лесничестве ежегодно, о борьбе с пожарами, что случаются в предгорьях Тимана нередко, и не только от людской неосторожности, чаще от сухих гроз, от молний, в щепки разбивающих вековые сосны. Теперь легче стало — и авиация, и пожарные отряды всегда в готовности, а всего каких-то десять лет назад тушили как могли. Пока доберешься до очага, многие гектары ценных массивов в пустошь превращались.

И жаром мне в лицо дохнуло пламя,  
И судороги пальцы рук свели...  
А я все бью! И толстый мох пластами  
Сдираю до спасительной земли...

Сколько раз я видел его таким — усталым, с почерневшим от непосильной работы лицом, подсчитывающим урон, нанесенный пожаром, или звонящим по телефону в райцентр с просьбой подкинуть подкрепление.

И как молодеет его лицо, когда он видит, что на гарях поднимаются новые побеги, а старые вырубки золотеют от молодой сосновой поросли. Не спеша, подмечая все мелочи, идет он от делянки к делянке, порой останавливаясь, присев на пенёк. Он часто видит, как солнце встает над лесом, опалив его зубчатую кромку, как в тумане на дальних болотах трубят подъем журавли, как шумят пижемские перекаты. И строка к строке ложатся на бумагу новые стихи. Это, по сути, его дневник, который лесничий Пономарев ведет уже много лет. Сколько раз, бывало, приехав в Замежное, спрошу, дома ли Павел. «Пишет что-то, — ответят. — Тоже в писатели метит».

Особенно запомнилась мне одна встреча. Это было в половине зимы, в морозы за сорок. Мы ехали с Павлом в Лёвкинскую, где ему нужно было отвести делянки для поруба местным жителям, оформить это документами. Деревья потрескивали от лютой стужи. Тихо было в лесу. Лишь куропатки нет-нет и вспархивали из-под снега, разлетались в разные стороны.

В одном месте дорога пролегала между крутыми скалами по узкой полоске льда, который, как мост, навис над рекой. Только поднялись на взгорок, увидели глухаря: бродил по засыпанному снегом ёрнику.

— Бери ружье! Птица лошади не боится.

Глухарь все же взлетел. Когда подъехали ближе, я спустил курок. С соседних с птицей еловых лап посыпались хвоя, сучки. Еще выстрел. Еще... А глухарь все так же, вытянув шею, сидел, прижавшись к толстому суку.

Я бросил ружье в кошеву.

— Заколдованный он что ли? Ружье-то как бьет?

— Откуда мне знать. Не стрелял. Не охотник я. Лет семь в сарае стоит. Новое, говорят. За лесничеством числится. Мне-то оно ни к чему. Для тебя прихватил.

— Лет семь! — И я расхохотался, а потом озабоченно спросил: — Как же ты в лесу без ружья?

— А зачем оно? Зверь не тронет. Если ж кто со злым умыслом сюда явится, так оно не поможет. Надо общий язык в таких случаях находить, чтобы понял человек: не дело задумал.

Заговорить бы лес от самовольных порубщиков, от браконьеров, от случайных людей, что палят во все живое, да слов таких мы, к сожалению, не знаем.

— Давно думаю, — сказал Павел, когда мы поехали дальше,

проводив долгим взглядом улетающего в сторону болота глухаря,— о том времени думаю, когда единая охрана будет — лесничество, рыбинспекция, охотобщество чтоб вместе работали. А то что получается — мы лишь за лесом смотрим, на другое ни времени, ни сил не хватает, они о своем беспокоятся, а надо обо всем радеть, в комплексе, так сказать, будущее предвидеть.

Это говорил человек, умеющий читать Книгу природы не по слогам. И, может быть, в этот вечерний час, когда мне захотелось рассказать о нем, он сидит за столом с карандашом в руке, с чистым листом из старой конторской книги и мучительно ищет концовку нового стихотворения о бескрайней коми парме.

## МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

ЕЩЕ накануне дул сиверок, сильно подморозило, а ночью затянуло небо обложными тучами, ветер сменился. И все же я пошел искать ток, куда улетал каждую весну глухарь, следы которого я часто видел на лесовозной дороге.

Положив в объемистый рюкзак продукты на два-три дня, в карман несколько патронов, еще раз проверив ружье, я рано утром вышел из дома, чтобы до рассвета выбраться к дороге, ведущей в лес. Дул теплый юго-восточный ветер. Воздух был влажным, то ли от костра, то ли от тающего снега. К дороге выбрался еще затемно и решил тут вскипятить чай, чтобы после короткого отдыха при солнечном свете внимательно смотреть за пластами еще нетронутого снега. Глухаринный ток отыскать, если знаешь места, не трудно: птицы оставляют пометки — полукружья крыльями чертят.

Деревня еще не проснулась. Когда разводил я костер, чьи-то крылья просвистели над лесом, но разглядеть летящих птиц не успел. «Неужели утки?» — подумалось мне. Рановато еще. Забереги, правда, большие. Река вздулась. Но вот еще раз свист разнесся — стая чирков стремительно пронеслась в сторону болота. Потом пролетела пара гусей в том же направлении.

— Если не глухаря, то чирка принесу, — сказал я себе, когда совсем рассвело. Полил чаю и двинулся в путь. Место тока я нашел. И не два петуха там токовало, а больше десятка, среди которых мой старый знакомый — следы его вдвое шире обычных...

«Ничего, днем всё обсмотрю как следует, на зорьке послушаю, а утречком и подберусь».

Но поохотиться на току в том году мне так и не удалось,

хотя охота была разрешена. Сначала заморосило, а потом начался ливень. Почти сутки я просидел под елью. Где-то вдалеке громко гремела гроза.

«Люблю грозу в начале мая!» Эти строки каждый из нас помнит с детства, но чтобы слышать ее в Нижнепечорье в такое время?

Сырость пронизывала одежду, а когда вышел я из-под елки на болото — там всё играло. На середине болота, в озерке, плавали утки, по островку бродили гуси и совсем неподалеку от меня, заслышив шаги, захлопал крыльями глухарь. Солнце проносило в самую густую чашу.

Последний снег сбежал в эту ночь. Ручьи разлились как речки.

Я закинул ружье на плечо и двинул обратно. Много видел в жизни дождей, но такого живительного не знал: тайга словно помолодела, ели покачивали ветками, сбрасывая излишки влаги на землю. Со старой делянки открылся вид на реку.

Лед пошел!

И я забыл о старом глухаре. За утками махнуть можно чуть только лед поредеет, и, жадно вдыхая свежий воздух, я направился к дому.

На вопрос отца, нашел ли я ток, ответил неопределенно. Пусть, думаю, играют. Пусть текут. Может, это самый последний ток в наших местах.

## ЗИМОГОР

А. З. Ануфриеву

Я ТОГДА в газете работал. Перепадало мне часто от редактора: то задание не выполню, а то возьму и махну куда-нибудь на целую неделю без разрешения. С рук сходило. Но долго помнить буду, как вздул меня однажды лесничий Гоян из приполярной Инты.

Однажды позвонил мне дружок из Загривочной — лесной деревушки.

— Едем, — говорит, — в верховья Пижмы.

Я даже подпрыгнул от радости, телефонную трубку из рук выронил. Сразу же на аэродром — и к нему.

Дальше — в кошевке.

Тихо. Ясно. Легкий морозец.

Тянется по льду узкая колея. По обеим сторонам ее чернеют

поляны и шумит река. Как по висячemu мосту едешь. Лошадь фыркает, то и дело останавливается, но деться ей некуда — и снова, осторожно ступая, идет дальше.

В одном месте Пижму с двух сторон сжимают каменные отроги Тимана с утесами самых причудливых форм: то в виде средневекового замка, то памятника, то тигра, прыгающего через пропасть. Там-то и встретил я небольшую, белогрудую, темной окраски птичку. Нагибаясь, быстро бегала она по льду, будто согреваясь после купания.

— Меньше скворца, а смотри что выделывает!

— Зимогор! — ответил я.

Вернулся я в райцентр и за путевые заметки засел. Неделю писал, от всей души, с лирическими отступлениями, чтобы со всех сторон показать жизнь глухого уголка, где много радостных изменений за последнее время произошло.

В результате — жалоба Гояна. Он посоветовал редактору в Брема какого-то заглянуть. Вкатили мне на летучке за птичку-невеличку выговор (стоило!) и намекнули: мол, хватит лирику разводить, в печенку влезла, пиши как все. И заставили самому ответить на письмо лесничего.

Помню: опустил голову, выходя из кабинета редактора, и начал по всем библиотекам этого злосчастного Брема искать. Где его найдешь, когда о нем все слыхали, но в глаза никто не видал, никто не знает, где он проживает, чем прославился.

— На кой ляд он сдался тебе! — не раз говорили знакомые. — В энциклопедию загляни.

— Из-за принципа... Надо же Гояну ответить: мол, и я Брема читывал, тоже не лаптем щи хлебаю.

Нашел-таки.

Оказалось: птичку-то оляпкой, а не зимородком, как я поправил в газете местное название, зовут. Зимородок водится лишь в южных районах. Эта птица из семейства сизоворонковых. На зиму она улетает в более теплые края. И оперение у зимородка красивее, чем у оляпки — ярко-зеленое. И размером он крупней гораздо.

Много мне открыл старик Брем — большой ученый. Только одного у него не мог найти: почему оляпку в наших местах зимогором прозвали. После догадался, правда, когда уже из газеты ушел: зимующая в горах, значит.

В корень смотрел Гоян. Спасибо ему. Родной земли не знаем, а тоже в штатные лирики прем. И еще одно открытие сделал я. Слово «зимогор» у северян и другой смысл имеет: темный, значит, невежественный человек.

С той поры себе зарок дал — писать лишь о том, что хорошо

знаешь. И с Гояном познакомился. Друзьями стали. А лирику не бросил.

Чем радостней жизнь становится, тем больше нам лирика нужна. В каждой травинке, в каждом придорожном кустике, в пении птиц, в цветении черемухи есть что-то родственное человеческой душе... Не случайно и в космосе мои сверстники о родной земле песни поют.

Не хочу быть зимогором, пусть даже ремнем вздуют, как заносчивого мальчишку,—стерплю.

## ВЕЧНЫЙ ДОМ

НА ГОЛОМ утесе стоит лиственница. Сколько ей лет, никто не знает. Внизу бурлит поток. На много километров слышен его шум. Но о близости порога, названного людьми «Разбойником», летом узнаешь еще раньше по двум птицам, парящим в безоблачном небе.

С огромной высоты они окидывают землю пристальным взглядом желтых глаз. Зазевался лосось, рвущийся к нерестилищу, одолела его быстрая,—орлица, сложив крылья, уже камнем падает вниз и, тяжело махая широкими плотными крыльями, несет его к одинокому утесу над Пижмой.

Орел — тот больше над лесом кружит, высматривая добычу. Он ничем не брезгует: ни куропаткой, что вылетела на луг, ни лосем, погибшим от пули браконьера. Изредка подавая голос подруге, он кружит над безбрежными хвойниками, возвращаясь к утесу лишь на закате, когда солнечные лучи уже не падают в долину, а только скользят по верхушкам горных увалов. Так и зовут на Пижме этот утес: Орлиное гнездо.

Когда поселились здесь эти птицы, тоже никто не скажет. Даже седобородые старики, несколько царей пережившие да еще прихватившие полсотни лет новой жизни, на это отвечают качанием головы. «Всегда гнездо было»,— говорят они.

Чернеет это гнездо издали в развилике лиственницы, как большая шапка, а когда поближе подойдешь, то кажется: кучу хвороста ветер забросил на дерево.

Сторожки орлы: не раз стреляли по ним люди из пищалей, которые, сказывают, были дальше, чем нынешние ружья, а потом из двухстволок и ружей с оптическим прицелом.

Взмахнув крыльями, орлы снимаются с утеса и не возвращаются туда, пока не убеждаются, что человек ушел.

Говорят, есть страны, где издан закон, запрещающий рубку

леса вокруг орлиных гнезд и стрельбу около них. Но орлы не знают об этом. И нет еще у нас такого закона, потому и сторожки орлы, лишь на себя надеются.

Кружат они над лесом от зари до зари. И нет им никакого дела до того, меняются леса или остаются такими же, как были. Не замечают они, что кругом электропилы гудят, что вышки поднялись выше самых могучих деревьев, поселки растут, бегут по дорогам машины. Все это на их глазах пришло в тайгу, незаметно, привыкли они к тому, что леса редеют, примелькалось всё. Только шуму стало много да с каждым годом всё дальше за добычей летать приходится...

Кружат орлы, высоко поднимают их восходящие воздушные потоки. Черными точками кажутся птицы в синем-синем бездонном небе. Они жили здесь сотни лет, старая лиственница — их вечный дом.

И мне не раз уже думалось, что этот утес, быть может, и есть тот самый кусок земли, куда еще не ступала нога человека, над которым не властно время. Прошли века, а он все тот же — угрюмый, нависший над бурным потоком Пижмы, и только на лиственнице всё меньше зеленою хвои. Дерево не вечно.

Кружат орлы... А ведь я в эту весну не видел их. Что-то случилось с ними? Может, погибли в ненастную осеннюю ночь? Или заметили, что старое дерево скоро умрет и покинули его?

Может, и к ним старость пришла? Камень и тот не вечен. Лишь безбрежное море тайги будет так же шуметь, как раньше, как сегодня. Это жизнь, а ей нет конца.

А, может, чьи-то проклятые пули сбили гордых птиц, перебили им крылья, и красоту утеса поглотил бурный поток?

Нет, не верю в это. Орлы еще вернутся. Они просто задержались где-то...

## БЕЛОХВОСТКА

РАННЕЙ весной я разыскивал глухариний ток. Тепло пало редкостное. В полдень становилось жарко, и в глухом ельнике начинали кружиться мотыльки. Никогда раньше не видал их в столь раннее время, ведь снега кругом еще нетронутые лежат. Даже как-то не верилось — после холодной зимы и вдруг сразу все ожило.

И в этот раз я не смог найти токовище, хотя наброды видел. Было уже позднее утро, когда я вышел на вырубку и прислушался. Издалека доносились звуки, чем-то похожие на собачий лай.

«Неужели кто-то с лайкой бродит?» Но раздумывать уже было некогда: солнце успело растопить наст, лыжи вязли в глубоком снегу. Я спешил выбраться к местам, где прошло оленье стадо.

Не в первый раз попадаю в такое положение. Однажды вот так же забрался в лесную глушь по утреннику да и проторчал там два дня, пока не подморозило ночью. В это время тайга становится непроходимой. Обычные лыжи не держат охотника, а без них тоже ни шагу.

Но что это? На вырубке знакомые мне еще с первого снега следы: лисичка тут бродит давно. Облюбовала эти места и живет себе. Пробовал я изловить ее в капкан: рябчика для приманки подсовывал, зайчатиной прельщал, но раскусила, что тут неладно — и прочь.

Видать, успела уже она побывать в чьем-то капкане. Об этом мне следы рассказали: когтя на одной лапе не хватало. Старая лиса дважды поймать себя не даст. Она не только охотника — и семерых волков проведет. Ведь как было: гонит по тропе зайца и вдруг — прыжок в сторону, хотя никаких признаков нет, что тут капкан насторожен. Значит, для меня нет, а она что-то приметила.

Все же однажды познакомились. Около вырубки, лежащей между двумя ручьями, я заметил свежий след и пошел по нему. Выследить-то выследил да только и видел, как рыжим пламенем метнулась она в кусты, а среди этого пламени мелькнуло белое пятнышко — кончик пушистого хвоста.

За это и прозвал ее Белохвосткой. Зимой одна бродила, а под весну, знать, прискучило, играть начала, взвизгивать с тоски, носиться по вырубке, как угорелая, пока в ответ не раздался хриплый лай лисовина.

— А ты откуда взялся? — Я смотрю на более крупные, округлые следы чужака. — Старый, видать... Тоже весна подействовала?

Вижу: след следом кроется. Совсем недавно тут были. Далеко убежать не могли. Так вот кто лает за густой порослью сосняка!

Мне кажется, что я вижу, как, пританцовывая на задних лапах, вокруг Белохвостки крутится влюбленный лисовин, словно фокстрот исполняет. Этот танец в переводе с английского и называется по-лесному — лисий шаг.

Для них пришло время любви. Не будем мешать. Покиная вырубку, я знаю, что Белохвостка снова тут, на вырубке, со всех сторон окруженной молодым сосняком.

Пройдет немного времени, и она останется одна, прогонит

прочь лисовина, который встречает с ней, может быть, не первую весну, издалека приходя на ее зов, отстаивая свое право в жарких схватках с соперниками. Знаю, что она поблизости, но не пойду по ее следам, а лучше расскажу, что будет дальше.

В сухом бугре, лежащем посреди болота, неподалеку от маленького озерка, скрытого от постороннего взгляда зарослями ольшаника, у Белохвостки есть нора. Она обновит ее, расширят, выроет новые ходы. А месяца через полтора, в самый разгар весны, в норе раздастся писк: появятся на свет детеныши. Маленькие, слепые, беспомощные, большеголовые, они совсем не похожи на зверя, о котором в народе столько сказок бродит. Мать ласково оближет их, накормит молоком и ненадолго оставит одних.

Она выходит из норы, присаживается на задние лапы, утирается и оглядывается кругом, словно ища кого-то.

Кругом так же спокойно, тихо, как и раньше, но в низинах вовсю шумят ручьи, речки вышли из берегов, в ельнике дотаивают остатки чахлого снега.

Лисовин тут же. Он терпеливо ждал ее появления, пробует приласкать, но Белохвостка ляскает зубами и, принюювшись, начинает обход бугра. Ничто чужое не пройдет незамеченным: помнит все запахи, что окружали нору.

Лисовин остается сторожем. Большего ему пока не разрешается. Белохвостка вскоре вернется, но с этого времени ее отлучки станут все продолжительней и чаще. Она будет уходить в поиски пищи все дальше, разоряя птичий гнездо, перехватывая зайчишек, мышкуя, не брезгую первой зеленью. Когда у лисят прорежутся глаза, родители начнут оставлять их одних, принести в зубах живую добычу, приучать малышей к охоте: то дрозда притащат, то рябчика, а то и глухаренка...

Так ежегодно бывает летом. Лисята, поджиная родителей, ревятся у норы, дремлют на солнышке, прячась под землю от малейшего шума. Они жадно принююхаются к запахам леса. Для них это огромный, еще непонятный мир, пугающий и манивший к себе. В густой траве, что поднялась вокруг болота, лисята пробивают тропки к озерку и в жаркий полдень жадно пьют холодную воду, бьют лапками по своим отражениям, кидаясь прочь от собственной тени, ловят бабочек, пробуют на вкус еще горьковатые, не успевшие дозреть ягоды.

Белохвостка, похудевшая за это время, с отвисшими сосками, уходит на охоту за болото, через которое пролегла Черная трива. Вблизи норы она не трогает ни птиц, ни зверюшек. Капальята спокойно растут и пьют воду из того же озерка, что и ее детеныши. Старый лисовин лишь исподлобья глядит на них,

словно прикидывая, какой будет осень. Так охотник бережет дичь около избушки, зная, что успеет взять ее поближе к зиме, в ненастные дни.

Опасность пришла, когда обитатели Черной гривы ее не ждали.

В жаркий летний день за болотом начали с шумом валиться сосны, поредел березняк, в тени которого уже начинала синеть черника.

Шум приближался.

На болоте захлюпала вода, кто-то стукнул топором по стволу стоящей неподалеку от норы сосны, послышался людской говор.

— Разводи костер, я сушняка принесу. Вон сколько его у бугра. Перекусить пора. Заработались...

Раздвигая руками молодые сосенки, к бугру шел человек. Он был одет в короткую куртку с «замочком» и кожаные сапоги.

Запахло дымком костра.

Лисята юркнули в нору и замерли там.

— Тут нора!..

— Волк?

— Лисья, паверно, хотя кто его знает. Первый раз нору вижу.

Лисята забрались в дальний отнорок, вырытый матерью весной, и не подавали звука, пока люди не отошли прочь.

— Лопаты нет. Жаль...

— Выкурить бы...

Если бы лисята понимали, о чем говорят люди, они передали бы матери: ушли, не придут больше, просеку рубят. Они, оказывается, в четвертом квартале живут.

Но мать и лисовин, возвратясь с охоты, забеспокоились, почуя запах человека.

Белохвостка подозрительно обнюхала лежащую около норы палку, окурок, следы сапог и тут же, приподняв одного щенка за шиворот, бросилась с ним в глубь чаши.

Вскоре все лисята были на новом месте: под корневищем сваленной ели, окруженной высокой густой травой.

Верно говорят: хитрее лисы нет зверя, а если она еще мать — трудно обмануть.

— Мы чью-то нору нашли, но пустой оказалась, — рассказывали мне рабочие, которых все зовут «экспедициониками».

— Далеко? — спрашиваю.

— За второй просекой. Около озерка.

— Знаю то место. Лисичка там играла весной. Ее.

На новом месте Белохвостке жилось спокойно, люди больше не тревожили семью, но зато не давали покоя сороки. Она весной охотилась на этом участке, гнезд немало разорила, и птицы

мстили лакомке. Как ни притворялась Белохвостка доброй и ласковой, а весь лес гремел: «Слыхали, лиса, про твои чудеса. Ты льстница, знаем, но ты и плутовка первая. Во сне думаешь, как бы к нам подобраться».

Белохвостка не раз кидалась на сорок, разгоняя их, но стоило только пойти на охоту, как они поднимали крик.

А лисята росли и все чаще уходили на охоту самостоятельно. Правда, в первое время они мышковали поблизости и, как только разносился над лесом тревожный крик кукши, сразу же прятались в логово. Но с каждым днем они следом за матерью уходили все дальше, лес уже не пугал их, а манил куда-то в свою зеленую глубину.

Печальна судьба матерей. В какой-то день, когда ночи стали темными, а ветер принес с запада дождь, исчез старый лисовин, потом — лисята, и Белохвостка осталась одна.

И она тоже вскоре покинула укромный уголок под корневищем ели, сваленной бурей. Теперь ее домом была каждая елка, заросли кустарников, где ее прихватывала темнота. Семья распалась.

В начале зимы заготовителю сельпо принесли лисью шкурку с темной полоской на спине. Густой мех, ровная и высокая ость делали ее изумительно красивой.

— Первый сорт. Где добыл? — спросил заготовитель охотника.

— На Сопочном бору. Собака загнала.

Это была шкура старого лисовина, что каждый год появлялся в бору и снова исчезал куда-то.

А Белохвостка осталась. Недавно, проезжая по лесной дороге в отдаленную деревушку, я увидел на снегу цепочку знакомых лисьих следов. Лесник, с которым мы часто ездим вместе, сказал при этом:

— По-разному пробовал — не идет в капкан. Она, наверно, с высшим образованием. Бывала — у передней лапы когтя нет и косит немного.

Я промолчал о том, что и сам пробовал изловить ее. А цепочка следов тянулась вдоль дороги, от бугорка к бугорку.

— Хочет дорогу перейти, но никак не осмелится?

— Вчера тут бензин на тракторе везли. Запах его чует, вот и водит носом.

Около заметенного снегом моста через безымянный ручей Белохвостка свернула в сторону болота.

— Утром прошла. Мы по дороге едем, а она сейчас дремлет где-нибудь, свернувшись калачиком, и во сне видит, как косача

в зубы прихватила, ощипывает его. Ничего, и на старуху бывает проруха...

Мне подумалось: а что если на обратном пути не увижу ее следов? Пустым покажется мне бор. Я уже привык к тому, что где-то по соседству бродит Белохвостка, что, проводив меня долгим взглядом, она спокойно перемахнет лыжню, обнюхает снег и, припрыгнув, ударит по нему лапами, прислушается и вытащит из-под снега мышонка.

Мне очень хочется посмотреть, как она танцует, встречая весну, когда в лесу все становится голубым и рыжим: и деревья, и небо, и солнце, и снега.

## А ОНА РЯДОМ

Я ВСЕ ЖЕ нашел ту речку, где лебеди зимуют! Не за лесами, не за горами она от нас была, а рядом. Не каждому дано видеть ее! Верно люди говорят. И мне до поры не открывалась. А было так. Приехал я зимой в пижемскую деревушку, слышу — разговоры идут о каких-то утках. «Не по времени,— думаю,— они. Случилось что-то». Разузнал подробности.

Пижма — красивая река. Начало она берет в предгорьях Тимана. Летом вода прозрачная-прозрачная. Как говорят, прытай, Ванька, — травку видно! Попробуй прыгни — и дна не достанешь. Ямы есть по восемнадцать метров глубиной. Семга в них зимует. Осенью Пижма строптива. Во время паводка по ее дну с боку на бок перекатываются громадные валуны.

Неспроста у нее характер меняется — не хочется льдом покрываться, а холода вот-вот ударят. Знает Пижма, что мороз одолеет, а все упрямится, от солнечного лета старается что-нибудь прихватить. Чем ближе зима, тем больше темнеет река. До января будет колыхаться лед, изогнется, а потом от берега до берега повиснет над Пижмой хрустальная арка. Снегом все заметет. Покажется нам, что спит красавица Пижма глубоким сном, а на самом деле под хрустальной аркой продолжается жизнь.

Как раз перед моим приездом одна из доярок пошла полоскать белье. Семья у нее большая, мал мала меньше, хлопот не оберешься. На морозы сетовать некогда. Пришла с фермы и давай стирать: мол, до вечерней дойки управляюсь. Потом натянула на себя малицу, сшитую из овчины, поставила на санки большую корзину с бельем и спускается по санной дороге к реке.

Солнце в это время года, кажется, и не греет, а, наоборот,

помогает морозу щипать за нос, чуть высунутый из-под полу-шалка, превращать дыхание в густой белый пар, а пальцы рук, спрятанные в шерстяные узорчатые варежки,— в ледяшки. Спасения от стужи нет. Но светит солнце уже ярко. Дни прибывают.

Спускается женщина к реке, санки за веревку придерживая, чтоб не опрокинулись: на скате они сами под гору бегут. Но неожиданно остановилась.

В проруби, огороженной елками, плавал селезень. Он довольно покрякивал и совсем не собирался улетать.

«Откуда взялся?— подумала женщина.— Уток у нас отродясь не держали».

Подумала она еще, что неспроста это, диво какое-то будет. Ясно видит — селезень, как у нас кряковых зовут, но все еще своим глазам не верит, протирает заиндевелые ресницы варежкой.

Подошла уже близко к проруби, когда санки опрокинулись, корзина с бельем полетела в снег.

Селезень вытянул шею, тревожно крякнул и, тяжело взмахивая крыльями, взлетел, дал круг над деревней и скрылся в стороне гор, где берет начало Пижма. Где пристанище его? Что найдет он в предгорьях Тимана?

От берега до берега протянулась над рекой хрустальная арка. Над полынями висит белый туман. Мы не замечаем, что полыньи — это двери в подледные дворцы, где не только шумят перекаты, но и резвится рыба, в тихих заводях мерно покачиваются водоросли, а между поверхностью льда и водой вскоре после осеннего паводка и ледостава образуется пустое пространство.

И тепло, и светло. Ни мороз не берет, ни ветер. В этих дворцах и зимует птица. Не только утки-подранки, но порой и гуси, которые по каким-то причинам не могли улететь на юг. Чуть потеплеет — появится вода на замерзающих, но покрытых снегом болотах, и тогда птица покидает зимние квартиры, начинает облет своих владений. После этого и холод ударя, она все равно нет-нет да и пролетит над рекой.

Так было и в этот раз. Мороз морозом, а ждать весны недолго осталось. Где-то уже спешат из дальних стран в наши края крылатые вестники ее. Они, наверное, по-своему тоже удивляются, когда услышат призывное «кря-кря». («Как там на юге?») И, наверное, не раз заставят повторить рассказ о том, как гостеприимна и ласкова была к зимовщикам строптивая и хмурая лицом поздней осенью наша Пижма.

...Пролегла по льду узкая санная колея. Тихо кругом. Деревья потрескивают от мороза. Снега под солнцем искрятся. Ру-

кавицами щеки тру, рука об руку похлопываю, стометровками согреваюсь, а сам думаю о речке, которую искал с детства. Она рядом была, моя радость, моя мечта.

Бегу за лошадью и кричу во весь голос:

— Я нашел тебя!

«Нашел! — отвечает в таежных распадках эхо.— Наш-е-ел!»

## В ПРЕДГОРЬЯХ ТИМАНА

ХИТРО кем-то продумано: чай пить. Сидим уже который час, а они, эти часы, не тем дороги, что долги, а тем, что коротки. Уже по третьей чашке наливаем. Лучшего напитка для согрева с дороги не найдешь.

Борис Прокопьевич, кушник, как у нас называют хозяина избы, в которой останавливаются проезжие, круто заварил. Знает, что чем гуще, тем беседа веселей. Мы с ним знакомы давно. Только в ту пору, как мы знакомились, здесь деревня была, вокруг которой по склонам холмов осенью ячмень колосился. Куда путь держим, спрашивает, какова дорога. А что сказать старику: укатанная, морозы помогли. Вдвоем весело. Только вот оленевых совиков не прихватили — меховых рубах, что поверх полушибутка одеваются. Сами виноваты. Надо было наперед рассчитывать. Борис Прокофьевич смеется:

— Редко ездите. Непривычные. Ничего. Печка нежит, а дорожка учит. Пейте — чаёк пить не дрова рубить. Им еще никто не подавился. Пользительно.

А я расспрашиваю, что с деревушкой стало. Нравилась она мне. Люди тут жили интересные. Жду, когда старики разговарятся.

— Доброму примеру последовали, переселились к соседям, еще когда колхозы объединяли. У нас света только и было что в окне. А там электричество — как солнце, от него бегать — хорошей жизни не видать. Нами наша деревушка начата была и на нас, наверно, старая жизнь кончится. Для всех на главной усадьбе места хватит. А тут что за житье: берлога! Здесь только старикам век доживать, вроде меня.

Борис Прокопьевич подбросил в плиту дров, прилег на койку.

— Скоро сеновозчики с главной усадьбы приедут, — сказал он. — У них туда и обратно на дорогу больше суток уходит, мое дело встречать их да провожать. А сена-то еще много. Днем в лесок хожу — плашки на горностая расставил, зайчишек плавливаю, косачей постреливаю. Они у меня весной прямо на

крыше токовали... Раскусили, что деревня покинута, и «заедают» прямо. А зайчишки те весной, во время игры, один за одним на полях следом попрыгивают. Единонож больше дюжины насчитал...

Так бы и слушал его всю ночь, но сомлели мы от чая, в сон клонит.

— Полушубок под голову положи, а тулупом укройся. В углу лежит.

Я ложусь на низкую широкую скамейку.

— А как колхоз называли? — спрашиваю.

— Мы, друг, вперед глядим. «Звездой».

С тех пор еще одна звезда горит в лесной глухомани. Люди всё сильней к свету тянутся. В скором времени и сюда машины придут. Вчера над нами вертолет пролетел. Громадина. С крыльями по бокам. Турбинный. По два трактора в него грузят.

— Не слыхал там, нашли что-нибудь геологи-то? — спрашивает старик.

— Они в стороне работают. Не доводилось пока встречаться.

— А то сказывают люди... Добра наша земля до людей: и кормит, и поит, и тепло дает, чего в ней только нет. Она хороша и там, где медведь живет, и где машины гудят. Я и то нынче по утрам всё на небо гляжу. Кажется, что оттуда ко мне вот-вот гости свалятся. Придется вторую половину дома протапливать, как их пристроить, думать. Век у нас быстрый, ребята, ох, быстрый. Коли повстречаете ученых людей, поспросите, что у нас тут будет-то? Увидеть не увижу, так хоть знать буду.

Уже засыпая, мы обещаем старику — обязательно расспросим и письмо ему пришлем.

## ПАХНЕТ ЛЕТОМ

ЗИМА на вторую половину перевалила. После жгучих морозов начались снегопады. Старый рогаль, не раз меченный пулей брачоньеров, носящий на теле шрамы от волчьих клыков, повел семью к реке. Разбивая широкой грудью непролазный снег, он шел напрямик к пойме, пересекая хребты и отроги.

Вожак знал, что дальний путь порой короче ближнего. Не одну весну водил он лосят и лосиху с зимних пастищ на весенние. В речной пойме снег мельче и плотней, корма богаче, легче бродить и скрываться от преследователей.

Волки еще не напали на их след, но рогаль чувствовал: они вот-вот появятся. Каждую зиму в это время серые пересекают их тропы. Прошлый раз они напали на семью у Яранского ме-

га — большой излучины реки. Старый гривастый волк кинулся к теленку, но рогами вожака был пригвожден ко льду и отброшен в сторону.

Храпя от злобы, с налитыми кровью глазами, склонив голову, долго стоял сохач на месте, где их тропа была пересечена цепочкой волчьих следов. Стоял, пока волчица не кинулась в сторону — и понесся вслед за стадом, отбрасывая копытами куски плотного снега.

Он уже пережил тот возраст, когда волки берут лося хитростью, но еще не успел состариться! Равного ему не было по этой речке зверя.

За мегом начинаются луга. Раньше здесь была деревушка, но она неожиданно исчезла. Только в одном из заброшенных домов на какое-то время вечерами загорался свет.

В этот раз лоси вышли к реке ранним утром, когда на вершины берез расселись косачи и, прикрыв глаза, дремали, подставив грудь первым лучам солнца.

Семья лосей, к которой в пути пристало два молодых, остановилась около санной дороги. Старый вожак принюхался, осмотрелся кругом и уверенно перешагнул полозницу. Он знал, что людям, положившим ее, не до него: сено с дальних лугов вывозят, даже ружья с собой не берут. Он с ними не раз встречался.

Лоси покормились мерзлыми побегами ивняка и залегли в чащу на отдых.

А когда над отрогами Тимана взошла луна, ярко заблестели звезды — снова к морозу — рогаль вывел стадо к большому зароду и первым прикоснулся к сену шершавыми губами.

От сена пахло чем-то давно знакомым, вспоминались речушка, бегущая по камням, шумные перекаты, где он осенью чуть не опрокинул лодку браконьера, облученный ярким огнем соснового смолья. А после первых заморозков он ревел над рекой, потрясая огромными рогами, рыл землю копытами, ломился сквозь чащу, бился с соперниками за право быть хозяином этих мест.

Вчера в развилике двух сосен он оставил второй рог. Время подошло: солнце из-за увалов показалось, зима на вторую половину перевалила.

Семья хрестела сеном, а старый рогаль дремал у стога, ему снилась золотая осень. Почуя опасность, он гордо вскинет голову, поднимет широкое бьющее насмерть копыто и кинется на встречу врагу, а пока почему не вздренуть?

Синеют звезды над седьмым Тиманом. Лоси тут же прилегли

у стога, а люди в малицах, приехавшие за сеном, с любопытством глядят на них с дороги.

— С гор спускаетесь? Добро пожаловать! Но и посторониться надо, уважение к нам иметь. Э-э!.. Довольно воровством заниматься!

Старый рогаль приподнял голову, пошевелил губами и не спеша направился в заросли ивняка. За ним пошли остальные. Они привыкли к таким встречам, поняли, что человек не всегда страшен, что по соседству с ним безопасней. А недоволен он, значит, надо посторониться, уступить на время свои права.

На снегу осталась лишь пробитая до земли тропа. Луна выглянула из-за хребта, словно от любопытства приподнялась на цыпочки, ожидая, чем кончится все это. Но в лесу стояла тишина, только у стога проскрипели тяжело нагруженные сеном сани, удаляясь в сторону деревень.

## КРЕСТИКИ НА СНЕГУ

КРЕСТИКИ, крестики на снегу — возле каждого кустика, на каждой полянке, у дороги. В деревнях стар и мал на промысел куропатки вышли. Она у нас залетная. В тундре живет. А в середине зимы снежные бураны гонят ее в леса. Ее появления ждут в деревнях так же, как захода с моря семги — северного лосося... Из деревни в деревню летит весть: «Куропатка пошла!»

Все ближе, ближе к нам. И вот, наконец, в речных поймах появились первые табуны переселенок. Все больше их. Перекочевывают к югу, ночуя в сильные морозы в снегу, питаясь мерзлыми почками кустарников, разбиваясь в полете о звенящие на морозе провода. Не только лисы, но и ребятишки порой вдоль телеграфных линий подбирают птиц.

Крестики, крестики на снегу... До половины марта идет промысел куропатки. А там охотники снимают самоловы, смазывают и ложат в чехлы ружья до следующей осени. В это время ни птицу, ни зверя бить нельзя: убьешь одну куропатку — осенью не досчитаешься дюжины. Как только начнет пригревать солнышко, в лесу образуется наст, рыбчики начнут вылетать на пригорки и пересвистываться между собой, куропатка исчезает из тайги. В тундру возвращается, где птенцов выводит. Они у нее, как у курицы, только проклюнутся из яйца и тут же бегут за маткой. Растут не по дням, а по часам. Через несколько дней начинают крылья пробовать. Но так и не выходит ничего из этой пробы до конца жизни. Резва куропатка, стремителен ее полет.

но крылья коротки, силенок мало. Зато таиться умеет. Прижметься к кочке — и как не было ее. Оперение у нее летом под цвет травы — бурое. Трудно разглядеть. А зимой со снегом сливается — белым бела. Только в хвосте несколько перьев чернеют да клюв антрацитовый.

Крестики, крестики на снегу... Шум крыльев, скрип полозьев, а я забыл про дорогу, о тундре вспомнил, где немало побродил в юности.

Суровый край — тундра. Но кому что нравится. Хорошо в тайге для жительницы Заполярья, она куропатке, как для северянина Сочи, но все не дома, а в гостях. И летит куропатка в Заполярье, от речки к речке, от болота к болоту, спешит, торопится домой.

Крестики, крестики на снегу — от лапок, в меховые бурки обутых. Чистого места не найдешь. А кто-то говорил, что птицы не стало. Если беречь ее — всегда будет. Улетевшая в тундру куропатка возвращается к нам с многочисленным потомством. Так с незапамятных времен было. Тому быть и в будущем, когда на смену нам другие охотники в тайгу на широких подбитых камусом лыжах пойдут.

## ФЕДЬКИНЫ УГОДЬЯ

Я ПРИЕХАЛ погостить, а друг утащил меня в лес, в свою избушку, сразу же, не дав посмотреть на деревню.

— Что нам с тобой дома сидеть! Там наговоримся! И за куницей сходим, как обещал, — сказал он.

Зимой в наших краях рассвет поздний. Когда взошло солнце, мы были уже далеко от жилья. Шлось тяжело: ветер сбрасывал с деревьев снег, что накопился на нем за неделю. Даже широкие охотничьи лыжи, обитые камусами — шкурой с ног оленя, проваливались так глубоко, что мы с трудом вытаскивали их из снега. Мне легче было: вторым шел.

Федор сбросил шапку, сунул ее в вещевой мешок, на лбу его выступила испарина, а волосы покрылись инеем, но когда я спросил: «Сменить?» — он усмехнулся: «Помалкивал бы!»

Шли напрямик к местам, которые в деревне зовут Федькиными угодьями. Хозяин их внимательно смотрел по сторонам.

Мы пересекли глубокий след. Будь один, я принял бы его за ямки, что порой выдувает ветром. Федору эти ямки сказали больше.

— С осени его приметил. Старый сохач. Видишь, копыта обломаны. Пока снег рыхлый, еще ничего не случится с ним, а как занастит — волкам в зубы. Таких отстреливать надо. Зачем зверю зря погибать?

Маленький, коренастый, с веселыми ребячими глазами, что синеют, как васильки, на его смуглом лице, он обернулся и показал мне лопаткой на лыжню. Мне показалось, что идем прямо, а на деле лыжня виляла из стороны в сторону.

— Ничего не заметил?

Я видел только полузаметенный след сохатого.

— Как нитка. С востока на запад. Можешь проверить по компасу.

— Точно!

— Даже если бы лицензию имел, не стал бы его сейчас преследовать. Место меняет. Дня два пройдет без остановки. Во второй половине зимы они в предгорья перебираются, в молодой сосняк. В осинник, где лоси водятся с осени, лучше не заглядывай — бесполезно. По-своему, знать, понимают, что в сосновой хвое витаминов больше.

«Все тот же,— думал я о друге,— шустрый, смекалистый».

Мы с Федей сидели за одной партой, делили пополам граммы ржаного хлеба, что перепадали нам порой от интернатского повара. Хлеб в военное время был самым дорогим лакомством. Школу закончить не удалось: он выбыл из шестого, я — из седьмого. На заработки подались. И вот встретились снова.

— Помнишь, как рассорились?

— А как тебе двойку Карманов закатил за то, что север на карте, как по реке, внизу считал?

— Еще бы не помнить!

Мой друг так и остался охотником, а я, сменив много профессий, нашел наконец свою: хожу по земле, смотрю, с людьми встречаюсь, а после им же рассказываю о красоте родной земли. Кажется, чего проще. Нет! Нелегко теплое слово найти — такое, чтоб не кричало, а незаметно западало в сердце и оставалось там на долгие годы.

— А вот и она! — лицо друга осветилось радостью. — Пришлая. Идет на тебя зверь.

Параллельно лыжне из оврага тянулась цепочка следов куницы. Они на кошачьи похожи.

Федор подтянул ремень, стягивающий ватную куртку, поправил на плече вещевой мешок с продуктами.

— В сторону избушки. Если не ударит к вершине ручья — наша будет.

Шаг у него неторопкий, но когда я попробовал не отставать,

то вскоре остановился совершенно обессиленный и, чтобы не упасть, прислонился к дереву. Вот почему, подумалось мне, его длинноногим прозвали. Действительно, как лось прет. Откуда только силы берутся!

Пройдя еще немного, я бросил и думать, чтобы идти рядом с Федором, и махнул ему рукой: мол, не останавливайся, до-  
гоню.

Куница, как предчувствовал охотник, свернула к истокам ручья. Тут появились новые следы: снег был испещрен крестиками. Это куропатки утром жировали. Сколько же их тут собралось? Но незаметно, чтоб она сумела поживиться. Взлетели! Вон как от злости запрыгала: с валежины на валежину, с одной стороны ручья на другую. А Федор прямо идет, знает, куда она метит.

А тут косачи взлетели из-под ног, на елки присели. Сбоку лыжни узкая ямка. Лопатку воткнул, значит. Для чего? Ага! Раскусил. Стрелял, положив винтовку для упора на рогульку лопатки. Вот и перья лежат... Двух с одного места! Позавидуешь.

И снова лыжня вьется вдоль ручья по следам куницы. Отпечатки ее лап стали ясней: совсем недавно пробежала.

Выхожу на поляну, где стоит одинокое сухое дерево. Куница зачем-то к нему устремилась, а охотник долго стоял, даже вокруг дерева все смотрел. Дальше лыжня его почему-то стала глубже, хотя снег тут поплотней. Единственное, что я заметил, это капелька крови на лыжне. Чья она? Так и не мог понять.

Зимний день в тайге короток. Когда я вспомнил, что друг, наверное, далеко умахал, начало смеркаться. Тоска напала. Такой глухомани, в какую меня Федор заманил, я еще не видывал, хотя люблю бродить по лесам: черный, непроглядный ельник, обросший белым мхом.

Я прибавил шагу, хотя знал, что Федя вернется ко мне: куница уводит в сторону от избушки. Чтобы избавиться от гнетущего чувства, я вполголоса запел.

— Э, я думал, жив ли уж, а он поет! — раздалось у меня за спиной.

— Лешак тебя возьми! Перепугал!

— Я круг дал и на старую лыжню вышел. Ты что, мои следы читаешь?

— Ага!

— Ну и как?

— Ужин, кажется, обеспечен.

— Есть!

Он снял мешок, лыжи, прилег на них. То же сделал и я. Но-

гам, обутым в оленьи тобоки, стало легче: юксы — крепления из кожаных ремней — уже не жали их.

— В избушку сейчас. Рядом она. Не удалось сегодня взять... По деревьям замахала. Но где-то тут она. В дупле скорей всего. Завтра наша будет.

— Что за кровь около сосны?

— Заметил? Пара белок в дупле жила. Я берег их. Мало в угодьях. Пусть, думаю, расплодятся. А гостья сожрала. Не прощу ей такого. Докуривай, да пойдем,— Федор привстал на колени и начал возиться с вещевым мешком.

— Лямка оборвалась,— ворчал он.— Зацепил где-то за сук.

Я и сейчас не пойму, как можно в полной темноте, при черном небе выйти напрямик к одинокой избушке, полузаметенной снегом. Мне показалось, что он снова решил дать отдых, а Федор захочотал:

— Распрягай! Приехали!

— Приехали!— повторил он и ткнул лопаткой в темноту.

Прокрипела дверь...

— Ты на меня не в обиде? Верст сорок сегодня по целику выбродили.

— Спасибо. Вытащил!..

Сидя у каменки, в которой сделано углубление для котелка, мы долго вспоминали детство, затем съели по косачу и буханку хлеба, попили чайку и снова заговорили, но уже о другом:

— Говорят, охота — дело стариков. Как считаешь?

— Какое там стариков?.. Одно — ради отдыха сходить в лес, другое — промышлять. Я вот себе напарника никак не найду. Двое тут напросились было сами, но через три дня в деревню смотались. До смерти, говорят, замучил. А одному порой скучновато, зимой особенно, когда собака бродить в снегу не может. Рад, что ты приехал. Потому и увел сразу, что боялся: погостишь в деревне да и махнешь обратно.

— Пока не прогонишь!

— Ого! Хвалился заяц!

— Посмотрим!

— А все же ваше дело еще трудней,— сказал он перед сном.— Не веришь? Сколько я в этой избе стихов написал про свои угодья, а приеду в райцентр, зайду в редакцию — пушкини не оставят. Ругаюсь про себя: мол, дураки там сидят, еловые головы. Одумаюсь — не на что обижаться! Легче десяток куниц добыть, чем песню придумать... Хочешь, почитаю?

Он долго читал мне свои стихи об охоте, о том, как ходил в гости к охотникам коми километров за сто, как радушно они

приняли его, о драгоценных шкурках, которых добыл за свою жизнь немало.

— Хорошо! — сказал я, не желая огорчать друга.

— Кривишь душой... И как это вы можете?

— Умеешь же ты зверя выслеживать?!

— Так это просто, а тут...

Я ничего не ответил. Все тело неожиданно заныло, заломило поясницу, голова стала тяжелой-тяжелой, и, засыпая, я даже не мог сказать ему: «Разбуди».

А утром Федор читал мне новые стихи о встрече со старым другом, о радости, которая поселилась в его избушке.

— Ночью сочинил! — смущенно сказал он.

## ОСЕЧКА

ДЕРЕВНЯ еще спит. Еще не мелькают в полузамерзших окнах огоньки, не мычат в теплых хлевах коровы, встречая хозяек, не горланят петухи в курятниках, оповещая о наступлении утра, а Федор уже собрался на промысел. Дома он редкий гость.

— Когда ждать? — спросила жена.

— Недельки через две, не раньше. К Белой речке подамся, в истоки.

Федор куницу ищет. Лицензии получил и, как назло, — ни одного следа. А были с осени. Куда подевались? В ельниках где-то держатся. Нелегко найти их там. Зорька выручает. За такую собаку не жалко и коровы отдать. На земле далеко чует, а когда зверек в гайно — дупло в сухом дереве — спрячется, на каждую лесину глазом косит, к ветру приюхивается.

Нет куниц. И сегодня сколько уж отмахал напрасно. Где уж тут о премии мечтать! Лишь бы на договорную сумму вытянуть, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть. Не привык Федор в хвосте плестись.

Где-то неподалеку залаяла Зорька. Охотник прислушался. По голосу собаки понял: лает не на белку. «Неужели?» — подумал он. Следов не попадалось. Он посмотрел на часы и ускорил шаг.

На след вышел быстро. «Ничего зверюшка, — радостно думал охотник. — Нашел-таки!» Он поспешил на голос Зорьки. Широкие охотничьи лыжи легко скользили по снегу, тормозя на подъемах.

Собака оказалась ближе, чем он предполагал. Федор встрепенулся: «Звук глухнуть начал. Как бы снег не повалил».

Зорька — юркая, темно-серая лайка с белым пятном на груди — увида хозяина, замолчала. Он не спеша просмотрел все следы, сделал круг, прикидывая: «Пришла — ушла. Ушла — пришла...» А Зорька глаз с него не сводит, на старую ель взлаивает, куда куница вроде бы не забегала. В сторону собаку отозвал, но она тут же снова к лесине, умоляюще на него смотрит: мол, чего тянешь...

Федор вынул из-за широкого кожаного ремня с большой медной пряжкой, какие носили еще наши деды, топор, стукнул обухом по стволу.

Зорька оказалась права: простукивалось дупло. Свалил дерево. Собака около него крутится, отверстие у самой вершины нашла. И Федор слышит, как зверек в дупле мечется, чувствует, что в западню угодил, но не хочет покидать убежища. Пришлось раскалывать ель пополам вдоль ствола. Пока пазил — проглядел. Как птица, зверек взлетел на соседнее дерево. Зорька даже не успела рта раскрыть. Но и уйти кунице она не дала — придержала на какую-то минуту. Сухо щелкнул выстрел — и забился на снегу бурый с густым пушистым мехом зверек. Легко достался. Иной раз по несколько суток следишь и ускользает, можно сказать, из рук.

Пока Федор снимал шкурку, стемнело. И тут, словно ждал этой минуты, откуда-то налетел ветер, качнулись вершины елей, стоящих на краю большого лесного оврага, закружились в воздухе хлопья снега. Уже в полной темноте охотник свалил еще одно дерево, сдвинул их вместе, разжег костер. Сухие лесины горели легко, бросая в тайгу причудливые тени, изломанные летящим сверху снегом. Поужинав прихваченной из дома провизией, Федор подсел поближе к нодье, как зовут на севере такой костер, размотал подвязки тобоков — меховых сапог, похожих на двойные чулки, легкие, удобные при ходьбе. Ногам посвободней стало. Опустил уши у шапки и задремал.

Никогда не скажешь, что ждет тебя в тайге: вернешься с добычей или пустым, невредимым или покалеченным. Сколько раз бывал Федор в когтях медведя, сколько раз считал, что оставит свою голову под елкой, и следов не сыщут после. Выкручивался. Ночевка у нодьи в метель и лютые морозы — обычное дело. Порой и просто в снежной яме — куропаточьем чуме — спиши. Без этого не обойтись. Но раз на раз не приходится. И в жизни бывают осечки. Не знал Федор, что ждет его ночью, не гадал.

Длинна зимняя ночь в печорской тайге. Пока рассветет, от сухих лесин останется горстка пепла. Федор несколько раз уже поднимался, сдвигал концы деревьев, чтобы не потух огонь, рассматривал на небо.

А снег всё падёт, падёт, крупный, липкий. Ветер, правда, заметно притих. В голове Федора крутятся какие-то отрывочные мысли. Вспоминается детство. Мать спрашивает: «Тебе тепло?» — «Хорошо, мама», — отвечает Федор. Вспомнилось, как первую куницу добыл. Это в годы войны случилось, когда Федя еще подростком был. Куниц до войны в наших лесах не водилось. Не знали, что это за зверь. Откуда-то с кряжа пришла. Когда Федор добыл, думал — соболь...

Издали послышался жалобный вой Зорьки. Что случилось? Он открыл глаза, но ничего не видел, хотел встать, но не мог. И снова выла собака, снова пытался понять, что произошло, пока не мелькнуло в полусонном сознании: «Замерзаю!» Руки не двигались. Ноги онемели. «Встать надо! Как-то встать!» Свалившись на бок, Федор с трудом перевернулся на спину, затем на живот и покатился по склону оврага вниз, где снег был плотным, держал без лыж.

Зорька каким-то собачьим чутьем догадывалась: случилось неладное. Виной всему мороз, ударивший под утро, щипнувший ее за кончик носа и пробудивший от сна.

Федор приподнялся на корточки и омертвевшими пальцами искал в кармане ватной куртки спички, нашел их, дотянулся рукой до шакши, свисавшей с низкой кривой ели, отломил несколько сухих еловых лапок. Вспыхнуло синеватое пламя. Пальцы зашевелились, что-то дрогнуло в лице охотника.

Через некоторое время, когда остатки лесин были снова сдвинуты вместе и над тайгой поплыл в морозное небо горьковатый дымок одинокого костра, Федор погладил собаку по голове, бросил ей кусок мерзлого хлеба. Она радостно завиляла хвостом.

— Спасибо, Зорька! Выручила!..

...И снова лыжня тянется в глубь леса. Собака, изредка возвращаясь к хозяину, кружит по лесу, приближаясь к Белой речке. Вот лыжня взбежала на пригорок и скрылась в ельнике. Она спешит к предгорьям. Где-то там, вдали, за синими увалами, в угрюмых распадках, среди заснеженных гор стоит маленькая избушка. В густых, еще не тронутых топором лесах, Федор найдет то, что ищет.

Тихо в тайге. Изредка залает собака, напав на след белки, над вершинами деревьев грузно пролетит глухарь, лыжня пересечет след горностая или куницы... На многие километры ни одного человеческого жилья.

Но лыжня, сделав круг, снова вернется к людям. Она проходит для того, чтобы дать им радость, показать, насколько щедра бывает тайга к тем, кто любит ее, по-хозяйски относится к ней, не боится лишений. И кто-нибудь скажет: «Легкая

жизнь у Федора, ходи себе да постреливай». Не обойтись без этого. Такие люди, как мухоморы в лесу, всегда были и будут. Где им понять, что труд промысловика — один из самых сложных и самых тяжелых. Он нужен людям. И если порой тяжело, то нам ли сетовать на это? Серьезное дело никому легко не давалось. Никому. Никогда. За что бы ни взялся, помни об этом.

## С ПРОМЫСЛОМ

ШЕЛ охотник лесом и приустал. Темно стало. Далеко до избы. Куда в такую даль идти? На елки натыкаться, о кочки спотыкаться? Дай, думает, под елкой переноочую. Привычное дело. Присел, даже костра не разводил, привалился спиной к шершавому стволу, ружье рядом на сук повесил.

Плохой день для него выдался: сколько ни бродил — пусто в лузанке. Собаки не было: капканы у него стояли, боялся, как бы не угодила вместо зверя. А тут оттепель пала, река, уже льдом покрытая, снова вскрылась, даже припайки унесло, весь снег сошел. Зверь не дурак, посмотрит на лежащий капкан, понюхает — и в сторону.

Задремал наш охотник, да случайно локтем планку предохранителя сдвинул с места у бескурковки, а ночью повернулся — ружье и выстрели. А вкроне той елки глухарь спал. Заряд и угоди в него — полетел вниз, сучья сшибая, да прямо на голову охотника! Вскочил тот, озирается, ничего спросонья не понимая: кто стреляет, откуда глухарь? Видит — ружье на земле лежит, заглянул в стволы — один патрон разряжен. Начал кое-что соображать. «Ай-да бескурковочка, ай-да ружьёцо,— говорит,— само стреляет. Хозяин спит, а оно дичину караулит». Гордо подняв голову, шел наш охотник по деревне и все, кто ни встречался с ним, говорили: «С промыслом тебя, с промыслом». Гордо шел, а не скумекал, что ружье-то могло и по-другому выпалить.

## КАК СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ

— ИДУ я как-то домой из леса, с дальних угодий выбираюсь,— рассказывал мне старый охотник Тимофей Бабиков.— Чунку за собой пру. Лямка до крови в плечо впивается, лыжами снег, как тесто, месю: оттепель пала, развезло всё. И в избе оставаться нельзя было: чуть с голоду не подох — одни сухари да масло ел.

Птица куда-то ушла, за зверем в такую погоду не пойдешь.

Плетусь, еле ноги переставляя, глаза слипаются, в ушах звон стонит. На дорогу бы, думаю, поскорей выбраться, а ее нет и нет, даже следа человеческого не вижу. Вдруг слышу знакомый голос: «Тима, откуда ты? Садись. Подвезу». Гляжу, а это мой тёзка, ижемский оленевод. Они в это время к северу ямдают\*. Удивился я, как мог следов оленевых нарт, или пороев, не заметить, а он уже упряжку завернул, вожжу за копыл привязал, кисет из-за пазухи достает. «Закурим?»— говорит. А я даже запаха табаку терпеть не могу, в роду нашем табашников не бывало. «Дымы сам,— отвечаю.— Чего с тебя, греховодника, спросишь?»

Бока у оленей ходуном ходят, из ноздрей пар валит, издалека, видать, мужик гонит.

— «Садись!»— А сам смеется на весь лес, меня за рукав шубенки к нартам тянет.— Давно не виделись. Промысел как?»

Я и присел.. Кормой об острый пенек, торчащий из-под снега, так вдарил, что в дугу согнуло, с час, наверно, от боли корчился, в себя прийти не мог, а что случилось — не пойму. Оклемался — лежу на снегу, курок ружья взведен, а кругом никого, только кукша с ветки на ветку перелетает. Не к добру, думаю, бес, наверно, меня попутал, и со злости бац по кукше, а она, как ни в чем не бывало, с елки на елку скок да скок, раскричалась на весь лес, словно смеется надо мной, и за спиной, слышу, смеется кто-то.

Всякое бывало, на медведя с ножом ходил, а тут не по себе стало. Поплелся я дальше. Поскорей бы, думаю, уйти от этого проклятого места, где нечистой силой пахнет. Зимник, по которому лес с делянок вывозили, совсем рядом оказался, сажен двести всего и не дошел. Отдохнул я у лесозаготовителей, спросил у них про оленеводов.

«Недели две, как прошли,— отвечают.— Еще до оттепели. Спешили. Весна, говорят, крутая падёт».

Да, всякое за полвека в лесу бывало, а такое впервые случилось. К доктору пошел.

«От чрезмерной усталости это, вроде беспамятства, когда желаемое за действительность принять можно,— сказал он.— Пройдет».

Какая еще чрезмерная, не знаком с ней, хотя весь век в лесу прожил. Трудно мне доктора понять, хотя я его еще вон таким знал — на моих глазах пальцем сопли подтирал. Умным вырос, ничего не скажу, хвалят люди. «Это что же, спрашиваю?»— и пальцем у виска кручу. Похоже!— смеется он, но ничего, мол,

\* Ямдают — кочуют (ненец.).

временное это явление». «Какая там усталость! — рассердился я.— Меня еще на троих таких, как ты, хватит. Какое там беспамятство, если бес попутал, если он на весь лес хохотал, в кукшу обратился. Худой ты, доктор, ничего не понимаешь, зря в академии учили». Горячусь, а он улыбается, на мой посохглядит, но с туманом в глазах. Он, Миша-то, мальчиконкой сколько со мной по лесу походил, голодное время было, хоть и не велик был, а все помощник. Я и впрямь до этого случая посоха в руки не брал, а теперь без него ни шагу. Ни в черта ни в бога не верю, но трудно примириться, что твое время ушло. Все реже стал в угodyя заглядывать, около деревни петли на ушканов ставлю — и ладно. А уж если потянет в лес, то внука с собой беру, вдвоем-то сподручней. А ведь сколько лет одинцом ходил. И все понять стараюсь, что же со мной тогда вышло? Затмение, наверно, было. Когда просят про тот случай рассказать, то думаю про себя: жизнь кончается, сказка складывается. Мне только и осталось, как внукам сказки рассказывать, сами, когда подрастут, додуют: где был, а где небылица. Полвека в лесу провел, какого зверя не промышлял, а все тянет туда. Путики-то мои уже заросли, наверно. Ась?

## ИЗБА ДЕНИСА

В. П. Носову

КУДА бы ни поехал я, вот уже много лет вожу с собой карту республики Коми. Истрапанная по углам, густо помеченная крестиками, кружками, вопросительными знаками, она мне о многом напоминает. Крестик — бывал, кружок — подолгу жил, вопрос — значит, нужно что-то узнать.

Я обещал вернуть эту карту одному из ее составителей, когда на ней не останется для меня «белых пятен», когда за каждым названием буду видеть знакомые места и живых людей — моих земляков.

Вопросительным знаком была помечена на этой карте Денисова изба по речке Тобыш. Давно хотелось узнать, кто срубил ее, кто прорубил в густом ельнике «окно», которое зовет к себе огоньком, мерцающим в темноте — непроглядной, изнуряющей мелким нудным дождиком и однообразными порывами пронизывающего до костей холодного северного ветра. А ранним утром — косачами, качающимися на ветках берез, стожком сена около избушки, какой-то своеобразной домовитостью этого глухого уголка.

Денисова изба появилась на картах уже много десятков лет назад. Трудно было предположить, что человек, срубивший ее, и поныне здравствует, что мне доведется встретиться с ним, пройти незабываемый вечер, пить горячий чай, стараясь согреться после долгого пути по реке, лежать на шкуре сохатого — традиционной постели таежников.

От избушки деда Дениса в разные стороны расходятся промысловые путики. По ним он проходил не много, не мало — восемьдесят лет.

— Мне девять было, когда с отцом сюда впервые заехал. А с десяти стал постоянно осеновать один. Всю жизнь на Тобыше провел. Лес кормилец не раз выручал. И в голодные годы удавалось концы с концами сводить, семью содержать. Разные осени бывали: за один сезон по тысяче, а то и больше белок добывал, а сколько горностая, зайца, лис, дичи! И с косолапым доводилось встречаться. А вот волка — того ни разу не добывал. Не держались тут они раньше. Да и что делать серому — снега глубоки, дорог нет, быстро живот подведет... И лис раньше меньше было. Как повырубили леса — появились и они.

Сейчас ноги у меня уже не те стали, далеко ходить не могу, а в свое время, говорят, неплохо промышлял. И сыновья по той же дорожке пошли: один рыбак, другой охотник — промысловик. И внук, Федюха, с угодьев не вылезает. Сноровка есть у мальца. Свою науку ему передаю. Может, вспомнит деда добрым словом. Охотнико дело всегда в почете, хотя и нелегкое оно. Целыми днями, а то и сутками по лесу шастаешь, зверя да птицу выискиваешь, не присядешь лишний раз. Порой и под елкой переспишь, а утром дальше, особенно, когда за куницей идешь.

Из года в год по осени хозяин этой избы на своем месте, в глухом уроцище, на берегу лесной речки, над которой шумят вершинами старые замшелые ели. Они узкой полосой тянутся вдоль реки. Вся жизнь — охотничьему промыслу отдана. Только и перерыва было, что два года с оленями проходил да в годы войны проводником был в экспедиции ботаников — водил их по верховьям Цильмы, по Пижме, Мыле, Нерице. Вершины у них сходятся.

Небольшого роста, сухонький, Денис Иванович внешне не похож на хозяина больших угодий, где его руками сделаны и расставлены сотни самоловов. А внук смеется:

— Верьте ему... Уйдет на путьк затемно и возвращается в темноте. Придешь в избу — с устатка так в сон и клонит, а он еще на утро дровишек занесет, ужин готовит. Тот еще дед у меня...

Мы это и сами заметили, когда увидели, как Денис Ивано-

вич наводит порядок на усадьбе. Слякоть, а он граблями мусор подбирает, в одном пиджаке, без шапки.

— Погода испортилась, в лесу делать нечего, так хозяйством занялся. Были тут летося на сенокосе... Убирай после них банки-склянки, захламили все — не видеть бы. Лю-ю-ди!.. — словно оправдываясь сказал он.

Валил густой снег, и в серой полумгле тревожно гоготали гуси.

— С утра пошли. Густо идут. Напрямик. Не к добру это, муки. Осень плохая будет. Снежная. Не напромышляешь...

— Да, заненастило, рановато снег повалил.

Хозяину избы, где ночевали мы, уже исполнилось девяносто. В том году на лацкане его праздничного пиджака, который он одевал лишь в особо торжественных случаях, прибавилась еще одна медаль. Народ праздновал тридцатилетие победы над фашизмом.

— Вспомнили старика,— сказал тогда дед Денис.— Не забыли...

Да и то сказать: поработал он на своем веку,— а в глазах гордость: не каждому, мол, медаль дают.

Вот и еще один вопросительный знак исчез на моей карте, состоялась еще одна непредвиденная встреча с интересным человеком, всю свою жизнь отдавшим тайге. Есть в нем что-то от арсентьевского Дерсу Узала — спокойный, ясный взгляд много повидавшего на своем веку человека, тихий разговор, желание сделать добро путнику, пришедшему к его избушке, обогреть его.

Надеюсь: первая встреча — не последняя. Верю, что и через год, и через десять лет перешагну порог его избы и снова скажу: «Утро доброе, Денис Иванович! Как здоровье?» И снова услышу: «Куда путь правишь? Садись поближе к столу, чай пить будем».

Будет у нас такая встреча. Обязательно будет!









## ОПОЙ

СОГНУТЫЙ в дугу идет по улице старик, опираясь на две палки. Опоясан поверх старенькой малицы широким ремнем, с которого свисают на медной цепочке медвежьи клыки...

Федька Опой. За девяносто перевалило. Когда-то не было крепче мужика по всей Печоре: таскал на себе такой груз, что и троим не под силу.

Вот с ним-то, Федором Гермогеновичем, и приключилась в свое время история, о которой и посейчас в селе вспоминают.

...В начале весны все охотники у нас разъезжаются по своим угодьям в заречье — весновать. Гусей бьют, уток, рыбу ловят.

Федька Опой — нехорошо так называть старого человека, но что поделаешь, если полным именем его никто не зовет,— мастак был. Утка, рассказывают, шла на него тучами. И всегда он успевал вернуться домой первым. Сейчас не трудно — моторы. Дернул раз-другой — и дома! А тогда на веслах добирались. Вода в реке сразу же, как только ледоход начнется, быстро поднимается: течение сильное. Пока доберешься — руки онемеют, километра на два снесет.

— Опой!

Прозвище это за стариком из тундры прибрело. Ненецкое слово. «Единственный» значит. А уж если пристанет прозвище к человеку — ходить с ним всю жизнь.

Единственный. Верно. Лучше охотника в наших местах не

бывало. С весновки всегда первым возвращался. Но просчитался как-то. Ему на домашний берег перебраться хотелось. Штук двести уток наколотил. «Чего их тут держать?» — думал. Вот и следил за рекой: как она? Заметил, что лед реже пошел, к вечеру его совсем не стало. Видит: можно проскочить. Сел в небольшую лодочку, налег на весла. Гребет так, что лодка носом в воду зарывается. С лица пот катит в три ручья.

Вот уже и половина пути позади. Но река у нас своенравная. Чем ближе к дому, тем чаще пришлось ему проталкиваться. Тут как нажмет. Пропал мужик. Завертело среди льдин, закрутило и понесло вниз, к морю. Сколько не бьется — нет хода. Вот-вот раздавит.

Село большое, стоит над рекой высоко и, конечно, сразу заметили лодку. Бабы на угор сбежались. Мужики, что оставались дома, тоже туда спешат. Крестятся по старой привычке. Голос слышат:

— Спасите, родичи!

В нижнем конце села течение близко подходит к берегу. Видят, не выбраться старику, погибель пришла. На выручку кинулись. Он стоит в лодке, весла бросил, бородой трясет, руками машет:

— Мужики, все отдам!.. Э-э-э!..

Столкнули на воду большую лодку. Багры схватили. Пробиваются. Кое-как выволили из беды. Но уж такой человек этот Опой. Только на берег выскоцил — забыл, что на краю могилы стоял. Подтянул ремень. Крутился.

— Налетай, пока есть. Кому уток? По пятерке штука!

Каждому хочется свежинки, а весенняя утка хороша. Быстро расхватили. Мужики покатываются со смеха, глядя, как он засаленные рублевки да трешницы за пазуху сует.

— Не растеряй! — приговаривают.

Вспомнил что-то. Задумался. Нагнулся над лодкой, где десятка три уток оставалось, самых плохих, разбитых зарядами, выбрал.

— Забирайте! По два с полтиной! За провоз скинул...

Из-за своей скучности Федор Гермогенович многое в жизни проглядел. И рад бы другим стать, но прошлое, когда каждый думал лишь о себе, в кровь и плоть его вошло. Жалко порой человека. В угодьях рачительней хозяина не бывало. Все на учет брал. Лишнего выстрела не сделает, бывало. А утка? Они — залетные. Раньше считали — не убудет.

Мы с вами в другое время живем, должны другими быть — шире на все смотреть.

## ВОДЯНОЙ

РЫБОЛОВЕЦКАЯ бригада Вавила Мокеевича — он да еще трое — все старики. О чём только они не переговорят между собой во время отдыха. Как-то при мне зашел у них разговор о водяном. Раньше, мол, наши места для него как бы главной резиденцией были. Глушь. Никто не беспокоит.

— А вы верите? — спрашивала.

Как не верить, — ответил бригадир, — если недавно в невод ульнулся. Рыбак солгать не может: от лживого человека удача в сторону бежит. Хочешь, расскажу. Старики подтвердят.

Рассказ Вавила Мокеевича и передаю для всех.

Приехали они прошлой осенью на новую тоню, к которой бригадир давно присматривался. Пока рыбзавод новый разборный домик для жилья не подкинулся, решили катагар поставить.

Катагар — это большая парусиновая палатка, со всех сторон осыпанная песком, чтобы не сквозило. Много их на косах в путину трепещется, как лебеди по утрам на песках белеют.

— Ты, Иван, за огнище берись, — сказал старший. — Мы тем временем опробуем. Кажется, задев не должно быть. Чистые берега — чистое дно.

Пока то да сё — стемнело.

Выметали старики на фарватере омулевку — тонкую капровую сеть с крупной ячейей — и плывут себе. Один конец сети, что ближе к берегу, к небольшому бакену с фонариком привязан, другой за лодку. Сеть по течению несет — и лодку тоже.

В августе дни стоят теплые, но по ночам холодновато. Осень! Не успеешь оглянуться — шуга на реке появилась. В это время, перед ледоставом, заходит в Печору крупный лосось — залом, следом за ним — омуль. Омуль?! Да, он не только в Байкале водится. Наш, карский, даже лучше, ученые это подтверждают, хотя он и не столь знаменит.

Не спешили старики: плавка-то пробная. Подальше, чем всегда, проплыли. Но когда стали выбирать сеть, семги в ней не оказалось. Нельма. Несколько сигов. А в конце омулевки было что-то громадное. Когда подтащили сеть к лодке, Вавил фонариком посветил.

— Образина! — только и сказал он.

В сеть попало неизвестно что: вместо чешуи бугры какие-то, хвост — во! Пребольшущий.

— Водяной. Беды не оберешься. Наказал-таки господь за грехи наши, — перекрестился Кондратий, вся родня которого с незапамятных времен носит прозвище «купи-продажай».

— Ну, старые, почти триста лет вместе-то прорыбачили, а водяного боимся. Вытряхнуть его обратно — и дело с концом. Давай! — И Вавил, сухонький, подвижный старичок, включил фонарик.

Вывалили. Выбрали остатки сети в лодку — и к берегу. Над костром уже вовсю шумел восьмилитровый чайник.

Иван на своей деревяшке, что служит ему уже с четырнадцатого года, быстро обворачивается. И на резвых двух не каждый за ним угонится.

— Ну, как? — спросил он.

Молчат. Только чай в кружки подливают. Забыли, что в лодке рыба лежит, первая в эту путину, в мешках кое-что припасено ради этого случая.

— Тоню менять надо, — наконец, проговорил Николай из рода Богатыревых.

У этого старика полрайона — свои. Настоящая его фамилия Чуркин, но весь род их зовут — Богатыревы. За свои семьдесят лет он еще ни разу не хворал, при виде пилюль морщится, будто не сосед их глотает, а ему какую-то кислятину поднесли. Позавидуешь такому здоровью. Да и то сказать, есть где ему уместиться: плечи у деда Николая — косая сажень, ростом чуть ли не два метра. Редко таких земля рожает.

— Менять надо. Облюбовал он это место. Снова попадет, — повторил Николай.

— Мы ему плохого не сделали, — возразил бригадир. — Яму сменит. Не бойся. Рыбу нам нагонит.

— Зря отпустили. Надо бы в котел его. Попробовать! Может, лучше семги. Нет, так на пароход стащить: там не разбирают, что за рыба, — проговорил Кондратий, перед тем слазивший в катагар. Лицо его раскраснелось, глаза сузились, бороденка задергалась. «Мяса-то сколько», — и он пошевелил пальцами, подсчитывая потерянные барыши.

Иван, подбрасывая сучья в костер, посмеивался.

Решили еще раз тоню опробовать.

Около полуночи в одну сплавку больше десятка лососей ударило в сеть. Знал бригадир, где метать.

Схитрил Мокеич насчет водяного. Все, кроме Кондратия, знали — это сибирский осетр. Их недавно переселили в Печору. Растут быстро. Только почему-то в низовья спускаются. Не по нраву река приилась? Выхода ищут? Ничего! Привыкнут. Непреститься начнут. Глядишь, свои балыки заимеем, не хуже астраханских.

## БЕРЕЗКА

МЫ СОБРАЛИСЬ на рыбалку. Когда скатили на воду лодку, вспомнили: просилась одна девушка, обещали взять.

— Нескладно получилось,— сказал я.— Далеко живет?

Тамара Абрамовская, медсестра районной больницы, бросив в лодку удочку и сумку с продуктами, ответила:

— Сбегаю. На краю дом.

Быстро обернулась. Гляжу, вдвоем по откосу наперегонки несутся.

Тамара, длинная худощавая, впереди, а за ней та, которую поджидали, недавно из училища — небольшого ростика, в мужском пиджаке и сапогах с чужой ноги, явно не по росту.

Реной ее звать. Поглядел я на нее и подумал: «Куда тебе с нами. Наплачемся. Комаров — тучи. Ночью холодно будет. Ниши распустишь. В городе, знать, под маменькиным крыльышком жила».

Но делать было нечего. Раз обещали взять, надо взять.

Лодка, огибая носки, медленно ползла вдоль едомы — домашнего берега. Когда стали реку переезжать, снесло чуть ли не на километр. Упарился я.

— Перекур! — рассмеялась Тамара.

Этой можно довериться. Не в первый раз за весла садится.

— Давай!.. — говорю.

Тамара с мужем и на уток ходит, и гусей на лету сшибает и зайцев зимой из ружья бьет. А про рыбалку и вспоминать нечего. Хлебом Тамару не корми, только счастливое место покажи.

— А я? — Рена даже привстала на скамейке, вспыхнула от возмущения.

— Успеете!

Лодка приткнулась к берегу. Бросили якорь в кусты. Я взял топорик, отправился искать удилище. Далеко ходить не надо: вдоль лугов — непроходимые заросли черемухи, рябины, ивы. Тут можно сотню удилищ вырезать, и не скажется — даже пользы принесешь.

Вода на озерах большая. «Не жди хорошего клева,— думалось мне.— Рановато. Мелочь разве какая возьмет».

Так и оказалось. Выташили пару подъязков с палец величиной. Подержал я их в руках, сменил леску, вместо крючка якорек привязал и начал щук на живца манить. Остальные рыболовы по виске, речушке, вытекающей из озера в реку, — разбрелись. Тяну живца, а сам на Рену поглядываю. Любопытно мне, как у нее дела пойдут. Сначала около мыска удочку забросила, где течение посильней. Потом сменила место — около затоплен-

ногу куста остановилась. Не шевельнется. Голову платком от комаров укутала, пиджак наглоухо застегнула, подпоясалась какой-то веревочкой. Мужичок с ноготок!.. Только рукавиц не хватает. Ладонью по глазам водит: то ли от комаров, то ли от солнца защищается, не поймешь. Так место выбрала, что тень на воду не падает. Смекнула!.. Время в самый раз — зорька начинается.

Засмотрелся я на девчонку и не заметил, как прозевал щуку. Гляжу: поплавка нет. Дернул. Только из воды вылетела — и обратно. Досада меня взяла. Хорошо, что живец на якорьке остался. Снова вдоль берега тяну. Жадность щуки всем известна по две-трети лески оборвет и снова на живца кидается. И тут не утерпела — забилась вскоре на якорьке. Килограмма на полтора щучка.

В это время слышу отчаянный крик. Рена ко мне бежит. В руках ее бьется что-то огромное, следом удилище по земле волокется.

— Помогите отцепить! — кричит она.

Язя вытащила. Толстомордый, буйный, он бьет хвостом по ее рукам, вот-вот выскочит.

Взялся я за леску — язь тут же на землю упал и к воде. Удочка-то на мелочь рассчитана. Как она умудрилась вытащить его — не знаю. И время не то. Обычно крупные язи летом берут, по «сухой» воде и не на земляного червя, а на хлеб или миногу.

Всего каких-то полшага осталось, когда Рена упала на рыбину, удержала ее обеими руками. Поднимается, луг-то еще не просох, трава чуть пробиваться начинает, ил грязный. Не то что пиджак, все лицо испачкала, даже русая прядка волос, что вылезла из-под платка — в грязи. Про руки и говорить нечего.

Вздохнула и давай ладони в воде полоскать. А сама на щуку оглядывается, что лежит на траве.

— Ничего щучка?

...Вдоль протоки смех разносится, кто-то на лодке переезжает через озеро, кричат друг другу: «Как?» «Клюет?»

Рена не слушает, таскает себе подъязков да плотву. Несколько окушков выдернула. Только забросит — клевок. Я походил, походил с живцом и присоединился к ней. Вода холоднющая, щука еще на глуби держится.

Дело лучше пошло. Подлещик, окунь — и началось. Повеселее на душе стало. Но заглянул в сумку и глаза скосил: когда она успела еще язенка вытащить? Хотел спросить было, но в это время лодка подъехала, охи да ахи разнеслись, рыба в разные стороны разбежалась от шума.

Костер разожгли. Тамара стала шкери́ть рыбу, я дров натаскал и прилег около костра, ожида, когда щерба поспеет.

Кто нашей щербы не пивал, тот не знает, что такое настоящая рыбалка. Над костром ведро висит. В нем рыба, икра, жир. Остается перчику подбавить и лавровый лист для аромата бросить. Черпай кружкой и пей на здоровье. Мало — еще черпни.

Целое ведро было, а управились за какие-то минуты. Даже из прихваченной провизии ничего не осталось. Не хочется домой возвращаться, так бы и сидел всю ночь, но Тамаре с Реной рано утром на работу.

— Кто это пузыри пускал? — спрашивает меня Рена.

— Вон у того куста. Вечером.

— Да? Значит, язи кормились. Может, поздней и лещи пошли.

— Я, выходит, прямо в рот им червяка кидала?

— Выходит — так. А мы и не заметили.

Тамара идет впереди и делает вид, что не слышит нашего разговора. Опростоволосилась она в этот раз.

— Кто вам такую форму спривил?

Застеснялась Рена, улыбнулась.

— Хозяйка! — отвечает. — Я хотела в одном платьице ехать и босоножках.

Вниз по реке плыть легко. Не одну песню спели, пока подъехали к дому. На домашнюю уху, ясное дело, все везли. Но я был недоволен.

«Вот тебе и «кнопка». Всех нас обставила. Такую можно взять в «артель» и без предварительного испытания. И, чего греха таить, я с восхищением глядел на почти незнакомую девушку, на ее лицо, искусанное комарами, на ладони, к которым прилипла рыбья чешуя.

Приехали в село под утро, но на улицах было полно народу. В это время северяне спят мало. Весенние работы закончились, а летние еще не начинались. Солнце круглые сутки в окна заглядывает, на улицу зовет. Старики на завалинки присаживаются, бороды поглаживают. Ребята с гармонью по селу ходят, на «горку» людей созывают. Девушки вытаскивают из сундуков старинные, писаные золотом сарафаны, кашемировые платки, туфли «лодочкой» по самой последней моде — изделия фабрики «Скороход», — вместо тонких шелковых поясков, что раньше носили, блестящими поясами с пряжками из пластмассы стан обтягивают. Все к центру тянутся. В клуб никто не заглядывает. Заведующая клубом перенесла агитмассовую работу на улицу. Песни поют, пляшут, частушками перебрасываются — вот это и есть «горка» — весенний праздник.

Рена шла по селу с гордо поднятой головой, с кривым удилицем на плече, с тяжелой сумкой в руках, стуча по досчатому тротуару стоптанными каблуками кирзовых сапог.

Я пожалел, что нам не встретился главный врач. Как рассказывают сестры, он частенько покрививает на нее; то не так, другое не так... Не знаю, в чем причина, вообще-то он парень вежливый. Скорей всего... Сказал бы да боюсь — в самую точку попаду, обидится еще, что чужую тайну выдал, о которой весь район знает.

Не мешало бы ему увидеть, как раскланиваются с Реной люди, по имени-отчеству величают, спрашивают, как порыбачила. По сердцу, знать, пришлась она моим землякам.

На другой день я увидел рыбачку около больницы. Она разговаривала о чем-то с подружками, разводя руками, смеясь, не замечая, как посматривают на нее ребята из аэропорта.

— Как поташу! — услышал я. — Бьется! Помогите! — кричу.

«Э, да она вчерашнее вспоминает».

Я замедлил шаг. Может, и не ново, но эта девушка была так похожа на березку. В зеленом платьице, голубом газовом платке, белых туфельках на высоких каблуках, она выделялась среди подруг не броской, но неповторимой красотой.

Она напомнила мне бывальщину, которую не раз слыхал в родных местах.

Дуб, ель и береза поспорили однажды, кто из них дальше на север пройдет. Дуб, уверенный в своих силах, снисходительно посмеиваясь, вперед рванулся, но на полпути был сломан вьюгой. Ель тоже вскоре сдала. А береза до самого моря дошла и корни там пустила среди камней и льда. Качает ее ветрами, к земле снегом пригибает, но чуть весна — новые побеги зазеленили. И откуда у нее столько силы?

Подумалось мне: а не такие ли березки махали нам руками-ветками, когда мы покидали родные края, не зная, что ждет нас в пути? Какими-то они стали, те березки?

После двух-трех выездов девчата, с которыми жила Рена, взмолились:

— Не езди больше. Закормила. В клуб некогда сходить — чисти твою рыбу. Смотреть на нее не хотим.

А мы ездили. Дело, конечно, не в уловах. Хорошо отдохнуть в заречье. На полузатопленных лугах плещется рыба, над озером кружат чайки, проносятся табуны уток, просят пить кулики. «Вода в ведре! Вода в ведре!» — твердит на всю округу самый беспокойный из них. Ищут они это ведро, невдомек им, что озеро рядом.

## ЦЕЛИННИКИ

НАЧИНАТЬ всегда трудно, особенно когда в незнакомые места попадешь. Нашему новоселу досталось: он был всего лишь скворец. Такой же, как и все остальные. Но в то же время совсем не такой. Этот скворушка первым в лесотундре залетел, прижился тут, детьми обзавелся...

Хотя и любят скворцы в незнакомые места заглядывать, но, знать, не под силу им было раньше до Полярного круга добраться. Да и что им тут делать? Они поля любят, а тут не поля, а скудные пашенки лоскутами среди чахлого ельничка раскиданы. Хлебов здесь не сеют, лишь многолетние травы для скота выращивают да еще картошку для себя. С одной стороны поселка — болота непролазные, с другой — холодные берега реки, где осенью день и ночь бьются о крёж серые волны, острова, на которых растет ивняк. Везде весна, а тут еще снега вовсю лежат, вьюги метут. Когда ледоход начинается, льды прямо через острова прут, а в соседних деревнях — по улицам. Люди по несколько дней, как зайцы, на крышах отсиживаются, коров на чердаки заводят.

Зато летом тут весело: кругом тракторы таращат, косилки стрекочут. И птицы всякой полно, лишь скворцов до этого не видали.

Как-то утром Арно Шенберг, поселковый врач, вышел на крыльцо полюбоваться солнцем и руками всплеснул. Сколько лет в Медвежке живет, а такого не видывал: скворец на изгороди сидит. Арно человек добрый, любит поговорить, рассказать что-нибудь интересное. Если что и добавит порой, люди не обижаются. Они знают: это от полноты чувств, от желания повеселить соседа. А тут и подавно.

Несколько дней доктор, принимая больных, радостно повторял:

— Скворцы прилетели! Не верите? Поглядите,— и занавеску на окне пошире раздвигал.

За окном, на шестах посреди огорода, у него уже скворечни висели.

— Две пары?

— Две скворчихи... А скворец один!

По-разному люди судили. Одним показалось: это случайные скворцы, не приживутся. Кое-кто о потеплении климата речь вел.

— Ученые, мол, утверждают: лес на север движется. Каждый

год по восемь километров топ-топ! К старости будем как бы в средней полосе жить, не меняя места.

И Арно в такое верит.

Но сколько ни живем тут: все те болота кругом, куда люди за морошкой ходят, те же пески, где ивняк растет.

Как бы там ни было, а доктор по утрам все поглядывал в окно: не прилетел ли еще один? Нет, так и не появился.

Скворчихи между тем все реже показывались из своих оконек. Вскоре птенчики появились.

Попробуй прокорми две семьи. Скворец про песни забыл. Снует туда-сюда, то муху тащит, то червяка, то гусеницу. Пыхудел. Перья топорщатся. Крылья обвисли. И ласковое, не знающее сна солнце его не радует.

Видит Арно: плохи дела, помочь надо новоселам. Сбросил он однажды халат, натянул на плечи поношенный пиджак, лопату взял и давай червей копать.

Столб на огороде поставил, на нем подобие столика сделал. Скворушка сразу же догадался, кому все это предназначено — тут же и столоваться стал, и на дом обеды брать.

Так и прожил лето. Осенью, когда бригады стали с лугов возвращаться, около больницы уже стайка скворцов перелетала с места на место. Особенно полюбилась им окраина болота. Рассыплются между черными кочками, и как будто не было их. Смотришь — снова взлетели, о чем-то переговариваются между собой.

Перед отлетом они долго кружили над поселком, словно прощались.

Всю зиму Арно волновался: вернутся или нет? Прилетели! Теперь уже и мальчишки взялись за молотки, гвозди, доски, пилки. Начали для них домики строить. Немало квартир потребовалось для новоселов.

Арно, покачивая головой, прикрыв глаза от яркого солнца широкой ладонью, нет-нет да и скажет:

— Обжились!..

Больные тоже часто подолгу смотрят на скворечники. Не сразу поймешь, что блестит над их оконечками. А это доктор вырезал из белой жести серебряные кружки и прибил их к первым двум домикам. Как будто медалью скворцов наградил! Не знаю, как он ее назвал. Может, — «За освоение целинных земель», а может, — «За отвагу».

С прилетом скворцов и поселок стал меняться, словно только их и не хватало.

Под окнами домов березки появились, осинки листвой звенят. Чтобы их ветром не сломало, Арно обвязал стволы бинтом, к ко-

лышкам прикрепил: приживаются, крепкие корни пустили. А сам доктор, который все на юг собирался, уже не вспоминает об отъезде, по вечерам все чаще украинские песни поет, чего за ним раньше не наблюдалось.

## КОНЕЦ СЕВЕРНЫХ ДЖУНГЛЕЙ

РАНЬШЕ я часто бывал здесь по делам службы, а еще больше любил заглянуть сюда осенью, когда птица собирается к отлету. Сколько ее тут осенью — шум кругом стоит. Все больше нырки — чернеть, космари, красноголовые, голубаны. Лучше этих мест для утиной охоты и не приснится. Озер вокруг множество. Вольготно птице живется перед отлетом на юг.

Они, эти озера, мне надолго запомнятся.

Вышел я как-то из соседнего поселка в Харьягу, разбежались глаза на уток, что по осошинам жиরуют, и забрел, как говорится, туда, куда и Макар телят не гонял. Под ногами слой ветоши — старой травы — как подушка лежит. Нетронутые пожни. Не прикасалась к ним кося. А за пожнями непроглядные заросли черемухи и ивняка. Ползком сквозь них не проползешь, не то что пройти. Спохватился, когда солнце уже закатилось. Влево, вроде, свернуть нужно, чаща непролазная — наши северные джунгли. Только вместо лиан тут лозняк растет. Одно остается — прямо топать. Выведут ли куда-нибудь эти узенькие поженки. Вернуться? Найду ли дорогу обратно? Да и далеко ушагал.

Костер разжег. Тоскливо одному в незнакомых местах. Еле-еле дождался рассвета. Только через сутки увидел крылья ветряка — стоит в Харьяге для зарядки аккумуляторов на радиостанции. Увидеть-то увидел, а дорогу к нему еще до полдня искал — озера не перепрыгнешь. Выбрался к сенокосному стану. Голоса услышал. Косилка где-то в стороне работает. Кто-то на лошадь во всю мочь ругается. Не любитель я бранных слов, но тут обрадовался, как будто кто в гости позвал. Людей я так и не увидел: за протокой оказались.

В Харьяге у меня друг живет. Вместе когда-то на флоте служили. Он после ухода в запас механизатором стал и осел тут...

— Ты так мог за тридевять земель уйти. Конца нашим калтусам нет, — сказал он. — Поосторожней надо. Не долго сгинуть.

А у меня перед глазами трава в рост человека колышется.

— Сколько сена, — говорю, — пропадет.

— Знаем, но что делать. Косилку туда не завезешь. Мосты везде не понастроишь. Уносит их в половодье. Вручную? Где столько людей наберешь. Вырубить бы эти калтусы, расчистить да на машины пустить. Каждый год луга прибавляем, но много ли одним бульдозером сделаешь.

Двух лет с тех пор не прошло. Не жил я дома в это время. Как только вернулся, другу письмо написал: мол, неплохо бы встретиться под осень, побродить, у костра посидеть.

— Приезжай,— отвечает.

А телефон у них необычный, без проводов связь держат. Радиорелайной связью называется. На ультракоротких волнах действует. И до чего же эти УКВ удобны. Сколько лет мучались без связи. Телефонной линии здесь не проведешь — весной все столбы льдом выворотят.

У меня свободного времени было предостаточно. Ружьишко прихватил, спиннинг — и поехал. Приезжаю — знакомых мест не узнаю. Помню: тут непролазный ивняк был, а вижу кошенину — толстым слоем на земле лежит. Неподалеку от нее тракторная косилка звенит. Рабочие стога мечут.

— Мой напарник. Я во вторую смену иду,— сказал друг.

— Ты мне лучше толком расскажи, когда успели столько земли освоить.

— Э-э-э! Это лишь кусочек,— посмеивается он.— Четыреста гектаров за зиму прибрали к рукам. Понял?

— Откуда столько техники взяли?

— Три бульдозера поработали. Один из них — твой кореш.

— Вам же пять лет нужно для такой работы.

— А про гербициды слыхал?

Краем уха я слышал, что на расчистке новых лугов начали применять химические препараты. Слыхал, и все же не верил, что можно столько сделать за одну зиму.

— У нас полторы тысячи гектаров кустарников обработано химикатами. Зимой снова за расчистку возьмемся.

— Сколько же сена снимут и какого? Луга-то заливные, целинные.

— Летом опыляем, зимой раскорчевываем бульдозерами. Ты вон на те кусты погляди. Не веришь — рукой пощупай.

Прикоснулся я рукой к толстой ивине, а она тут же рухнула и распалась на мелкие кусочки, пыль столбом поднялась. А друг мне на «Антона» показывает, что над зарослями кружит, над самыми верхушками деревьев, чуть покачивая крыльями плывет. За ним белая полоса тянется.

— В самолете бак стоит. Гербициды разводят с водой — и опыляют этим раствором. Два раза за лето.

— А птица как?

— Нашел о чем беспокоиться. Утки еще больше стало. Она открытые места любит. Правда, подбираться потруднее, да на то мы и охотники.

Кружит АН-2, неутомимый работяга северного неба, над вершинами ив, а я думаю: вот и конец пришел нашим северным джунглям, откуда все комариное племя начало берет. Мне чуточку жаль, что уже не вздрагивать от таинственных шорохов в чаще темной ночью, не гадать, в какой стороне поселок находится. Это, наверно, привычка оказывается. Я люблю забираться в такие уголки, где, кажется, не бывало человека. Жалко ребятам и радостно одновременно: сколько пользы эти земли человеку принесут.

Не то жалко, что заповедные для уток места другими стали, а везде успеть хочется, ко всему руки приложить. И понимаешь: невозможно.

Каждый из нас своим делом занят. А все вместе мы не только горы своротим, как раньше говорили, реки вспять повернем, но и на других планетах побываем.

Где мы там — «Честь труду!»

## МАГНИТНЫЙ КИБАС

ОБ ЭТОЙ рыбе слыхали все, но не все ее пробовали. Царственной нашу семужку истари зовут. Печорская семга не чета другим, мясо у нее не розовое, а бурое от жира, морем пахнет, во рту тает. И как только кто-нибудь едет из города в наши низовые края, то друзья обязательно просят: «Ты там постараися, хотя бы кусочек...»

Еще не оскудили печорские тони, еще богаты они красной рыбой, и ловят ее уже не по старинке, не тягловыми неводами, не омулевками, а в ящики ставных неводов. Она туда сама заходит. И уже не слышно поговорки: «Лишня тонька — лишняя рыбка». Теперь на доярах — больших моторных лодках выезжают рыбаки в определенные часы на осмотр ставных неводов, а на моей памяти спешили на веслах прибыть к тоне пораньше других, вернуться домой попозже, когда полуночник над водой потянет, белых баражков начнет подгонять. Самая крупная сёмга — залом, ее еще «козимой» зовут — на ямах зимует, идет на нерест осенью. Погода в это время обычно не радует, и когда,

бывало, ловишь, то не знаешь, выпадет тебе удача или не выпадет — как в погребе, ничего не видно.

Одного из моих сверстников, имя его называть не буду, Кибасом прозвали. Я долго гадал, с чего бы это к нему пристало такое прозвище. Сёмужку-то теперь только в низовьях разрешено ловить гослову, а выше по реке запрет на нее, чтобы стадо сохранить, увеличить его. Но другие породы рыб в какой-то мере брать разрешается. Кроме сёмги у нас водятся чир, сиг, омуль, пелянь, нельма, зельдь, нагиш, как у нас зовут снетка.

При одном упоминании об этих рыбах слюнки текут. Еще не оскудили тони, хотя и заметно меньше рыбы стало, но, как и раньше, стоит большого труда добыть ее.

Река капризна. Там, где вчера было ровное дно и глубина, сегодня образовалась песчаная коса, заструги. Кибасья омулевки — грузила, иначе говоря, — скользят по гребням заструг, а рыба остается в углублениях. Станешь вынимать омулевку из воды — пусто. И ветер много значит — с одним рыба к берегу подходит, с другим — ложится на дно ям и дремлет там. Идет она тоже по-разному: омуль — верхом, бьет в сеть у самых поплавков, сиг — о дно. Настоящий рыбак не станет понапрасну силы и время тратить, воду через омулевку цедить. Омуль пошел — лишние поплавки привяжет к верхней тетиве, чтоб верхом сеть шла, сиг — кибасьев добавит, чтоб сеть тихо ползла по самому дну.

Мой сверстник и сосед больше за нижней тетивой следит — то прибавит кибасьев, то убавит. И всегда с богатым уловом возвращается. Поговаривают в деревне старухи, будто он колдовством занимается, магнитный кибасок имеет, который рыбку к себе притягивает, вот и прозвали мужика Кибасом.

В наше время кто поверит в колдовство. Секрет его удачи в умении, в наблюдательности, в знаниях, которые годами копятся, в каждом деле нужны, и само собой — труд. Вот и спросишь порой: «Любишь обсасывать сёмужки мыски, а на веслах ограбил каменны носки?» Сёмужка, лежащая тонкими ломтиками на тарелке, хороша, да выловить ее не просто. И теперь лица рыбаков дождь, ветер, снег секут, руки сводят от холода, лодки то и дело черпают забортную воду, а кругом белые барашки волн друг с другом бодаются, друг друга подгоняют.

## СТАРИНЩИК

М. И. Чупрову

ВЕЛИКА Печора. На склонах Урала берет она свое начало и сквозь густые, непроходимые леса и тундры пробивает себе дорогу к Студеному морю, куда наши деды сплавляли по весне на рыбачких карбасах и возвращались домой лишь поздней осенью, перед ледоставом. Среди них обязательно был «певун», скрашивающий их досуг. Во время долгой дороги — моторов тогда не знали и за сотни километров добирались до родных деревень на парусах и веслах,— пел старинщик о пустых, без строеньица берегах, где не было ни двора, ни лачуги, как все лето рыбаки жили «в лодочках, во суденышках, пиши, ели, отдыхали тут», где для них была и спаленка, и столовая, и горница, где «все нужное обрабатывали, а рыбу засаливали».

Вилась канительно речь старинщика, и кто постарше был, тот вспоминал молодость, а юные, безусые, в первый раз на путь сходившие, молча слушали.

От кого я впервые услышал бывальщину? Чей голос запал в душу на всю жизнь? Не старого ли рыбака из низовой деревушки, где мне посчастливилось босиком бегать по обкатанной штормами гальке, повидавшем на своем веку много разного, много лямок от тяжелых неводов из грубой дели о плечи повытершего? Трудно вспомнить. Бывальщина чаще всего из рук в руки по наследству как бы передается, общего в них много, имя автора чаще всего остается неизвестным. Но в деревнях наших знают наперечет всех «певунов».

Он все такой же неугомон, мой старый знакомый. По воскресеньям любит пройти по улице в распахнутом пиджаке, из-под которого видна затейливыми узорами вышитая косоворотка, в писанных яркими цветами пижемских чулках до колен и блестящих калошах. Другой обуви в праздничные дни, он, как и раньше, не признает. Все такой же, может, лишь морщин на лице прибавилось, но они скрыты под густой, будто усыпанной солью, бороде, расчесанной надвое самодельным костяным гребешком. Из-под лохматых, похожих на снопы перезрелого ячменя бровей, синеют улыбчивые глаза.

— Откуль взялся, божонай, аль стариков своих навестить приехал? — говорит Михайло, встретив меня на улице, присаживаясь на штабель окоренных сосновых бревен, пахнувших лесом, смолой.

— Расстраивается деревня, — отвечаю, — несколько подделываясь под его певучий говорок.

— Как-но, бат, не худо, чай, живем. Внуки растут. Как без новых домов. Раньше приезжих на фатеру пускали, а нонь и са-мим тесно... Только вот осеновать я уже на тони не езжу: стар, ослабел, на печку тянет, а было времячко...

«В карбасе мелкий дождичек — умывка,  
Красно солнышко — обсушка,  
В лодке варбище — обогрева,  
Бочки с рыбой — тесова кровать,  
Сетки с кибасами — изголовьице».

Брали рыбу еще на нашей памяти не хитростью, не мудростию, никаких ихтиологов не знали, на свою силу да удачу надеялись, заметывая невода в губе. На сёмужьих тонях в воде приходилось порой по грудь стоять, ночей не досыпать, и днем для отдыха времени не доставало: ночь шла за белый день, день за тёмную ночь.

В низовьях Печоры, где уже и деревья не растут, лишь чахлые кустарники жмутся к земле да, словно хлопья, чайки, сулящие непогоду, белеют на песках, не раз сиживал я за большим, из толстых необструганных плах, столом, брал руками с деревянного противня круто посыпанную солью рыбу и запивал наваристой щербой. А когда кончался ужин, поздней ночью, мы садились вокруг старинщика и слушали его бывальщину:

Пел старик о том, как они руки день и ночь мозолили, плечи веревками кровавили, когда ловили

«...рыбу белую —  
сигов печорских непуганых,  
омулей морских икрянистых,  
 нельму жирную, самолучшую,  
рыбу сёмгу — рыбу красную».

Давно уже не строят в наших селах карбасов, забыты паруса, а материал, из которых шились они, на катагары — палатки для сенокосчиков — идет. Редко кто теперь за весла возьмется, на моторах все. По-иному жизнь пошла, к земле руки приложили. На привольных пастбищах пасутся стада коров-холмогорок, отары овец-мериносов — полутонкорунных, печорских, каждая из которых весом чуть ли не с оленя. Поля кругом, а на них овощи, кормовые смеси, картофель. Рыбацкие бригады перешли на зельдевики — легкие капроновые поплавки с мелкой ячейй и ловят ими не в губе, а на Барашках, Сиговцах, Колотухах, Крестовых тонях. Семгу, «царскую рыбу», лишь на перегородке, что установлена в соседнем с нами Ненецком округе, берут. Все изменилось. И берега печорские не те:

«Тут живем мы по-домашнему.  
Мчатся лодочки скороходные.  
Не дают рыбе портиться.  
Доставляют ее скоро-наскоро  
На те ли пункты на приемные,  
Ко ледникам-то ко холодным,  
Ко засольщикам-то ученым  
И обработчикам-то толковым.  
Они обрабатывают, засаливают,  
Сами рыбу замораживают».

Михайло Иваныч сложил когда-то эту бывальщину, что и сегодня звучит в ушах, или кто другой, трудно вспомнить. На каждом огнище был свой старинщик, на каждом карбасе. И все они — Лагейские, Поздеевы, Чупровы слышали и знали рыбачку из низовой деревушки Маремьяну Голубкову, на всю страну запевшую:

«Мать-Печорушка — всем рекам — река,  
Мать-Печорушка — золотое дно».

Северяне тонко чувствуют певучее слово, разносят его по всем деревням и становищам, из рода в род передают старины, как бесценный дар.

Сидим на штабеле бревен, ведем неторопливый разговор о житье-бытье деревенском. По реке проносятся «ракеты», тянут плоты буксиры, как лебедь, проплывает мимо теплоходик местной линии. А над головой гудят моторы «Илов».

— В прежние-то времена, — говорит Михайло, прищурясь, — Москва от нас далече была. Дружок у меня, еще свойственником приходится, съездил туда, так его на всю жизнЬ «москви-чом» прозвали. А ионь, глянь, старухи и те, едрио корень, в Ялту, в Сочи летают, все омоложиваются, здоровье, бают, беречь надо. Оно, конечно, так, да я про себя думаю: сиди, старик, на месте, если с тебя песок посыпался, гоношись сколько можешь по хозяйству — дольше проживешь. В мороз и на печку не грех забраться, кости прогреть, а вставать с петухами надо. Так жизнЬ устроена. Солнышко не особо греет, но ласково, вон сколько дён не закатывается. А ионешнее лето — чистое светопреставление было — жара невозможная. Туманы по утрам непроглядны. Днем тепло, как в Крыму аль на Кавказе. Может, Север югом обернется? Што там учёные люди бают?

В глазах у Михайлы то радостная приветливость, то настороженность, как у строгого судьи, то вопрос, словно в сердце твое заглянуть хочет. Доволен старый, что деревня расстраивается, из распадка домá на взгорок выскочили, оттуда далеко видать,

и дома теперь строят по-новому — светлые, просторные, с ве-рандами, в палисадниках шумят листвой березы, алеют гроздья рябины. Доволен, что новую школу-восьмилетку отгрохали, где их правнуки учиться станут. О себе он мог бы сказать: «Ни од-ного дня за партой не сидел». Собирали их родители, умеющие лишь крест вместо фамилии на бумаге поставить при надобно-сти, водили к старухам-богомолкам, чтобы читать-писать научи-ли, в арифметике кумекали, а платили за это опять же «кто ры-бой-мясом, кто деньгами, каждый — чем может».

— Я не жалуюсь, — рассказывал как-то Михайло, сидя у ко-стра на тоне, поздним вечером, когда в небе горели яркие звезды, а северная сторона его словно пожаром была охвачена — первые сполохи играли. — Стары ли книги, новы ли, читать, грешным делом, люблю и могу, сосчитать чо-ле тоже. И газетку по утрам в руки беру, хотя через очки на нее смотрю, сарафан-ная-то почта надоедает, она ведь и знает только, кто женился, кто развелся, кто умер, кого в армию взяли, кто замуж собира-ется, кто с женой поссорился, кого директор совхоза строго-на-строго предупредил за «белую головку».

В его больших, узловатых, покрытых густым волосом, цвета темнеющего серебра, руках районная газета кажется листком, вырванным из школьной тетради. Все ему знать хочется и жал-кует старый, что память затемнять стала — те бывальщины, что на тонах певал, забывать стал, а новые не складываются: оста-релшибко.

— Верно ли бают: мол, соседи-ижемцы с песнями в заграницу собираются? Приглашение, бают, получили оттуда.

— Был такой разговор.

— Бывальщик-то у них никто не поет. Эх, годков с десяток бы скинуть, — вздохнул он и неожиданно предложил: — Пойдем чай пить. Старуха меня заждалась. За осьмушкой в сельмаг по-слала. Ей, вишь ли, индийский подавай, другого знать не хочет. Привередливы стали наши старухи.

Вскоре мы уже сидим за столом в ярко освещенной горнице, со стен которой глядят на нас бравый солдат первой мировой — сам Михайло, молодая женщина в сарафане с множеством цепочек на груди и вышитом серебром кокошнике — его жена, парни в пилотках — сыновья их, погибшие в войну, совсем моло-дой парнишка — мой ровесник... На фото в больших застеклен-ных рамках — вся родословная Чупровых.

— Лёньку-то знаешь? Аспирантуру окончил. Кандидатом наук стал. Аспирантура-то вроде академии? Не пойму я чего-то — ведь в академии он уже учился. Выше, значит, пошел. И жена тоже. Кандидат. Вон глянь на фотку, каки баски у них

детки. Сергей тот — в зооветеринарном, практику у нас в отделении проходил. Наталья — в педучилище. Это внучата. Все к труду приучены.

И снова начинается долгий разговор о путях-дорогах людских, в конце которого, перевернув чашку кверху дном, что означает «спасибо, хватит», я снова начинаю расспрашивать о старинах.

— Где ле по застолью, еще, бат, поют старики, перед ведут, а им артелью все помогают. У молодых-то другой настрой, они больше под гитару да под акардион, да еще пластинки в клубе крутят, пианина появилась. Да и мы забывать старины стали.

В это время по радио объявляют: «Выступает самодеятельный хор районного Дома культуры». Из репродуктора льётся:

«Печора, Печора, родная река,  
Красивы твои берега...»

— Запевало у них добрый, так и тянет поддеть,— говорит Михайло, поглаживая бороду, и снимает с полки книгу «Песни Печоры».

— Из Ленинграда прислали. В подарок. Тут и мои записи есть. Виши, как оно обернулось-то. Всё Владимир Иванович,— добавил он.— Сколько по нашим местам поездил, происходил.

Так мы вспомнили про Малышева, собирателя печорской старины: которого тут любили и знали все, от мала до велика.

«Печора, Печора, родная река,  
Привольны твои берега».

О новой жизни края будут сложены и новые песни, а самая главная о человеке, что считает нашу низовую сторонку, дождями омытую, выругами обласканную, снегами засыпанную, лучшей на земле.

## ПОКЛОН ТИМЫ ГРОМА

С ПАЛУБЫ уходить не хочется. Я смотрю на бурые сопки, желтые пески, сиреневые гривы низкорослого кустарника, на лебедей, плавающих у берега, на рыбацкую лодку, что приближается к нам. Кормщик, видно по всему, бывалый дядя. Он умело держит лодку против ветра, не дает захлестнуть волной.

Моряна дует. Рыбу в сети гонит.

Лодка уже подходит к катеру. Он остановился далековато от берега из-за песчаных отмелей, где сесть, значит, застрять

до тех пор, пока не стащат буксиры. Песком днище присасывает намертво. Неожиданно для себя узнаю в кормщике Тиму Грому, как зовут в тундре Тимофея Семенова, старого охотника. Когдато давным-давно, лет тридцать назад, высокий, с шапкой густых черных волос и острыми, как у птицы, глазами, заехал он сюда на промысел песца да так и остался в тундре.

Где только не жил Тимофей. И у Югорского шара, и на островах Долгом, Варандзе, пока, наконец, не состарился, не выбрал себе местечко, не зажил, как в сказке, со своей старухой у самого синего моря.

Я гостил у них не раз. Избушка (вернее маленький домик) с крыльцом, оленьими рогами на крыше, как положено в доме настоящего охотника, стоит на берегу шара — большой речной протоки, вдоль которой густо разросся тальник.

— Ты откудова, старый друг? — воскликнул Тимофей, обнимая меня. — Давно не виделись. Куда едешь? Что правишь?

Я был в отпуске, и просто захотелось проехать по тем местам, где жил, бывало, посмотреть на студеное море, послушать голоса птиц, улетающих на юг.

Узнав об этом, Семенов — все такой же порывистый, горячий, как и раньше, хотя волосы его заметно поредели за последние годы, походка тяжелой стала, — схватил меня за рукав куртки:

— Не отпуши! Старуху обидишь!..

Отказываться было бесполезно, да и не все ли равно, где сходить на берег? Я взял свой старенький чемодан с протертymi до дыр углами и махнул капитану рукой.

Еще с катера, издали, увидел: от избушки Тимофея ровной цепочкой, похожие друг на друга, как близнецы, протянулись вдоль шара новые дома. Оказалось, оленеводческий колхоз «Харп» создал тут свою базу. Дома привезли готовыми из города. За одну весну поселок вырос.

Радиомачты. Моторные лодки. Рыбацкие сети. Непохоже на ненецкое стойбище.

— Всем занимаемся, — поняв меня, сказал Тимофей. — Зимой песца промышляем, рыбу ловим, даже коров развели, луга расчистили по берегам. Если кормов не хватает — не горюем. Коровы у нас прекрасно навагу едят. В олены стада смену наступают на вертолетах развозим...

Акулина Яковлевна, еще не утратившая былой красоты, стройная, тонкая, в платке, по-печорски перехваченном двумя узлами, скрестив руки, стояла, поджиная нас, на прилоге. Узнав меня, она всплеснула руками.

— А я-то думаю, кого старик в гости везет! Кто к нам пожаловал!

Долго просидели мы в тот вечер. Нам было что вспомнить. Не один год на охотничьих станциях вместе прожили. Тима Гром научил меня, в то время мальчишку, многому: песцов капканами ловить, места для засидки на гусей выбирать...

Утром чуть свет хозяйка разбудила мужа строгим окликом:

— Умел гулять — нечего бока пролеживать!

Заметив, что и я приподнял голову, она махнула рукой: мол, спи, тебя это не касается.

«Опять проштрафился Тима», — подумалось. Надо сказать, горазд он на выдумки, в свое время о нем сотни историй, одна смешней другой по тундре бродили.

Оказалось, дня два назад уехал Тима на рыбоприемный пункт, а попал в город, километров на сто дальше.

«Проглядел!» — оправдывался он.

«Не заговаривай зубы, деньги давай!»

Побrанилась Акулина Яковлевна, да что со старого возьмешь: денег не воротишь, поколотить — сляжет, да и жалко мужика. Один выход — снова рыбу ловить, пока охотничий сезон не открылся. Вот и торопит: мол, сетки давно не смотрены. Один раз всего за неделю трясли.

— И меня возьмите! — прошу.

— Гостю отдыхать положено, но коли охота — едем!

Сетки стоят на озерах, за шаром. Вокруг нас — пологие холмы. Под ногами похрустывает ягель. Листва с кустарников уже осыпалась, и ветер, кружка, уносит ее к югу. Местами кусты очищаны. На мху следы широких копыт.

— Лоси бродят. Сейчас с оленями в одном стаде часто пасутся. Столько лет в тундре прожил, а не видел такого.

Тут же на кочках виднеются желтенькие заячьи «колобки», их мы порой вместо пыжей употребляем.

— Много ушкана сей год, — продолжает Семенов начатый разговор. — Вот в том кусту живет один все лето...

Не успел Тимофей досказать, как из тальника выскоцил здоровенный беляк, меняющий летнюю шубку на зимнюю, под цвет снега. Тима Гром по-мальчишески свистнул.

Беляк вытянулся столбиком, повел ушами и сиганул через холмик. Только мы его и видели.

Старик засмеялся:

— Бывало, в деревне друг на друга с кольями в праздники кидались. Разнимать приходилось. Как свистну — пусто на улице. За это и прозвали Громом.

На берегу озера лежала опрокинутая на бок лодка. Мы столкнули ее и поехали вдоль кустов, где были расставлены сетки.

Вода чиста, и видно, как в ячеях белеют крупные пеляди, иные исклеваны чайками. Разбойницы кружатся тут же, пикируя на нас по несколько штук разом.

«И-и! И-и-и!» — Только и слышно в воздухе.

С высоты им озеро до дна видать. Рыбы в сетях много, а взять могут лишь ту, что у верхней тетивы ударила. Вот и клянчат подачки.

«И-и! И-и-и!»

На одной из проток, которыми так богата тундра, впереди нас неожиданно выскочил из осоки зверек, похожий на крысу, но чуть побольше. Почувствовав опасность, он скрылся в воде.

«Ондрат? — подумал я. — Откуда ей взяться здесь?»

Об этом зверьке, завезенном к нам из Америки, мне уже довелось слыхать, но встречать не приходилось.

— Новосел! — показав пальцем на осоку, сказал Семенов. — Там у них что-то вроде хат понастроено. Не знаю, откудова взялись. Поблизости не выпускали. Полно на озерах. Сначала запрет был, а теперь промысел разрешили. Я в прошлом году больше сотни шкурок сдал, да старуха столько же.

— Его на родине болотным кроликом зовут, — заметил я.

— Может и так. Я у американцев не гостевал, — усмехнулся Тима. — А шуба у него теплая. Воды не боится, не то что холода. Озера-то все до дна промерзают. Около берега селится, как выдра, — подо льдом. Ни ветер там не берет, ни мороз. Плодится быстро. Ты вот скажи, мил человек, — продолжил Семенов, — кто надумал к нам, извини за выражение, эту крысу поселить?

Не смог я на вопрос ответить.

— Я вот к чему. — Семенов приподнялся, положил весло поверх лодки. Нас тащило ветром. — Ты в городе живешь. Если узнаешь того человека, поклон ему передай от Тимы Грома. Башковитый мужик! Адрес узнаешь — напиши. Я ему в подарок шапку пришлю — износа не будет. Да еще песца в придачу старухе на воротник положу. Ведь у него, наверно, тоже старуха есть? Пользительный этот... как его... кролик для нас. Озера-то пустовали. Вроде, как целину освоили таперича. Серой рыбы — окуня, сороги, подъязков — тут прорва. Никто не ловит. Так что большой беды нет, если сколько-то на пропитание этому кролику уйдет.

Высматрев сетки, мы подъехали к небольшой сопочке, где стояли покрытые брезентом бочки. Втроем тут же взялись шкериать рыбу, мыть и укладывать в бочку ровными рядами, густо посыпая солью. Килограммов пятьдесят пеляди вынули. Напе-

вая вполголоса песню о море, о парусе, о ягодинке, ждущей на берегу. Тимофей наглухо забил посудину и вытер руки о полу старого плаща.

Темнело. Посоветовались и решили добираться к дому. Неподалеку шумела река. Волны белели за перешейком и, казалось, вот-вот хлынут на нас.

— С моря вода пришла! — Акулина Яковлевна посмотрела в сторону, где глухо бились волны, и добавила: «Как-то на тонях? На озерах-то ведь только старики, вроде нас с Тимой, ловят...»

И снова мы просидели до полуночи. Семеновы расспрашивали меня о Пижме, о земляках, интересовались, как трудодень в колхозах. А потом запели, а я слушал, стараясь не пропустить ни одного слова. Тимофей начинал, Акулина подхватывала. Два голоса, как две волны, один за другим бежали к берегу, разбивались о камни и откатывались обратно в море, замирая вдали, чтобы поскорее вернуться назад. Третьим голосом была старая спутница Тимофея — гармонь. Она то смеялась, то плакала, то звала куда-то, то просила подождать. Устав за день, я быстро уснул. А когда проснулся, то увидел перед кроватью не сутулого, не седого, а того Тиму Грома, которого знал раньше. Растигая меха гармони, он отплясывал камаринского. И как раньше — в исподней рубахе, в кальсонах, поверх которых разными цветами играли «писаные» пижемские чулки, вынутые из сундука. Грудь колесом, голова запрокинута, пальцы бегают по клавишам с неимоверной быстротой.

— Ты на него не смотри! — сказала Акулина Яковлевна. — Чудит все. Промышлять пойдет — тогда не до гулянки. Я особо и не ругаюсь. Так — для отвода глаз.

— Что, плохо пляшу? Сколько тебя учил! Э-э-э! Во как надо! — И Тимофей отбил такую дробь, что стены домика задрожали.

Сколько же в тебе задора, дорогой Тима Гром, сколько нерастраченных сил! Редко такого на земле встретишь. Акулина верно сказала — во время промысла не до гулянки. Мороз. Снег. Ветер. Дни короткие, а капканы на десятки километров расставлены. Не каждый выдержит. Поклон твой я постараюсь передать...

...Всем вам, и малым, и старым, хозяевам родной земли, низкий поклон от бывалого человека Тимы Грома.

## БЕРЕЖНИЧИЕ

СОЛНЦЕ закатилось. Прощальный луч его скользнул по реке, ударился о крутой заречный берег и, казалось, разбился, как стекло, на мелкие разноцветные кусочки. С низовьев налетел ветер, поднял на воде рябь, и тоже исчез. Наступила тишина. Изредка на тоню доносится из деревни лай собак.

Высокий, худощавый, с черной щетиной на лице — некогда побриться даже — с широкими насупленными бровями, из-под которых улыбаются усталые глаза, отец одной рукой придерживает руль, направляя лодку в реку, а другой выкидывает верхнюю тетиву невода.

Я мечу кибасья. Раньше они делались из бересты: вырезаешь круг, сгибаешь его пополам, вкладываешь в середину камень, прошиваешь по бокам гибкими молодыми корнями, привязываешь к неводу. Такие грузила были прочными, но доставляли много хлопот, путаясь в сетях. Намного удобней кольца из толстой проволоки — и сеть ровней по дну идет, и выбирать невод сподручнее — как за ручку держишься.

Вечера короткие. Солнце только закатилось, и уже начинает темнеть. Лодка плавно плывет по течению. Но чаще я бережничаю — на берегу остаюсь, придерживая сеть за «ушки», чтобы не так течением сносило. Это сложное дело. Не каждому можно доверить. Если течение сильное, то невод с такой быстротой прет вниз, что брезентовая лямка до боли в плечо впивается, а когда выбираешь невод, веревка ладони до крови натирает. Тут уже не зевай. Отпустишь невод подальше в реку, не сумеешь вовремя справиться с ним — рыба около берега пройдет. Слишком быстро подтянешь — с глубины ее не прихватишь.

— «Уши» подтяни! — несется с реки бас отца.

Знаю, что не свои уши подтянуть надо, а у сети. Так называется веревка, соединяющая обе тетивы. Перестарался немножко, отпустил сеть подальше, чем требовалось, и невод поплыл треугольником.

— Слыши.

Лодка повернула к берегу. Отец спешит приткнуть ее к пескам.

— Выбирай! — машет он мне рукой.

Упираюсь пятками в песок, начинаю подтягивать сеть, бера обе тетивы сразу, чтобы нижняя была чуть покороче. Сверху река гладкой кажется, а на дне заструг полно, ям. И если нижнюю тетиву не сделать покороче, то рыба может проскочить под невод. Хитрая она. Особенно семга. Сколько раз видел, как

лососи плахами лежат у самого берега, даже хвостами не шевельнут, но чуть прозевал, чуть приподнял невод — как вдарят, только брызги в разные стороны летят.

Из воды показались поплавки матицы — большого мелкоячейного мешка в середине невода. Все ближе к берегу... Не дождаясь, что скажет отец, привязываю невод за кол, подтягиваю голенища бахил, беру в руки весло и начинаю хлестать им во все стороны, чтобы поднять как можно больше шума.

— Ботай крепче! — подбадривает отец, чувствуя, как рыба бьется в матице.

Тишины как будто не бывало. Крупные сиги, белея в темноте, бьются в мешке, деться им некуда — и вскоре на песке трепещется живое серебро.

В самом конце матицы неподвижно лежит что-то черное. Когда вытряхнули рыбину на песок, то при свете фонарика увидели, что вместо чешуи у нее бугры какие-то, хвост громадный, а нос, как игла...

— А ты зачем влез? — спросил отец. — Не терпится в котел угодить? Рановато. Подрасти еще.

Он осторожно взял рыбину за жабры и выпустил обратно в реку. Это был сибирский осетр, один из тех, что недавно выпущены в Печору, и начинают расселяться по всей реке. Улов оказался богатым. В застругах скопился сиг — и нос лодки быстро наполнился рыбой.

Посвежело. На все пуговицы застегиваю брезентовую куртку.

— Не устал? — спрашивает отец.

— Нет! — и собираю веревку, наматывая ее кольцами на согнутый локоть. Перевязав петлей и прополоскав в воде, бросаю ее в лодку.

Можно и домой. С низовьев ударили парной ветер, и о смоленные борта заплескались волны. В курье недовольно прокрякали острохвосты и тут же взлетели, рассекая воздух упругими крыльями. Глухо зашумел ивняк, сплошные заросли которого тянутся вдоль песков. Промигали на фарватере огни парохода, ведущего громадный плот. И со всех сторон раздалось гудение моторов. Это рыбаки покидали тони.

— Крутани-ка, сын! Не заводится что-то у меня мотор, — сказал отец и оттолкнул лодку от берега.

Я дернул стартер подвесного мотора, дал ему прогреться на малых оборотах и повернул лодку в сторону деревни. Волна уже начала белеть. Лодку подкидывает. Отец, сидя в корме, молча курит...

И летом, и поздней осенью на серебристых песках Нижней Печоры можно видеть подростков, которых в бригаде называют

главными рыбаками. Объясняется это просто: тот, кто с детства умеет делать малое, справится и с трудным. Из бережничих вырастают будущие капитаны, метальщики неводов, штурманы. Сколько нас ушло с родных, не особенно ласковых песков в жизнь, у которой так много разных дорог. Чтобы выбрать себе главную, надо знать, на что ты годен, какие силы в тебе заложены. Вы поняли меня, ребята? Будьте добрыми бережничими, и ваше от вас не уйдет.









## КОРМИЛИЦА

В КАРМАНЕ старенькой фуфайки — три патрона, за плечами мальчишки — день ходьбы по болотинам. Заморозки еще не ударили. Выводки прячутся в густой траве. Никакими силами не заставишь их подняться на крыло. Если и взлетит, то неожиданно. Только «ф-р-р-р!» разнесется кругом. А стрельнуть хочется.

Выйдя на поля, мальчишка увидел на живые пичугу. Серенькая, с желтой грудкой, она, попискивая, искала что-то. Не утерпел — сдвинул на затылок шапочку, чтобы не мешала целиться — выстрелил.

Приклад ударил в плечо. Ружье чуть не выскочило из рук. Стрелок прикусил язык. «Так и надо — не высовывайся!»

Не заметил мальчишка, что старый Митрич, ремонтирующий прасла для сушки ячменя, грозит ему кулаком. Когда увидел его, уже гремело:

— Мешала тебе птаха?!

— Попад!

— Я тебе дам «попад»! Стервец! И чему вас в школе учат? — взбеленился старик.

Вокруг них, на поле стояли золотистые суслоны ячменя, который в ту осень дал богатый урожай. Радости было! Скупая на отдачу северная земля словно поняла, как туто приходится людям в войну, и поддержала их.

Маленький, сухонький старичок с клочковатой бородкой при-

сел на кучу сосновых жердей. Положив топор на колени, свернул «коzью ножку» из самосада, от запаха которого можно было опьянеть.

— Зарыть птаху надо. Сколько хлеба она спасла, а ты... Чем стреляешь-то?

— Свинец рублю, когда нет его — проволоку или гвозди.

— Ружье испортишь. Отец вернется — даст жару. Крутое! — Старик, закрыв ладонью дуло, показал ему круглый рубец — верный признак хорошего, кучного боя. — Заходи, мужик, вечерком. Дроболейку смастерим. В амбаре поищем. Может, найдем мало-мало што: промышляли мы раньше с сыном и птицу, и зверя. Ружье-то большевато для тебя. Почисти его да на стену повесь. Я свое дам. В самый раз оно тебе будет. И на охоту свожу.

— Ну что расселся?! — буркнул Митрич, уже отходя сердцем. — Боишься, матери скажу? Брысь!..

Когда ударили заморозки, дичь вылетела из калтусов на бор, старик повел меня — это я был, тот самый мальчишка, теперь-то уже можно признаться, — в свои угодья. Силья на птицу ставили, с лайкой охотились. В тот голодный год понял я, насколько щедра к нам родная земля.

Годы прошли, но все так же, широкими от удивления мальчишескими глазами, смотрю я на родную землю, дивясь ее богатствам, и все чаще думаю: не обидел ли ее чем-нибудь?

## В ПОЛЕ ПОРА

— ЗАВТРА пахать начнем. Тепло пало. Кормилица наша оттаяла, — Митрич сидел на табуретке в кухне, сняв с головы старую с оторванными ушами шапку, покашливая, поглаживая редкую бороденку. — Мать-то как, мужик?

— Все так же.

— От беды беды не ищут. Робить надо!..

Ночью мне не спалось. Открыл окно на кухне, сел на отцовское место около окна. Пахло прелью и почему-то камфорой. Показалось, я не дома, а в коридоре больницы. Мимо идут женщины в белых халатах, молчаливые, строгие: спешат куда-то. Посмотрят в мою сторону и отвернутся. Потом вдруг жареным мясом запахло. Все закружилось перед глазами. А когда я пришел в себя, было тихо-тихо. Сестренки крепко спали под овчин-

ным одеялом. Откуда-то из-за леса залетел в окно теплый-теплый ветер.

Наутро я пришел в школу только на первый урок. Вырезал перочинным ножиком на парте «Здесь учился...» И число поставил.

Случайно эта парта сохранилась в школьном сарае. Спустя год я увидел ее, стер пыль и как бы заново пережил то время. А тогда учитель посмотрел на мое «художество», хотел что-то сказать, но круто повернулся на костылях к доске.

— Так на чем же остановились? — спросил он.

А в перерыв положил руку на мое плечо, в глаза заглянул.

— Значит, уходишь?

Все было продумано ночью, за которую я стал намного старше: трое нас оставалось.

Он был хорошим человеком, наш учитель. В первые дни войны добровольцем ушел на фронт, а воевать не пришлось: по дороге разбомбили немцы их эшелон, и вернулся человек калекой.

Бросив сумку с учебниками под кровать, отломив от скучного пайка ржаную корку и запив ее водой, я пошел к Митричу.

Старик пахал неподалеку от деревни, на холме, откуда давно сбежали снега, и земля успела подсохнуть.

Гнедой мерин медленно шел по борозде, таща плуг.

— А я уже думал, не придешь, — Митрич заулыбался. — Загон уже начал. Тянет потихоньку Гнедко. Так, глядишь, и вспашем.

Сухие узловатые пальцы старика ловко приподнимали плуг, когда лемех натыкался на кусок льда. Вачеги — суконные рукавицы — он повесил на изгородь, там же сбросил много раз латаную телогрейку и ремень, привезенный еще с первой мировой.

— Только зажили, — проговорил Митрич. — Трактор заимели. Где он теперь? Для фронта забрали. Лучших лошадей тоже армии отдали. Сколько беды окаянный фашист принес. Но ничего, не в первый раз с германцем тягаться. Наши ему разберут зубы. Хвастать — не косить. Фашист хотя и силен, да хвастлив не в меру.

Я слышу его голос, гляжу в синее-синее небо на береговушек. Когда они прилететь успели? Вот и весна. А мать в больнице. Хорошо, соседка за сестренками приглядывает. Трое нас дома осталось. Я старший. Мне семью кормить надо.

— Отпусти узду-то. Позалогуем. Солнышко уже за полдень перевалило. Не тужи, мужик. Все наладится, — говорит Митрич. — И мать справится, и отец вернется жив-здоров. И с севом

во время управимся: когда все за дело возьмутся — снег загорится.

Мы пашем. И верится мне, что все плохое пройдет, забудется, а доброе с нами останется.

За плугом черными рядами лежат пластины рыхлой, готовой к севу земли. На нее надежда. Сам не оплошай, позабочься о ней, а кормилица-земля не подведет, выручит.

## ПИСЬМА

ТУГО пришлось нам в ту весну. С трудом посеяли. А как только закончили пахоту, перевезли мы с Митричем Гнедка в заречье. В большой лодке. На веслах. Пока реку переезжали, он спокойно стоял, только косил взглядом по сторонам. Знать, и его бросало в дрожь: мутная, вышедшая из берегов река бурно несла свои воды к морю, размывая песчаные косогоры. А как только подъезжать стали к островку, поднял Гнедко хмуро опущенную голову, тряхнул редкой от старости гривой, хвостом махнул и заржал — не узнать его. Понял лошадиным умом: на зелень идет, кончилась долгая, полуголодная, как у людей, зима, когда сено на граммы считали. Только сняли узду, ступил на песок, ударил ему в ноздри запах зелени, и унесся от нас Гнедко тяжелым галопом на другой конец островка, скрылся в ивняке.

— До сенокоса отдохнет, а там в косилку запряжем,— Митрич бросил уздечку в нос лодки и оттолкнул корму.— Поехали, ребята.

Мы налегли на весла.

А вечером, прихватив чернильницу-неразливайку и ручку с пером «86», я иду к Митричу.

«Неразливайка» стоит в центре стола, ручка лежит рядом. Поверх клеенки газета постелена. Передо мной тетрадка в клеточку. Аккуратно отрываю листок и начинаю писать:

«Здравствуй, дорогой сын Макар Дмитриевич! Кланяются тебе твои родители — папаша Митрий Иванович и мать Евдокия Ивановна...»

Дальше идут поклоны от родни. Они занимают полстраницы. Подумав, старик добавит: «Живем хорошо. О нас не кручинься. Мы дома. Мать на ферме. Лучшая всё. Я тоже не из последних в колхозе».

— Рука у тебя легкая,— скажет Митрич, когда я прочитаю ему написанное.— Ответ сразу приходит. Посиди еще чуток. Струха скоро вернется. Чайку попьем.

Придет Ивановна с фермы, посмотрит, как мы письмо в треугольник запечатываем, всплакнет украдкой за печкой и деревянное блюдо на стол поставит. А на нем серебристые картохи лежат. Любит Ивановна угощать, да на стол поставить нечего. Картохи — и то для торжественного случая бережет.

Письма от Макара приходили все реже. Только и осталось в доме, что желтая от времени фотография крепкого парня в военной гимнастерке, да через год похоронная пришла. И сегодня не знают, где сложил голову сын Митрича.

— Писарем станешь. Вон как грамоте обучен,— говорит мне Митрич на прощанье.— В сельсовете работу дадут, а то и выше. Писарем быть — не землю пахать. С портфелем станешь ходить, указания давать, нас небось позабудешь.

— Не забуду, дедо.

— Все теперь в грамотеи лезут. Ну-ну!.. Война скоро кончится. Кишка у фашистов тонка. А жизнь прожить — не поле перейти. Нам в могилу собираясь, а вам расти. Жизнь-то, парень, хорошая подходит. Только вот проклятый фашист сунулся, беду нам принес. Как думаешь, Макарушка-то где?

По слухам, всех наших под Ленинград отправили. Там где-то воюют. В деревне только и разговоров, что об этом городе. С ним у нас многое связано. Из рода в род молодые ребята во флот идут. И на «Потемкине» были наши, и на «Авроре». И Героев уже в эту войну успели получить. Все моряки: у воды живем.

— Пастушить пойдешь со мной? — спросил меня однажды старик.— Напарника нет. До сенокоса!..

— Возьмешь? — я задохнулся от радости.

— Пригляделся к тебе. Выйдет из тебя пастух. Вроде бы немудрено кнутом щелкать, да тоже и в этом деле надо свою науку пройти. Не каждому доверять можно...

Нет весточек от солдата, а мы все пишем ему, все деревенские новости выкладываем, все ждем, когда ответит.

## ГОЛОС ДЕТСТВА

НА СЫПУЧЕМ желтом песке, за которым раскинулись заливные пойменные луга, стоит большая изба. Зимой она пустует. Лишь ветер свистит под крышей и стучит концом оторванной лесины. А как только скатится вешняя вода с лугов, обнажатся пески, в кустах ивняка за избой и вдоль бесчисленных озерин появится зелень, приткнется к песку катер — старенький, с ободранными бортами, с карабасом на буксире.

Изба оживет и словно помолодеет. Кажется, что в ней все половицы запели, двери поскрипывают как-то весело, совсем не так, как раньше, в окнах солнца полно, будто его на карте привезли.

К вечеру избы не узнать. Она словно меньше стала. Плиту кто-то уже успел побелить. Длинный низкий стол, стоящий вдоль передней стены, выскоблен ножом и промыт с мылом; над нарами, у стен, поднялись крыши катагаров: от комаров без них никакой дымокур не спасет.

Около избы целыми днями горит костер, над ним висят котелки, чайники. А на песке блестят под яркими лучами незакатного солнца дюоралюминиевые фляги. Утром и днем они сушат свои бока, а вечером исчезают с берега.

В шесть вечера я пригоняю стадо с поскотины на песок. Неспеша, пережевывая жвачку, мыча, выходят из кустов коровы. Гляди, сколько их тут. Пестрые. Черные. Белые. В центре стада, потряхивая кольцом, продетым через расширенные ноздри, важно шествует хозяин — бык черной маски с белым пятном на груди и над выпуклой толстой шеей, колючими глазками.

Я стараюсь держаться подальше от него. Еще неизвестно, кто хозяин стада: я или он. Кто знает, что придет в голову этому толстощему, вои как копытами песок роет, шею нагнул... Вдруг кинется?

А доярки спокойно берут в руки маленькие скамеечки, ведра и подсаживаются к коровам. Слышины голоса:

— Майка сегодня добро подоила...

— Подержи Красулю за рога. Никак не привыкнет. Беда с ней прямо.

Это Ивановна говорит. Она за какие-то недели осунулась. На лице морщины пролегли.

Коровы помахивают хвостами, отгоняя назойливых комаров. Стадо чувствует себя на песке спокойно. Легкий ветерок с моря принес прохладу. Вот овода появляется, тогда трудно будет удержать коров на месте: жалят они, не дают покоя животным ни на поскотине, ни на отдыхе.

А после дойки Митрич натягивает на старческие плечи плащ, набрасывает на голову сетку от комаров, берется за поводья. Пощелкивая по крупу Гнедка ивовым прутом, он начинает расшевеливать стадо.

— Ну-ну! Ну-у-у! — слышится его голос. — Полежали. Хватит.

Позванивают колокольчики, привязанные к шеям наиболее беспокойных коров, которых часто приходится искать. На песке снова остаются только следы копыт, ведущие на поскотину.

Кажется, чего проще, помахивай хворостинкой — и делу конец, а непросто быть пастухом.

Загони коров в душную летнюю ночь в кусты — ничего от них не получишь. Гнус заставит животных перебегать с места на место. В такую ночь поближе к реке, на открытых веретиях. И смотри, чтоб поскотина равномерно стравливалась. А погони стадо по выгону, выпопчет скот траву — до осени голая земля под ногами.

Стадо уже скрылось за пригорком, а около избы идет неторопливый разговор:

— Получше сейгод...

— Весна пораньше...

Нес той ли поры, не с тех ли дней я полюбил эту землю?

Изба уже покосилась, скоро на слом пойдет. Рядом с ней недавно вырос новый дом для доярок. Моторы на реке гудят. Но по-прежнему горит над рекой костер. Приду порой сюда, послушаю разговор о будущем сенокосе, о карбамиде, о дрожжевании кормов, чего раньше нам и не снилось. А покидая пески, долго буду думать о тех, кто кормит и поит нас. И еще не раз послышится мне белой ночью мычание коров и хрипловатый голос: «Ну, ну, пошевеливайся». Это голос Митрича, голос моего детства.

### «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

ВЫСОКАЯ гора, Гарево, Ильинка, Верховская, Новожиловская — имена ясные. В них вся родословная деревень. А та, в которой я рос, откуда начало берет?

Старый мост через ручей: по одну сторону Конахино, по другую Чукчино. Первое понятно. Кона, значит, Кондратий поселился тут когда-то, от него и пошла деревня. А Чукчино? Мне все хотелось узнать, откуда такое странное имя?

И занесло меня как-то на Удору, что по другую сторону Тимана лежит, на Мезень, родную сестру нашей Пижмы. Поздней осенью это было. Мы на машине по лесной дороге ехали. Шофер вдруг затормозил и выскоцил из кабинны с ружьем в руках.

— Случилось что-нибудь? — спросил я попутчика.

— Чукчи! — ответит он по-коми.

Так вот оно что. Перед глазами встал маленький домик, стоящий над рекой, высокие ели на сельском кладбище. На эти ели поздней осенью вылетали из леса глухари. Они часто сидели

и на телеграфных столбах вдоль дороги, ведущей в соседние деревни. Сколько мы, мальчишки, побегали за ними.

«Чукчи» по-коми — глухарь. Через нашу деревню, знать, летели осенью птицы на юг. Выходит, что и первые поселенцы говорили на двух языках. Это не мешало им жить в дружбе и согласии, как и нам сегодня.

— Бур асыв! — говорит мой сосед.

— Доброе утро! — отвечаю.

## ПОПУТЧИК

— СБЕГАЙ на ручей за водой,— скажет мать, и мне приятно слышать ее «сбегай». Ведра в руки, шапка на затылок — и одна нога дома, а другая уже за порогом.

Стоит хлопнуть калитке, как рядом, с большого камня, лежащего в овраге, донесется: «Чак-чак-чак-чак!» Остановлюсь на секунду, гляну, как приседает и кланяется мне чекан.

Вот он взмахнул крыльшками и перелетел на поленницу, что была поставлена в половодье рядом с домом, потом на крышу бани, которая чудом уцелела в паводок, тросом пришлось за столб привязывать, чтоб не унесла.

Так он провожает меня до ручья и обратно каждый раз.

«Чак-чак, чак-чак-чак-чак!» А я уже воды в ведро ковшом начерпал и в ручей загляделся. В крохотном омутке рыбки плавают. Какие же они малюсенькие! И сам ручей мелкий. Неужели это я их в литровой банке держал, ловил их снятой с себя сатиновой рубашкой? Кажется, кто-то другой был, а не я...

Не ручей обмелел, а мы выросли. Потому и дороже с каждым годом мамино «сбегай», что, став взрослыми, нам порой хочется хотя бы на минуту вернуть детство.

— Принес? — скажет мать, а я жду, что добавит: — «Сбегай, поиграй!» Но мама уже давно бабушка, и говорит это не нам.

Только чеккан, или рячкун, как его у нас зовут, провожает меня за водой, все так же приседает и кланяется мне, словно просит не подходить к камню, под которым у него гнездо.

## ДОЛИНА ДРУЗЕЙ

ВО ВРЕМЯ половодья часть обрыва сползла к реке, и чуть выше карниза, за которым начинались поля, изрытые вешними ручьями, образовалась терраса. Еще не спала вода в реке, а на

месте оползня уже набирали силу ползучие побеги мать-и-мачехи, выбрасывая к солнцу венчики желтых цветов. Рядом с ними кучками, словно кто кидал семена горстями, поднялись тонкие стебли ромашек и еще зеленые головки дикого белого клевера. Летом ложбина густо заросла травой, словно всегда было так.

В детстве мы часто бывали здесь, и не помню, кто назвал этот уголок Долиной друзей. Лучше не придумаешь.

Во время ледохода и много дней спустя у нас бывает холодно. Говорят, черемуха виновата: не может осыпать цвета без сиверка — холодного ветра, залетающего к нам с моря. Простое совпадение — это льды в океане начинают таять, вот и образуется ветер.

Долину друзей облетает стороной. К тому же нас отсюда не видно, мы можем часами, не боясь, что позовут домой, наблюдать за ледоходом.

С шумом и треском несутся мимо нас ледяные поля, ломая друг друга, вспахивая каменистый берег.

Дня через два после начала ледохода от этих полей останутся отдельные льдины, которые станут рассыпаться, как стекло.

Сидим, смотрим на реку и не можем решить, чьи проруби мимо пронесло. Их у нас зимой ёлками огораживают, чтобы снегом не заносило и ветер не так бил в лицо, когда женщины белье полошут.

— Гаревские!

Деревушка у нас такая есть. Вокруг нее когда-то давно был страшный лесной пожар. Потом гари заросли малинником и стали постоянной квартирой Топтыгиных — больших лакомок. Давно новый лес вырос, а деревушка с той поры так и зовется Гарево.

— Нет, конахинские!

— Конахино — тоже деревушка. Кондратий, значит, какой-то первым поселился, Кона.

Пока спорили, мимо проплыл кусок зимней лесовозной дороги и тут же раскололся на части. Откуда-то лес понесло. Сотни бревен уже выкинуло на берег. Еще больше протащило вниз. Значит, на каком-то участке прорыв, людей не хватило, не сумели сберечь древесину.

— Нерицкие! — утверждает самый ярый спорщик Гриша Самолет. — Б-б-ревна нес-сет!

И сами видим: прав. Ближе, как в Нерице, лесоучастка нет. Оттуда льдом выкинуло. Очистилась, значит, речка. А на Печоре еще не меньше недели будет шуметь ледоход, образовываться заторы, вода начнет подниматься бешено, смотри, как бы деревни в низовьях не затопило.

— Лодка, ребята!

И снова гадаем, успеют перехватить в селе или нет.

Видим, как около пристани женщины пытаются зацепить баграми ее корму, но неудачно: далековато.

Мы бы лучше управились, но не пускают нас матери к реке без догляда, не разрешают самим даже бревна вытаскивать. А хорошо бы прыгнуть на льдину, проплыть на ней несколько метров и потом с помощью багра выскоочить на берег.

— Детство!..

Вчера я снова пришел в Долину друзей и подумал: где они, мои сверстники? Разлетелись, как птицы, в разные края.

Посмотрел вокруг и с удивлением заметил, что уголок уже совсем не тот. Черемуха откуда-то взялась. Рябинка на ветру качается. Березки первой листвой шелестят. Склоны берега малинником заросли. В траве земляника зреет.

Прилег на траву, сложил ладони треугольником и кричу:

— Где вы, ребята?

Еще не успело откликнуться эхо, как снизу, с берега, донеслось дружное:

— Мы здесь!..

Оказалось, мальчишки со старой баржи донками ершей ловят.

— Как, рыбаки, дела?

— Худо! Вода прибывает...

Цепляясь руками за кусты ольшаника, измазав колени, они тут же поднялись ко мне.

Шустрый смуглый мальчишка с хитроватыми глазами напоминал мне Гришу Самолета. Бродит где-то мой сверстник по тайге с партией геологов, таскает на спине радиометр, руды ищет.

Мы выросли, а детство осталось тут, в этой маленькой, защищенной от холодных ветров долине.

— Дайте-ка и мне метнуть на счастье!

Беру донку, размахиваюсь, кидаю грузило на глубину. Сажусь вместе с мальчишками на борт баржи, которая скоро пойдет на дрова и металлом, болтаю ногами над быстрым течением, от которого кружится голова, и жду. Но почему-то не клует. Знать, мое рыбакское счастье к ним перешло, к этим чумазым сорванцам с лугомелиоративной станции, чей поселок недавно вырос на угоре. А может, его унесло в океан, как осколки зимней дороги?

Где-то в заречье, в сосновом бору, закукувала кукушка. Справлюсь ее:

— Сколько еще мне?

И сбиваюсь со счета. Повторить не прошу: и того, что насчитала, хватит.

— Где вы, ребята? Откликнитесь!

Но, знать, далеко они, лишь эхо долго звенит над вышедшей из берегов рекой, над залитыми водой лугами, над горизонтом, где чернеют вышки тяжелых буровых. Они, эти буровые, появившиеся на наших глазах, а сорванцы, что ершей донками ловят, их даже не замечают. Не удивишь мальчишек таким пейзажем.

По шоссе проносятся автомашины. К пристани подходит белый, как лебедь, теплоход. За полями гудят моторы самолетов. А в сердце все та же, несмотря на постоянные заботы и частые горести, радость, как будто начинаешь жить.

С берега доносится знакомое:

— Чего? Мы здесь!..

Будьте счастливы, сорванцы! Не забывайте, когда станете большими, своих друзей.

## ЗЕЛЕНИЙ ДОЖДЬ

ВЕШНИЕ ВОДЫ быстро скатываются в море, и вслед за ними, оседлав запоздалые белоснежные тучки, к нам несутся солнечные дни. Еще вода в реке не успела стать прозрачной, еще не играет рыба на перекатах, ловя мошку, а мальчишки уже лезут купаться. Поежатся сначала от холода, глаза закроют — и бултых! Окунутся раза два — и вприпрыжку куда-нибудь в затишье греться.

В наших местах на такое купание смотрят спокойно. Крепче, говорят, будут.

Отпуск у меня. Лежу на зеленом пригорке. Солнце ласково греет спину, не хуже ялтинского. Только и позагорать в это время. Неделя не пройдет — несметными полчищами обрушится комарье, тогда рубашки не сбросишь.

Надо мной, наклонясь к реке, стоит раскидистая с шероховатым, покрытым трещинами, корявым стволом черемуха. Все кругом цветет, лишь у нее ни одного листочка. Дерево сохнет. Голые ветки его сиротливо свисают с обрыва.

Я хорошо знаю эту черемуху. Мальчишкой, так же, как те сорванцы, что превратили устье ручья в пляж, не ожидая, когда река покажет пески, бегал к ней погреться, чтобы после снова кинуться в холодную воду, побарахтаться в ней, как нерпа. Осеню залезал до самой вершины, раздирая в клочья един-

ственные штаны из «чертовой кожи», купленные матерью на последние деньги. Старался достать гроздья матово-черных, прихваченных первыми заморозками, ягод, сочных, с горьковатыми орешками внутри. Они, эти ягоды, и сейчас мне дороже винограда. Может быть, потому, что наполнены соками родной северной земли и напоминают о детстве.

Лежу и смотрю на мальчишек, бегающих по песчаному косогору нагишом. Они визжат на всю деревню. Пробуют ловить руばхой в ручье подъязков.

Неожиданно что-то щелкнуло и упало мне на спину. Раз. Другой. Словно по ней кузнечики запрыгали. Но кузнецам еще рано стрекотать, холодновато по ночам. Триск участился. На меня посыпался зеленый дождь. Страницы книги покрылись желто-бурыми корочками почек. Откуда взялись они?

Приподнимаю голову и с удивлением замечаю: черные, голые ветки старой черемухи за несколько минут покрылись крошечными зелеными листочками.

С этого дня я каждый день прихожу сюда. Уже морошка на болотах появилась, первые грибы пошли, а дерево только начинает расцветать. Но как же оно расцвело — из-за белых хлопьев ствола не видно. Кто ни пройдет мимо — остановится. Мужик головой качнет, а женщина задумается.

Я беру на память всего одну ветку.

И теперь, засохшие, лежат в книге цветы с этой черемухи. Ягоды, конечно, в тот год не успели созреть — белые мухи в воздухе закружились, сиверок подул, землю морозом сковало.

Еще через год старая черемуха упала в реку, и кто-то, поработав топором, унес ее домой на дрова, сучья сожгли ребятишки тут же на берегу. Они жарили над костром плотвичек, харюзков, причмокивали от удовольствия.

Нет больше щедрой на ягоды черемухи, но она все стоит у меня перед глазами — приземистая, корявая. Не смогли сломать ее ни ветра, ни сорокаградусные морозы. Только время свалило. Как сейчас, я слышу шум зеленого дождя. Такой дождь я видел один раз в жизни.

На том месте, где стояла старая черемуха, поднялись молодые побеги. Скоро они дадут плоды. И ребятишки, что баражатятся в воде, отфыркиваются, греются на припеке, будут осенью возвращаться отсюда домой с черными губами и словно приклеенным к нёбу языком.

У деревьев, как у людей, после больших трудов бывает вторая молодость, короткая, похожая на солнечную вспышку, словно они хотят сказать: «Посмотрите, юные, какими были мы, запомните нас!»

КАК ни хороша весна, а осень я люблю больше. В наших местах она начинается с морошки. «Поспела!» — слышишь, бывало, от соседей и наутро бежишь через поля, хвойник, борки к излюбленным болотцам. Сапоги большие, ногам в них слишком просторно. Мы ведь в войну росли, плохо было с обуткой, отцовскую донашивали. Присядешь где-нибудь, нарвешь травы, стельку подложишь и в голенища набьешь, чтоб не так терло — шагай дальше.

Придешь к болотцу, а там — ало. Крупная. Так и просится в туес или ведро. Вкусной мне тогда морошка казалась, хотя на самом деле кислая ягода, сахару для нее много нужно.

По совести сказать, я хотя и собирал ее, как все, но проку от меня было мало. Засматривался в лесу. И сейчас с удовольствием покажу такие места, что ахнешь от удивления, но собирать — нельзя ли без меня обойтись?

Вокруг мелких разрозненных болот тянутся борки. Это сухие возвышенные места. Растет тут не ельник, покрытый ползучим мхом, а молодой сосняк — ровный, с тонкими прямыми стволами. По соседству с ними лес как-то светлей, приветливей, чем у болотин. Ель в нем перемежается с березой, ольшаником, осиной. Он-то и кружил меня.

Черничники там богатые, любит птица кормиться на них по утрам. Смотришь, бывало, — кочка. Ягода вся исклевана. Аккуратненько. Лишь кожура на стебельках осталась. «Поедь!» — так это охотники называют.

«А-га! — думаешь. — Вот где вы». И начнешь посматривать по сторонам. Иной раз по росе следы заметишь — дорожки от кочки до кочки, переплетаются друг с другом.

«Выводок!...»

Ходишь-походишь, пусто. На борок поднимешься.

«Может, на солнышко перебрались?»

Так и есть. Метка на подзоле оставлена — круглая ямка с оброненными птицей перышками. Порхалищем ее зовут. Она для птиц, как ванна для малышей.

Перо большое, голубоватое — пеструха прилетала.

Чуть подальше, на сопочке, марьюшки себе место облюбовали.

А вот и другие перья. На пух похожи. Здесь рябчики «купались».

Тут бы «стожарок» наладить, когда заморозки ударят, рябинку подвесить, силок поставить. Попались бы, — и видишь пе-

ред собой, как прешься домой из леса с вязанкой рябчиков. Нос кверху задран. Все смотрят на тебя.

Замечтаешься, а мать уже охрипла, тебя окликаючи, аукает, не потерялся бы, думает. Для матерей мы всегда остаемся неразумными, даже когда за тридцать перевалит.

Тогда мне всего десять было. Увлекусь и не слышу ничего, порхалица считаю.

Тут муравейник разрыт; косач капли серы искал, которую муравьи с деревьев к себе таскают. Зачем ему сера, я и сейчас не знаю, но старик Митрич, что обучал меня охотничьей науке, говорил: к ранней зиме.

В конце осени вся птица на галечники вылетает — к реке, на дороги, на опушки леса. Без камушков — я это рано узнал — ни ряб, ни глухарь жить не могут. Они им зимой за жёрнова служат, грубую пищу перемалывают.

— Ау! Куда ты запропастился?

— Иду!.. — Потирая лоб, пытаюсь вспомнить, где оставил ведерко. Пэшробуй, найди его в лесу. Хорош помощничек.

Когда морошку берем, птицы еще не видно: старая перо меняет, молодь не успела на крыло подняться, в траве прячется до времени. Но тому, кто любит и знает лес, задолго до заморозков, когда начинается охота, уже ясно, есть ли птица в угодьях, где и сколько. Настоящий охотник не станет зря время и ноги убивать. Он иной раз и дальше, напрямик идет, наверняка. Весь лес, он у нас без конца и края тянется, не облазишь.

Заморозки ударят — рябчики из рассох в ельники перелетят, поближе к сухим болотам, где к тому времени брусника поспевает, крупная, как черная смородина. Тетерева, те больше на борках держатся, на край — к реке — начинают вылетать, табунами. Глухаря, его у нас чухарем зовут, на лиственницах ищи. Он любит ее мягкую, прихваченную первым инеем, хвою клевать. Слаще сахара для него это лакомство. Тоже метка остается — общипанные ветки деревьев, желтые иголочки на земле.

Так по мелочам и узнаешь все, что другим неизвестно. Приметы для настоящего лесовика, словно стрелки приборов, по которым с самолета месторождения руд отыскивают. Их за один раз не перескажешь. По приметам и время можно узнать, и дорогу найти, и еще... Никуда в лесу без примет.

## РАЗРЫВ-ТРАВА

«БУДУТ дожди — будут и грибы!» — говорит русская пословица. И ждешь этих дождей с нетерпением. Вот и грозы ударили. Ливень прошумел. Но это еще не то.

Не знаю, как в других местах, а у нас грибная пора длится всего месяца полтора-два. Начинается она в августе, когда на землю, прогретую жарким солнцем, упадут густые росы, небо затягнется обложными тучами и несколько дней проморосит теплый мелкий дождичек.

Мне вчера приснилось, что я грибы собираю. Мать, еще молодая, шустрая, с корзинкой в руках бежит по узкой тропинке. Еле поспеваю за ней. Голубой цветастый платок матери мелькает в березняке.

— Мам!.. Красноголовики!.. А ты и не видела.

Мать возвращается по тропке, кладет в корзинку найденные мною подосиновики, и мы бежим дальше: грибы ищут — по лесурыщут.

Пока не поклонишься подосиновику — не возьмешь его... А коль взял, то не спеши — где один, там и другой.

Бывало, в одном месте из одного гнезда по шестьдесят волнушек срезали, по целому ведру. Но с каждым годом почему-то все меньше грибов около деревень, все дальше рвемся мы.

Если, бывало, корзину набирали за час-полтора, то теперь полдня побродишь. Даже и то, что места знаешь, не помогает. А где грибы растут?

Подосиновики? Имя говорит: под осиной. Подберезовики? В березняке смотри. Рыжики — в траве, где почва плотнее, где коровами тропки проложены. Волнушки — на взгорках, где и летом вода не высыхает...

Настоящий грибник не бегает в лесу без толку, он даже не по растительности, а по лесным запахам определяет, где какие грибы искать.

— Мам!.. Красноголовики! — Я проснулся, а перед глазами все еще — корзина, полная сочных с алыми шляпками подосиновиков, с крепкими, толстыми корешками...

— Так-то нельзя, — слышится голос матери. — Срезать надо ножичком. Все начнут с корнями вырывать — изведем грибы.

Может, потому и приснилось детство, что вечером, когда углы дома трещали от сорокаградусного мороза, мы вспоминали раннюю осень, о том, как ездили за грибами. Около деревень пусто стало. Все дальше забираемся.

А все от грибницы, что в земле прячется от наших глаз, от тонких нитей ее. Вырывая гриб с корнями, мы разрушаем ее, не из чего больше плоду расти.

Вам не случалось видеть «ведьмины кольца»? Про них много разных слухов в народе бродит.

Они, эти кольца, чаще всего около пней бывают — на равном расстоянии друг от друга высятся шляпки грибов, большим кругом, а в центре кольца трава какая-то пожухлая, мертвая. Говорят, порой, что это молния в землю ударила, в землю тут ушла. А старушки-староверки, увидя такое, осеняют себя крестным знаменем и прочь бегут. Нечистое место, говорят, тут ведьмы по ночам на шабаш слетаются, свои пляски водят.

И про клад можно услышать. Будто бы он в середине этого кольца зарыт. Я в детстве пробовал — лопату брал в лес, рыл землю, сколько мха перекидал в сторону, сколько дерна поднял, а клада так и не нашел. Нет его!..

Во всем виновата опять же грибница. Ее нити тянутся от центра в разные стороны, как лучи, созревают одновременно и грибы, потому стоят кольцом. А то, что трава в центре круга желтеет, так ведь грибнице чем-то питаться надо. Соки она из земли берет, а после него и сама погибает от нехватки питания, и круг растет, занимает новые участки.

В этом весь секрет знаменитых ведьминых колец. Никаких чудес.

Если аккуратно срезать грибы ножичком по самый корешок, то, придя в следующий раз, вы снова соберете «урожай», еще больший, чем раньше.

Грибная пора у нас в августе начинается, хотя сыроечки, подосиновики появляются раньше. У нас сыроежек, опят, моховиков и других грибов не берут. «Погаными» считают. Не принято. И от незнания, как бы не отравиться. Ведь среди хороших грибов в лесу много двойников, ядовитых, от которых надо держаться подальше. Даже маслята, самые вкусные из грибов, почему-то попали в разряд негодных. Наверно, из-за того, что с них кожицу снимать надо.

Грибная пора начинается в августе... Однажды, заглянув к матери, что живет в маленькой деревушке неподалеку от нас, я увижу на крыльце корзинку, а в ней ножик.

— Уже подготовила?

— Сбегаю утром!..

Люблю проснуться пораньше, придти в лес задолго до того часа, когда над домами завьются дымки, когда замычат коровы, когда доярки соберутся на берегу, поджиная моториста, чтобы переехать в заречье. Тихо в лесу ранним утром, но пройдет не-

много времени, как услышишь — синичка пискнула, дятел пропищал клювом по дереву, выводок капалят рассыпался по ельнику, поднятый тобой с ягодника, увидишь, как лопоухий зайчишка выскочит из-под самых ног и тут же притаится за кочкой, прижав большие, не по росту уши к спине.

Вот и солнце взошло, пригоршнями разбрасывая тепло по сырьим ельникам, задерживаясь в них чуть больше, чем требуется и, наверстывая время, вприпрыжку пробегает по соснякам, разгоняя остатки ночного тумана, лаская молодую березовую порось.

Дел у солнца много, всех спешит оделить лаской поровну, и не его беда, если мы порой про солнце плохо думаем: не вспашем, как надо, поле, а расковыряем землю, не забороним семена, склюют их птицы, а кто виноват — солнце, мол, перестаралось, не успеем луга во время обкосить, затвердеют травы — опять солнце виновато...

А в лесу все живое благодарит солнце, славит его. Лесная полевка заберется на алую шляпку подосиновика, как на крышу дома, посмотрит оттуда на жучков-паучков-комариков, греется на солнышке и царапает острыми коготками гриб, на зубок его пробует. Услышит наши шаги, замрет и шмыгнет в норку — только следок коготков на грибе останется.

Белки — те грибные шляпки на сучки накалывают про запас, знают, что лето короткое, что скоро холода ударят. Кладовые устраивают и забывают тут же про них. В лесу белок много, все чужими запасами пользуются как своими. Не считают они, кто сколько потрудился, какой пай внес, а радуются: солнышко греет, грибы сохнут — и хлопочут с утра до вечера.

Идешь по тропинке, что чуть видна во мху, кланяешься в пояс боровикам, корзина незаметно наполняется. А на взгорке около пней уже волнушки появились — с пятачок величиной, впервые.

— А вы не хотите в корзину, полосатые? Меня поджидали? И вам место найдется!

Когда солнце через реку перешагивает, выходишь на дорогу и спешишь в деревню, чтобы успеть к утреннему автобусу. Вот и он — зеленый с красной полоской — тихо спускается с горы. В самый раз успели...

Говорят, чтобы найти клад, надо отыскать разрыв-траву. Какой он — этот самый главный лесной клад? Какая она — эта самая разрыв-трава? Никто не видел, никто не покажет, никто не знает, где она растет. Та самая, говорят, что в ночь на иванов день расцветает, о которую коса в ту ночь переломится.

Я не хожу с косой в лес, хотя поднимаюсь до восхода солнца. Мне не клады искать, а лес познать надо, в доверие к нему

войти. В каждой былинке, в каждой веточке есть что-то от разрыв-травы, каждая что-нибудь да откроет, если всмотреться внимательно, прислушаться к их шелесту. А все же старую примету забывать не надо: лесные загадки сумеет разгадать лишь тот, кто умывается росой, протирает глаза самыми душистыми травами, от чего в лесу своим становишься.

## ЖЕЛТЫЕ ГРУЗДИ

СОЛНЕЧНЫЕ дни сменились затяжным ненастьем. Над неоглядными хвойниками, со всех сторон окружающими деревню, плыли серые тучи. Моросило. Потом ударили ливни. Наконец, пали заморозки. Выглянуло солнце, но сразу скрылось, словно не хотело видеть, как похудели березки, сбросившие листву, как дрожат на ветру молодые осинки. И дороги залиты водой, и в лесу полно воды.

Чернику и голубель в мелколесье убили ночные заморозки. Брусника, что краснела на пригорках, лежит на чердаках, тонким слоем насыпанная в фанерные ящики. Зимой она замерзает и, поданная к обеду, будет пахнуть лесом, напоминая нам о щедрой осени. И грибов стало меньше, хотя совсем недавно под каждым деревцом виднелись красные и бурье шапочки.

Когда берешь с собой ножик, то не вырываешь гриб с корнями, а подрезаешь его. Можно всю осень на одно местоходить, словно на огород. Сегодня одни срезал, а завтра другие покажутся. Не стало красных шапочек. Почернели они, высохли, потеряли свою красоту. Но грибников не убывает: в это время появляются масленки.

Сегодня с утра мы надели легкие брезентовые куртки, натянули резиновые сапоги и захлюпали по грязной дороге в глубь леса, к оврагам, заросшим густой жесткой травой, в которой прячутся зайчишки-листопадники.

Только успели выйти за поля, как нас тут же заметили. Откуда-то сбоку, из ельника, перепархивая на ветку, искося посматривая на нас, не забывая при этом свое «пинь-пинь-цици-тр», вылетела желтогрудая синичка. Знаем ее. Знаем, что не в меру любопытна, всякий раз старается подслушать наши разговоры и разнести по всему лесу, зачем и откуда пришли. Плохая черта, но чего не простишь плутовке за ее трудолюбие. Каждую веточку, каждую царапинку на деревьях взглядом окнет.

Кажется, только за нами и следует, ах нет: высмотрела мохнатую, под цвет сучка, гусеницу. И тут же проглотила ее.

«Пинь-пинь-тр!» Неспроста трезвонит: подружек зовет. Исчезла на какое-то время в ельнике, и вот уже со всех сторон понеслось: «Пинь-пинь-цици-вюо!»

Кого они там высмотрели? А, это Лапко прибежал из дома вслед за нами, ищет нас.

Выскочил из-за кустов, обрадованно повизгивая, помахал хвостом, потерся о колени, словно укоряя, как это мы посмели уйти без него. Ведь бегать по лесу гораздо веселее, чем лежать у крыльца и думать о том, что скоро зима, скоро придется по ночам в сенях скрываться от холода. И на охоту тогда хозяин не возьмет. Несмотря на свои широкие, крепкие лапы, вязнет Лапко зимой в сугробах, не спасают его ни сила, ни ловкость.

— Что? Надули тебя? — спрашиваю собаку. — Ну, побегай!..

А синичек все прибывает. Куда ни глянешь, видишь бусинки лукавых глаз, зеленые спинки, склоненные набок головки. Задает Лапко на них, подпрыгнет — рассыплются в разные стороны. И снова на весь лес разносится: «Пинь-пинь-трр!» — летите, мол, сюда, здесь интересно.

Перед тем, как свернуть с дороги, мы присаживаемся на сухой, покрытый ягелем, пригорок, прикидываем, кто и куда пойдет.

Покидая короткий привал, оглядываюсь и вижу, как одна из самых любопытных синичек слетела с ветки на землю и начала обследовать пригорок. Кажется, нашла что-то. Хлебные крошки, наверно, пропитанные маслом. К ней подлетает другая.

Жду, что будет дальше. Новенькая тюкнула клювом в окурок, а та, первая, подпрыгнула вдруг — только полоски на крыльях забелели — в драку. Куда веселье делось? На их злое «пиньк-пиньк!» слеталась вся стая. Такую перепалку устроили, такой гам подняли, что даже Лапко голову приподнял, застыл на месте, пытаясь понять, что же случилось. Пошумели-пошумели из-за окурка, пока не догадались: не стоило кутерьмы поднимать, — и снова запрыгали по сучкам, разыскивая спрятавшихся от холода жучков.

Вдоволь посмеялся я над синицами и спустился в овраг, где всегда водились желтые грузди.

Вот они!.. Чуть виднеются из-под зеленого мха. Один, два, пять, восемь... Да тут их тьма. И все молодые, только что вышли.

Корзина тяжелеет. Все чаще приходится менять руку.

Хотя грибов много, но собираешь их медленно, стараясь не надломить: белый гриб сразу же чернеет на изломе, теряет вид. В корзинку их складываешь осторожно, рядками. Отмеченные в

воде, чтобы потеряли горечь, они дома так же плотно лягут в деревянную кадушку с листом смородинника. Они хороши в любом виде: Не найдется в деревне человека, который не оценил бы умения хозяйки, отведав соленых грибков.

Поздно появляются желтые грузди. Не каждому нравится бродить по лесу с корзинкой в руках, когда с веток льется за широкий вода, когда вся одежда промокает насекомый, и приходишь домой, пророгший, еле волоча ноги.

Смотрю на часы. Надо в домашнюю сторону двигаться, чтобы к девяти, к началу работы, вернуться.

— Ay!.. — кричу друзьям.— Как у вас?

— Добро!

— К дому что ль подадимся?

— К дому! — отвечают несколько голосов.

— У ручья встретимся!..

В эти минуты забываешь про сырость, про обложные тучи, про ветер, который нет-нет да и кинет в лицо с хвои горсть скопившейся воды.

Вернусь домой — отогреюсь. А пока надо не пропустить ни одного овражка, чтоб корзинку доверху набрать, чтоб соседи спросили: «И где ты такие масленки нашел? Мы вечер ходили-ходили...» Улыбнусь, приподняв голову выше, мол, уметь надо и вставать пораньше не мешает.

Возвращаемся домой другой дорогой — вдоль ручья; хотя и подальше, но суще, легче идти.

Около опушки снова слышим синички голоса: «Пинь-пинь-цици-тпр!» Это из леса, чувствуя приближение зимы, поближе к деревням перебираются, в стаи собирались, на помощь людей рассчитывают, непоседы.

Выходя на поля, даем плечам отдых. Все так же плывут над нами тучи, по реке спешат куда-то последние пароходы, на полях желтеют суслоны ячменя, там кормятся снегири.

Поздняя осень!.. С ольховой ветки на меня с любопытством смотрит синичка, словно хочет спросить: когда будет туго, поможешь?

— Прилетай! — говорю, махнув рукой.— Найдем что-нибудь.

«Ци-ци! — слышу в ответ. Кажется, поняла меня. Молодец, не унываешь, мол, проживем как-нибудь.— Пинь-пинь-цици-тпр!»

## ЕДОМА

ОДИН берег реки обрывистый, заросший ельником, другой — низкий, луговой, где черемуха растет, а далеко на горизонте синеет сосновый бор. Простор там!..

Но как ни хорош сосновый бор — солнечный, сухой, щедрый,— как ни манит к себе, он остается для меня чужим.

Я вырос на едоме — домашней стороне, она для меня как-то ближе, понятней. Через непроходимые заросли ольшаника вокруг безымянных лесных холмов пробивал я свою тропку к тому, что судьбой в народе зовется.

Она только с виду угрюма, наша едома, сторона безбрежных замшелых ельников. Приглядись к ней, прислушайся — это же сказка без начала и конца.

Вчера я патроны заряжал, а Сережка, мой старшой, смотрел и тоже собирался на охоту. Меня тропка в гору, к избушке увела, его — в лесок среди полей. Я с дичью вернулся, он — с рассказами.

— Там медведь живет!

Лес не без медведей. Давно ли мне и самому казалось, что они где-то рядом бродят, что вот-вот из-за куста покажется, зарычит: «Я тебя съем!..»

— Папа, а медведь добрый? Сашу не возьмет?

— Спи. Он маленьких не трогает.

— Расскажи сказку.

— Слушай. Пошел я однажды в лес...

— Где мы ходили?

— Да. Слушай...

Ручонки под голову заложил, смотрит на меня, слушает. Мне и выдумывать не надо, просто вспомнилось, как сам рос.

Не было для меня в детстве большей радости, как по едоме бродить. Соберемся с ребятами по ягоды, махнем за поля, а я от них в сторону, в сторону, и сколько ни кричат, не дозвутся. Сначала из деревни по дороге бежишь, она на тропки распадается, дальше начинается самое интересное. «А что там?» В ручей спустишься, смотришь — хариусы около коряг стоят. Стацишишь рубаху — и ловить. Где там! Почешешь затылок и новую вадегу — глубокое место — искасть. Все выше по ручью забираешься, не заметишь, как в овраг свернешь, закрутишься. Спояхватишься после и не знаешь, куда идти. А то, что все ручьи к реке бегут, к дому, значит, еще не соображаешь, что муравейники всегда с южной стороны делаются, не догадываешься, что

деревья стараются уйти от сиверка, к солнцу тянутся,— это после поймешь.

Страшно станет.

— Ау!.. Ау!..

Никто не отвечает. Только сороки на тебя с елок поглядывают, задрав хвости. Найдешь какую-нибудь тропку и дуешь по ней, пока из сил не выбьешься.

— Ау!..

За брусникой как-то ходили. Я потерял ребят. К вечеру дело было. Сколько ни бегу, не то что дорога, тропинки исчезли куда-то. Все выше поднимаюсь. В какую сторону ни сверну, лес густой, темный, даже солнца не видно.

Поднялся на холм. Ягоды — ступить некуда. Бурая. Сочная. Первым заморозком прихвачена. Знай бери! Где там — не смотрю.

Снова в низине оказался. Трава — как рожь. Гляжу: тропа широкая, будто дорога. Заяц выскочил, бежит впереди меня и хоть бы что. Остановлюсь. Он тоже присядет — столбиком. Ушами поведет — и прыг-прыг...

Не знаю, сколько мы с ним так пробежали. На островке оказался. Сучья в чаще затрещали, ветки качнулись. Кинулся в сторону — избушка стоит. Заглянуть в нее боюсь. Все же набрался духу. Зашел. На столе кусок хлеба, соль, чугунок с картошкой. И какой мне вкусной эта картошка показалась! Наелся и прикорнул в углу, чьей-то телогрейкой укрылся: медведи рядом. Проснулся — пичуги поют, речка чуть побольше ручья недалеку от избушки журчит, солнце светит. И не пришел никто: ни медведь, ни хозяин. Спустился я к речке, а там хариусы — с локоть, так и ходят в вадеге, так и ходят... И дорога рядом.

Быстро в деревню прибежал. Рассказал ребятам про ягодники, про рыбчиков, что на каждом шагу из-под самых ног вылетают, про хариусов, которых можно руками поймать.

— Врешь! — говорят.

— Была нужда!.. Хотите — проведу!

Все хвости у петухов повыдергивали на мушки, все нитки у матерей повытаскивали на лески, из конского волоса силья на птицу вили. Но сколько ни разыскивали речку, где избушка стоит, так и не могли найти.

Не поверили друзья, подумали, что нахвастал, обманул их. Сговорились они и отпустили меня. А за что? Хотя и не обижаясь, но нет-нет да и вспомнится: «За что?»

Смешно теперь, а тогда было не до смеха.

После мы в этой избушке часто бывали, но мне все казалось, что ошибся, что не та избушка. Это совсем близко от деревни,

у Домашнего ручья, а к той я целый день брел. И лес был не такой — глухой, нетронутый. А тут одни поленицы стоят. И ягод куда меньше. И никакой рыбы в ручье нет. Разве только жиганы — крохотные харюзки — весной зайдут.

А может, меня зайчишка тогда действительно к другой избушке вывел? Тропа-то, наверное, лосинная была. Может, я просто еще не нашел избушки этой? Говорят же люди, что если пойти прямо в гору, то выйдешь прямо к речке. Она вытекает из большого озера с двойным дном, с желтыми песчаными берегами. Вокруг столько глухаринных токов — не пересчитать. Речка не замерзает. Там даже лебеди зимуют. Бобры водятся. Раньше и соболей добывали не на редкость. Устья у этой речки нет: она на ручьи распадается, во все стороны течет. Долго идти надо — через пади, через рады, через непроходимые болота.

Рассказываю, а Сережка мой давно спит и, наверное, видит во сне, как в петлю, которую он сегодня из лески от спиннинга сделал, медведь попал: «Так тебе и надо. Не пугай Сашу!»

Любит он младшего братишку.

А моя тропка вьется, уводит меня все дальше от дома, и хотя знаю, что нет уже на родной земле уголка, где бы не побывал человек, но все иду, иду, к новым местам тянусь, все больше радости в сердце несущ.

Никогда, наверное, не избавиться мне от детского «А что там?», за которое столько раз перепадало от матери.

«Что там?» Мы одно увидим, сыновья — другое, то, чего мы не заметили. Наша едома лишь с виду угрюмая сторона. Не одним зверем да птицей она богата. Просеки прорубим, железную дорогу проведем, заводов понастроим — и веселей станет выглядеть, приветливей.

Я не сказал сыну, что каждую тропку, каждый холм на едоме знаю, что исходил ее вдоль и поперек с ружьем и без ружья. Не сказал потому, что сам верю: есть речка, на которой лебеди зимуют, незамерзающая, с прозрачной, как вешнее небо, водой.

## ОТКУДА БЕРЕЗКИ ПОЯВИЛИСЬ?

ЗДЕСЬ когда-то деревушка была. От нее два домика осталось. Только и жителей — старик со старухой. Поля в пожни превратились, ивняком застают, за ними черной стеной стоят ельники. Тишина кругом, словно и не бывало тут человека. Лишь чуть заметные тропки, уходящие в глубь леса, напоминают о былом

да еще молодые белоствольные березки приветливо машут тебе руками-ветками. Откуда взялись они в сплошных ельниках?

Долго пытался разгадать тайну березовых «аллей», пока не наткнулся у косогора на штабеля метровых чураков, не вспомнил, что тут когда-то дрова на пароходы брали. Такими чураками тогда их топки питались. Лес заготовляли неподалеку от реки, вывозили на крёж лошадками. Так образовались волоки, где теперь лоси пастись любят, обшипывая ветки лиственных пород. По этим волокам можно подсчитать, сколько леса было сожжено в топках пароходов, сколько лощин заболочено, сколько земли оврагами изрезано и ручьев пообсыпало с тех пор. Давно уже отгудели свое пароходы, теплоходы заменили их, а по берегам рек все еще шумят листвой худосочные березки да буйно цветет иван-чай — первый поселенец на вырубках.

## РЫКУН

ГРОМАДНОЕ, каких много на севере, болото. Ельники, осока, черные торфяники, множество «окон», наполненных темной, как деготь, водой. Места эти еще недавно были царством непуганных птиц и зверей. А известен Рыкун людям давно. Еще при царе Иване сюда приезжали ловчие для поимки соколов. Любил царь Иван соколиную охоту и собственноручно в грамоте о наложении оброка вписал «в год по соколу».

И теперь не вывелись эти гордые птицы на Рыкуне, и теперь вьют здесь гнезда, караулят добычу, сидя на вершинах высоких деревьев. Но ровными квадратами пролегли через болото глубокие борозды и там, где была черная жижа, зеленеет трава. Пройдет несколько лет, и другим станет Рыкун. Снимут механизаторы с тракторов прицепные орудия и в летний день зашелестит на ветру мелкое сено первой косы.

Все больше борозд на Рыкуне, все громче голоса молодых ребят в куртках, вымазанных мазутом, упрямо сбивающих спесь старого Рыкуна и, кажется, что ему это по нраву: надоело быть отшельником, захотелось людям послужить. Буйно поднимаются травы, исчезают калтусы\*, непроходимые заросли ивняка да ольшаника, исчезают покрытые зеленым мхом топи. А птицы? Им найдется место. Для гусей — луга, уткам — озёра, а соколам — полная воля, их теперь никто не трогает и про соколиную охоту мы знаем только понаслышке, хотя, может быть, и надо бы ее возродить.

\* Калтусы — затянутые, буйно поросшие осокой места.

## ОПЯТЬ Я В ДЕРЕВНĘ

Я СНОВА в деревне. Снова сижу в тесной кухонке, облокотясь рукой о подоконник. Потягиеваю по-ижемски круто заваренный чай. Заходят друзья. Самовар перемещается к отдушине печи, чтобы через несколько минут вернуться на старое место.

Я слышу на улице: «Приехал? Как не навестить старого друга?»

Стук в дверь.

— Рад видеть тебя,— и в который раз протягиваю руку.

— Откуда? Куда?

— Я ж писал: осенью встретимся. Разве забыл:

Опять в бора слетелись глухари,  
Вечерней дымкой горизонт окрашен,  
Конца не будет молодости нашей,  
Пока костер желания горит.  
Шумят сосняк.  
Гори, костер, гори!

Я уже лирически настроен и готов зарифмовать все, что угодно.

Разговоры с друзьями делятся порой далеко за полночь. Перебираем все деревенские новости. Гадаем, чем закончится осень. Шутя перемываем друг другу косточки. Вспоминаем курьезные истории, каких немало за плечами у каждого из нас. Пытаемся понять, почему это рыбы в озерах, птицы и зверя в лесах меньше стало. Предположений много, но сходимся на одном: в мире все сложней устроено, чем видим, все взаимосвязано, и не сразу поймешь: почему и отчего.

Ведем разговор о насущных делах, а мне вспомнилось, как Витя, когда я после долгого лежания в больнице — «перетяжку врачи делали» — заглянул на недельку домой, сразу же повез меня в Полой, не дав даже с отцом посидеть.

— Еще насидаешься дома. Тебе воздух нужен. А сейчас там простор — в Полое. И батю прихватим.

Костерец развели на веретъи, посидели у него, ушицу сварили и пошли с ним по лугам, еще не залитым водой, бродить. А когда вернулись к огнищу, наш дед, прижавшись к стволу столетней ели, крепко спал, а вокруг него уже плескалась вода.

— Как заяц!..

Разбудили деда. Он заморгал глазами, растерянно огляделся кругом и как-то неожиданно, по-мальчишески рассмеялся:

— Знал, что не бросите...

— Как к лодке теперь пройти?..

Две-три таких ночи дороже любой путевки в санаторий.

А Перфил однажды во время половодья, когда я вылетел за борт, ударившись о свесившееся над водой дерево, вытащил меня и перевязал голову, разорвав для этого нательную рубаху. Всего-то царапина да шишка была, а в больницу повез.

— Не хочу,— сказал он,— греха на душу брать... Доктора лучше знают...

Я не говорю вслух, как близки мне эти ребята, мужики, которым уже подходит время стать дедами, да это и не нужно. Мы понимаем друг друга без слов. Разве мало того, что опять, как и раньше, сидим за одним столом и расходимся с петухами.

А сколько нас, уехавших из деревень в города, не были дома десятки лет, порой не знают, как лучше теперь проехать туда, забыли, где и находится их деревушка. Многие как бы стыдятся своего происхождения из какой-то Мызы или Уега, Чукчено или Конахино, а ведь не земля человека красит, а человек землю. И в названиях наших деревень — глубокие корни жизни.

## ЛЕСНОЙ ПИР

КОТОРЫЙ день я рвусь в лес, чтобы поохотиться с манком на рябчиков — и сижу дома. Какая охота, когда круглыми сутками идет мелкий, нудный дождик. Рябчика в такую морось на аркане из-под ёлки не вытянешь. На хвост ему наступи — и то не взлетит. Сидит себе, спрятав голову под крыло, дремлет. Бывает порой, что и ответит на манок, но не поднимая головы, из-под крыла. Угадай, где он затаился.

И сегодня я встал еще затемно. Самовар согрел, чай покрепче заварил, в охотничью сумку заглянул — все ли положил туда, патроны проверил, чтобы непригодных не попало. Окно приоткрыло, чтоб узнать, какая погода на дворе. Ингус уже почувствовал, что хозяин в лес собирается — радостно заскулил, загремел цепью.

— В другой раз, Ингусок, в другой раз. Рябов ты только разгонишь. Это же не глухари. Не помощник ты сегодня.

Он у меня всё понимает, только говорить не может. Прижал голову к земле, вытянулся и молчит, словно поджидает: может,

передумает хозяин? А я уже сапоги натягиша, шапку по углам ищу, телогрейку с крючка снимаю.

Лес от деревни близко, но повырублен. Всегда дальше забираюсь, к вершине ручья, где в разные стороны расходятся глубокие, поросшие травой и ольшаником рассохи. Там всегда держатся рябчики. Отец говорил: совсем недавно видел пару выводков. Темно, но дорога знакомая — широкая просека пробита в глубь тайги вездеходами геофизиков...

Когда подошел к памятному урочищу, начало рассветать. Около небольшого ручейка услышал, как вспорхнули рябчики. Они на этом мыску всегда держатся. Поневоле поверишь, что рябчик любит слушать музыку журчащей воды, как бы вторит ей своей мелодичной песней. Пробую приманить, но где там — молчат. И моросить перестало. Заметно похолодало в воздухе.

Вторая рассоха, третья — та же история. Не заметил, как солнце взошло. Лучи его позолотили хвойные увалы — и оно тут же спряталось в тучу. Будь я внимательней, то догадался бы: доброй охоты не жди. Такой восход — к длительному ненастью, к перемене погоды, и меженник — северо-восток — подувать начал. Но разве за всем усмотришь, когда хочется одного: услышать, как летит рябчик на зов манка. Сердце учащенно бьется, когда пестрая, с хохолком на голове птица, с громким хлопанием крыльев шлепается рядом с тобой и, вытянув шею, посматривает по сторонам, начинает бегать по кругу, все сужая его, или усядется над твоей головой так близко, что рукой достать можно. Сколько раз я хлопал в ладоши, и ряб стремительно срывался с елки, исчезал в чаще. Где ему понять, что над ним подшутили, проучили его: мол, голову терять не надо, мол, не всё рябуха, что свистит.

Так и утро прошло. Несколько раз слышал шум крыльев, но рябы улетали низом и тут же садились под елки. Я особо не жалел, после долгого пребывания в городе так приятно просто побывать в лесу, походить по знакомым местам, полюбоваться с водораздела окрестностями — рекой, по осеннему грустной и полноводной, островами, где перемешались все цвета, бором, синеющим вдали зубчатой кромкой, где еще не успел побывать.

Нет, я не жалел, что пошел в лес и, может, потому стал очевидцем лесного пира.

Где-то около десяти, когда по всем понятиям птица после утренней кормежки должна отдыхать, лес наполнился ее голосами. С хвойного увала, к реке, с березки на березку, с ёлки на ёлку, перепархивали синицы, чечетки, свиристели, снегири. Кажется, не было шишки, где бы не сидел клёст, ветки, с которой бы несыпались сережки. Откуда-то сбоку ударила ветерок, и се-

мена, роняемые птицами на землю, относило в сторону болота, над которым тоже летели птицы. Их было словно комаров летом.

Напрасно кричала кукушка, птицы не обращали на нее внимания, хотя в другой раз они насторожились бы и рассыпались в разные стороны. Она своим криком об опасности предупреждает. Кукша видела меня и, прыгая с ветки на ветку, с пенька на пенек, то и дело косо поглядывала в мою сторону. А я сидел, курил, положив ружье на колени, слушал. Лес звенел от птичьих голосов, стал похож на праздничный базар, где можно встретить кого угодно, услышать какой угодно говор. Ни до ни после этого я не видывал такого скопища пернатых в одном месте, в одно время. Они обычно придерживаются родовых угодий, семейственность у них сильно развита, а тут все перемешалось.

Падали шишки сосен, сыпались наземь семена ольхи и берескы, исчезали на глазах, словно их не было, гроздья рябины, а птицы, перепархивая с дерева на дерево, двигались все ближе к реке, к полям, и вскоре в лесу снова наступила тишина.

Я забыл про манок, забыл, для чего пришел в лес, и нес ружье дулом вниз. Возвращаясь домой, окликнул Ингуса. Он, видя, что сумка пуста, как будто обрадовался: мол, вот что значит меня не взять — и тут же лапу протянул.

— Так-то, Ингусок. Ничего. Хуже бывает. Такое утро любой охоты стоит. На глухарей мы еще сходим. Нельзя тебя безработным держать. А что я видел около полей...

Подходя к деревне, уже на опушке, я еще раз встретился с неожиданным. В воздухе закружились первые снежинки. Даже обрадовался этому. Заморозит — веселей охота пойдет. В это время с горы, в сторону реки, пролетела стая каких-то птиц, за ней другая.

Гуси? Непохоже. Слишком быстр полёт. Утки? Их давно не видно, да и крупней. И летят не так, планируют, на косачей похоже. Из сосняка поднялся еще один табун и понесся в том же направлении. Заметив меня, один из петухов присел на верхушку кривой сосны и, словно, прощаясь с нами, чуфыкнул, как на току.

— И ты в перелетные записался? Куда путь правишь? С кем сравняться хочешь? Эх, Петра, Петра! Силенок у тебя много, упрямства тоже, да крылья коротки для гусиной дороги. Для них это дело привычное — дальние перелеты. На севере гуси, словно дети в гостях у родителей, отдохнут, поднимут на крыло птенцов и обратно. А тебе зачем улетать?

— Чуфыш! — Тетерев снялся с дерева и понесся догонять сородичей.

Все это было непонятно.

К вечеру небо стало серым, ночью начался снегопад. Когда я проснулся под утро, снега за окном было уже по колено. Вот почему и не отвечали на манок рябчики, и птицы пир в лесу устроили, после чего к реке подались. Они предчувствовали крутою смену погоды, ранний снегопад напугал их.

И с тетеревами такое случается порой. Они исчезают куда-то, возвращаясь в родные места лишь к весне, ослабевшие от дальних кочевий, и как мало их возвращается.

Снег этот, правда, вскоре сошел, еще долго стояли оттепели, осень затянулась — река, было, уже льдом покрылась, как снова взломало его и выбросило в море. Только в половине ноября пал с горы северный ветер и сразу же ударили морозы, но меня уже не было в деревне.

...Закрою порой глаза и слышу птичье разноголосье, вижу, как покачиваются на ветках рябины свиристели, рассыпаются по ольшанику чечетки, что-то ищут в щелях старой ёлки гаечки, а неподалеку от меня в недоумении крутится кукша; всегда слушались ее, а тут не поймешь, что творится... И тоже боком-боком и в сторону, вслед за остальными.

## РАЗМЯТЬСЯ ЗАХОТЕЛОСЬ

ИДУ не спеша вдоль бора, оставляя за собой глубокую лыжню. Заработался. Размяться захотелось. Прогуляться хотел по реке, где снег плотный, легко бежать на лыжах, но не удержался — махнул в бор. Давно не слушал тишину. Не знаю, как бедолаги-зайчишки поживают, — душа еще не в пятках? Вольготно ли рыжей красавице, той, что пробовала у рыбаков со склада пелядь воровать? Вовремя заметили. Капканы насторожили. Почуяла — дело не к добру — и смоталась подальше от греха, заметая пушистым хвостом следы.

Иду, смотрю на выпавший ночью снег, где каждый следок виден. Длинноухим, судя по всему, пока не плохо живется. Не было еще морозов, когда приходится бегать назад и вперед по тропе только для того, чтобы минуточку согреться. И снег не так глубок, не изматывает: лапы у зайчишек широкие.

С левой руки — обрыв. За ним неоглядные заросли ивняка, озера, ручьи, речушки, луга, заметенные снегом.

Та, что хотела рыбки на озере отведать, но не удалось, мышкует на пожнях. Не до зайцев кумушке. За ними гоняться надо,

а тут знай покапывай снег лапой. Ямки кругом и алые капельки на снегу, будто кто-то клюкву раздавил. Мышей в эту зиму много. Снег как бисером прошит — от куста к кусту, от стога к стогу ведут их следки.

Еще по дороге к бору видел я отпечатки лап рыжей красавицы. Но и тут разыщут ее охотники, больно мех хорош у нее, в самый раз на воротник — теплый, мягкий.

Все дальше я ухожу от дома, совсем забыв о том, что засветло уже не смогу вернуться, беспокоиться станут. Тихо в бору. Дремлют, набросив на плечи снежные дохи, старые раскидистые сосны, растущие на опушке, что прикрывают собой от хиуса — произительного ветра, залетающего в наши края из тундры, — свое потомство — стройные, без единого сучка на стволе сосенки, выросшие на месте лесной делянки. Еще несколько лет, и они станут мачтами кораблей, пойдут на строительство домов, на крепёж в угольные шахты, поднимутся над родной тайгой визуальными вышками. Много пользы принесут они человеку — хозяину земли, венцу ее красоты.

Солнце то покажется из-за тучки, плывущей над самым горизонтом, то снова спрячется. Редко его в это время увидишь. Кажется порой, что оно не может через хребты Урала перешагнуть, пробует, но тут же скатывается назад — уцепиться не за что.

Тишина. Но откуда здесь взялся пневматический молоток? На весь бор слышен его дробный перестук. Э, да это дятел трудится!.. Совсем запамятовал, где нахожусь. Тяжелая у него работёнка — целый день долбить клювом мерзлую кору. Добро бы семья, а то один живет. Зачем столько силы тратить? Много ли бобылю надо! Так нет же, стучит от зари до зари, не давая себе ни минуты отдыха.

Умолк на какое-то время. Знать, обследовал этот участок, на другой перешел.

В сосняке послышался шум, знакомые «пиньк-пиньк, циципп!» От дерева к дереву, вдоль опушки бора перелетала стая синиц. Наскочив на меня, они кинулись, было, врассыпную, но тут же снова слетелись и скрылись в чаще. Ни весной, ни осенью не доводилось мне видеть таких сборищ. Куда они спешат? «Пиньк-пиньк!», «Си-си», «Зи-зи-зи», «Тя-тя-чш-чш»... Да тут не только желтогрудки, но и московки, и пухлячки, и ополовники, и корольки. Желтенькие, черно-серенькие, долгохвостые — кого только нет. И все спешат куда-то, торопятся. Издали снова донеслась дробь дятла. На этот раз она была более продолжительной. Стая с разноголосым гомоном продолжала двигаться вслед за ним.

Я посмотрел-посмотрел и свернул с опушки в глубь бора, стараясь не отстать от веселой компании. Откуда-то из-за спины донеслось беспокойное «сир-сир-сит!» Это пищуха догоняла синичек. Из-за оврага вылетел поползень, присел на старую сосну, пробежал по стволу ее от вершины почти до корней вниз головой и «двинул» дальше. Оригинал! Среди птиц он акробатом слывёт. Ни одна из них не умеет вниз головой по деревьям лазить.

Около старой сосны лежали кусочки коры, на которых виднелись следы жучков-короедов. Но при чем здесь дятел?

Тронул дальше. Посмотрим. Усталость, что мучила меня утром, давно прошла. Дышится легко. Жарко становится. Расстегиваю куртку. Синички крутятся около тех деревьев, по которым стучал крепкий клюв работяги-дятла. Как же не догадаться, что зимой он больше не на себя трудится, а на других — во какую семью заимел.

После снегопадов пало тепло, вслед за ним ударили холода. Ветки деревьев обмерзли, покрылись инеем. Синички уже не могут обходиться без чужой помощи. Им не под силу пробить слабыми клювиками ледяную корку. А как не хочется покидать бор, собирать по дорогам зернышки, ведь личинки, спящие жучки, куда вкусней. Вот и сообразили они, что дятел — добрый дядя, поможет им в беде. Он долбит кору и гнилые пни, а синичья стая после него проверяет, не осталось ли чего, в каждую щелку, в каждую царапинку заглядывает. Много ли надо синичкам. Поклюют и дальше полетят, оглашая бор веселым гомоном.

...Уже темнело, когда я выбрался на дорогу, снял лыжи и пошел к деревне. Беляк, старый, наверно, страдающий бессонницей, покинул лежку раньше времени и, заслышав мои шаги, метнулся с дороги в сторону. Сутки-двое после этого будет лежать где-нибудь под елкой, а когда опомнится — пошевелит ушами: жив ли? Где понять косому, что я без ружья, просто размяться захотелось, посмотреть, как им живется, послушать тишину. Лесная тишина обманчива. Кажется, бор спит, а прислушавшись — все в нем радуется, грустит, волнуется, живет обычной жизнью.

Впереди, на крутом берегу реки замерцали огни деревень. Сзади послышался скрип половьев. Кто-то ехал с дровами. Оказалось — сосед.

— Клади-ка свои кунды на воз, небось тяжелы? — сказал он.

Я послушался. Без лыж куда лучше и легче зашагалось. Тяжелы они к вечеру становятся — и на ногах, и на плече. «Как

бы скорей до дома добраться, отдохнуть. Теперь меня в такую даль слишком не заташишь».

...А через неделю еще дальше в глубь бора зашел, вернулся при звездах, поздним вечером.

## «РЮМ-РЮМ»

Ю. Груббэ

ПРОСЫПАЯСЬ, я слышу в кухне голоса. Это значит, что мать уже поставила на стол самовар. Пора вставать, за работу браться. Человека труд не только кормит, но и радость дает ему.

Перед уходом на работу, как издавна повелось в северных деревнях, семья чаевничает.

В этой маленькой комнате с зелеными серебристыми обоями я провел детство. В ней и сейчас на широких полках, прибитых к стене, лежат ржавые от времени крючки, нитяные лески, которыми давно никто не пользуется — на капрон и жилку перешли.

За моей спиной в стену воткнуты шилья, которыми когда-то учился я подшивать проношенные до дыр валенки, отцовский нож, которым шкерили толстопузых, объевшихся ряпушкой налимов, обрабатывал заячью шкурки.

А перед глазами у меня, там, где сидит мать,— сухонькая, в чем держится душа, старушка, что и сейчас, в праздник, не прочь поплясать, песню затянуть, вспомнить что-нибудь смешное,— стоит старый, но недавно заново покрашенный в голубой цвет кухонный шкаф, над ним прибит наблюдник.

Мать снимает с наблюдника много раз колотую и kleеную чашку с красногрудыми птичками по бокам, бросает в нее кусок сахара... Пью горячий чай, смотрю в окна. Мне виден только огород, старый амбар, где давно никто ничего не хранит — ни к чему они стали, амбары, все в сельпо берем.

Из глубокого снега за окном торчат былинки. Я даже не знаю, как зовут этот сорняк, он с лета на меже остается — колючий такой, с синими щетками цветов. На стеблях по утрам всегда сидят красногрудые снегири, словно с чайной чашки слетели.

Сколько лет, приезжая погостить в родную деревню, я смотрел на них через полузамерзшее окно. А сегодня не вижу. Мо-

жет, из-за этого все утро чего-то не хватает. Не утерпел. Вышел на улицу, хотя идти до полудня никуда не собирался.

Мороз такой же сильный, как вчера и позавчера. Ветра, правда, нет, но это обещает лютую стужу. Вот только солнце чуть поярче и видно дальше. По реке подводы тянутся. Колхозники за сеном поехали. Далеко слышен скрип обитых железом половьев. Еще видно, как рыбаки высматривают сети. Они и зимой из-подо льда, не жалея сил на то, чтобы продолжить ярданы, ловят сетями рыбу. Сиги попадают, нельма порой запутывается, а то и сама семга.

Все как будто то же, сызмальства знакомое. Старик Денисенко по случаю воскресенья уже поет на улице, направляясь к соседу, «Конницу Буденного». Высокий, с лохматой седой бородой, чуть сгорбленный, он каждый праздник поет эту песню. Душевный человек, мастер-краснодеревец, рыбак, чьи уловы в былые времена связывались с нечистой силой: мол, без нее не обошелся. К кому-то он сегодня заглянет, с кем-то байки поведет?

Мать посматривает на отца: «Не уговорились?» Еще чего доброго, загуляет по старой памяти. Тимофею нельзя: здоровьем стал слаб.

Ребята, недавно пришедшие из армии — кряжистые, с румяными от мороза лицами, в стеганых ватниках на широких плащах и шапках-ушанках набекрень, — стоят посреди улицы, о чем-то беседуя. До меня долетают отдельные слова: «коробка передач», «подшипники». Это они о тракторах рассуждают: ломаются часто после долгого пути по глубокому снегу, а запчастей нет.

Но куда же делись снегири? Так и вижу их перед собой в синевато-серых шубках, в ярко-белых штанах, в красных, как зимние зори, рубахах, в черных с бархатным переливом беретах. Ишу их взглядом и неожиданно слышу: «Рюм-рюм-рюм!»

Вот они — на изгороди, около моста через ручей. Попрыгивают по запорошенным снегом жердям. Еще вчера, нахохлившись, качались на стебельках, а сегодня завели свое: «рюм-рюм-рюм!» Да еще насвистывают что-то. Что бы это значило?

Пока думал, снегири поближе к лесу перебрались, на верхушки колючих, всегда зеленых ёлочек сели. Вскоре и совсем скрылись из глаз. Навстречу солнцу, что алеет над лесистыми холмами, полетели. Разгадка-то проста. В наших местах зима, а где-то уже лед на реках ломает, ручьи вовсю звенят, почки на березах лопаются. Не велика птичка, но голосиста, и тем хороша, что рано весну чувствует. В лес полетели, значит, тепло на подходе.

Снегири около людей только зимой живут, когда в тайге кормиться нечем, когда все снегом завалено. На открытых местах около селений снег не столь глубок, ветром его в овраги уносит, да и на дорогах, где возят сено, на сеновалах можно что-нибудь поклевать. Продержатся тут зиму, а как только солнце повыше поднимется, появится наст, ветер с юга задует, в глухие ельники перебираются. Это для них дом родной. Там они и гнезда вьют из веточек мха, лишая, выстилая его пухом.

Пришел я домой, рассказал отцу, а он, как всегда, посмеивается, покачивает поредевшими кудрями.

— Мою песню перехватили: «рюм-рюм-рюм!» Ты слышишь, мать?

Что оставалось ей делать, как не вынуть из шкафа давно припрятанную на случай бутылочку.

Через несколько минут он вспомнит о войне. Мать, подперев подбородок руками, качнет головой: «Тяжело приходилось солдатам под Тихвином и Мгой». Потом отец вспомнит, как получал из рук генерала «Красную Звезду». А когда в бутылке покажется донышко, начнет сокрушаться, что плохой лес на строительство школы возят: мороз будет пробивать стены насквозь, утеплять придется. Школа почти готова.

Двухэтажная, с большими окнами на реку, она стоит на высоком холме между деревьями. Много из этого гнезда птенцов в большой мир вылетит. На лес отец зря обижается: добротный.

Улыбаюсь, молча слушаю рассуждения отца, что плотник — наилучший человек в государстве.

Пусть говорит. Хорошо, когда человек себя главным считает.

## ЛЕБЯЖЬЯ РОДИНА

СТОИТ над обрывом старая сосна. Мальчишками мы любили собираться у нее. Дерево еле держится на обрыве, а ты, обняв руками его шершавый ствол, держа в зубах конец веревки, забираешься повыше, не замечая, что новенькая рубашка порвалась, испачкана смолой. А мать так старалась достать сатину, порадовать сына. А тебе так хотелось поносить такую рубашку...

Затягнешь на толстой упругой ветке два узла — и готовы качели. Сядешь, а друзья давай качать — плавно сначала, легонько, потом изо всех сил.

— Москву видишь? — кричат.

— Нет!

Мы почему-то считали: если взлететь повыше, то увидишь Москву.

— Вижу, вижу! — друзья, конечно, верят и стараются притормозить, сбавляют высоту. А ты сидишь на качелях чуть живой от страха.

Москвы я не видел — далековато она от нашей деревушки находится, но не признаваться же в этом друзьям, если и они кричат: «Вижу! Вижу!»

Зато мы видели другое. Глянешь, бывало, с качелей вниз, а под тобой обрыв, льдины на берег лезут, раскалываются на части, яркое солнце глаза слепит, на какую-то секунду мелькнет в глазах белое облачко.

— Лебеди!..

Как сейчас слышу шум их белоснежных крыльев, радостную перекличку между собой. Мы в то время завидовали птицам и не раз кричали вдогонку:

— Возьмите нас с собой!..

А потом я вырос и уехал работать в тундру.

С тех пор весной, когда зашумит ледоход на реках, и птица начнет великий перелет, меня тянет в тундру. И сам не знаю почему. Объяснить это так же трудно, как понять, почему человек выбрал себе этот, а не другой путь, почему один любит гаечный ключ и радуется, когда старая машина «выздоровеет», а другой бродит по тайге с теодолитом или водит в небе самолет.

Я люблю бродить по склонам покатых тундровых холмов, заросших кустарником, точно таким же, как на берегах Вычегды, может, чуточку пониже и листики помельче. Среди ивняка, что в тундре зовется ёрником, попадаются изредка крохотные деревца — карликовые березки, родные сестры белоствольных волжанок. Тундра — их родина.

А сегодня я брошу с ружьем за плечами в пойме Пижмы и думаю о том, что где-то там, в тундре, в краю Семи сопок и Семи озер, кочует со стадом мой друг Валя Безумов, радист из Окунева, печорского села.

Я не раз слышал его позывные. Он уже не раз говорил себе: «Хватит!», но только наступает весна — снова в тундру.

С озерка поднимется гагара, сделает круг над тундрой и плюхнется в воду, только брызги в разные стороны полетят. Утки-морянки вздрогнут от неожиданности, разнесет по окрестностям звонкое: «Ау-ли-и!» — и вся стая надолго скроется под водой. Оставляя следы копытцев на влажном грунте около озера, пьют воду оленята, широко расставляя ноги, испуганно кидаясь от собственного отражения. К осени подрастут, взрослыми

станут. Для дальней дороги рождаются они. Незакатное солнце плывет над тундрой.

«Как ты там, Валя? — кричу я. — Как дела твои, лучший радиостундры?»

Может, сейчас ты выкинул антенну, присел на нарты, сбросил чехол с радиостанции и вызываешь Усть-Цильму, чтобы узнать, когда к вам вертолет будет с почтой: давно оленеводы писем из дома не получали.

Или бродишь где-то по холмам, радуешься, что пришла весна, что ты снова в тех местах, которые прикипели к сердцу, и не заметишь, как зайдешь туда, куда не положено. Поднимешь голову, услыша взмахи крыльев, и увидишь над собой лебедя. Раз пролетит, другой, опускаясь все ниже, словно норовит тебе в лицо заглянуть. Он давно за тобой присматривает, недоумевая, зачем ты появился тут.

Остановившись, окинешь взглядом холмистую равнину и на ближайшей сопочке увидишь оброненный кем-то белый платок. Нет, не платок это, некому их тут терять, и не снег, а лебедушка на гнезде сидит.

Я долго не мог понять, почему лебеди, умные, обычно стражкие птицы, выбирают для гнездовья самые неподходящие участки — возвышенные места, где их видно далеко-далеко. Ведь по тундре снуют бродяги песцы, неисправимые мародеры. На лебедушку косит глазом полярная сова, чей характер тоже известен — вся родня у нее шалая. Долго не мог понять, а объяснялось просто: лебеди прилетают в тундру первыми, когда вовсю еще крутят вьюги, когда озера еще покрыты не только льдом, но и снегом, а ветер обнажает возвышенные места, и лебеди строят свои гнезда на сопочках, не дожидаясь, когда зажурчат ручьи, вскроются реки.

Что манит птиц в неприветливую тундру, где растет лишь ягель да и то не везде, где даже неприхотливому, привыкшему к лишениям северному оленю не прокормиться порой?

Родина зовет! На земле получше места есть, а нет — в тундру тянут, на крыльях весну несут. А тундра встречает их снегом, бешеным ветром и злющими от досады, что зима прошла, холодами. На Волге уже начинается лето, на Вычегде шумят молодой листвой березы, а над Черной речкой или Коротаихой, впадающими в Студеное море, кричат застигнутые нежданной вьюгой птицы. Ни зги не видать, только слышишь печальные, бередящие сердце голоса птиц. Но стихнет вьюга, проглянет солнышко, и разнесется над заснеженной равниной торжествующий радостный клик.

Гордый с величественной осанкой лебедь, словно созданный для того, чтобы любовались им, на самом деле — работяга...

Знали бы вы, как бьются лебеди грудью о лед, стараясь проломить его, всегда парами, помогая друг другу! Как раскалывают они по утрам выпавший ночью снег и щиплют, причмокивая от удовольствия, травяную ветошь. Как кружат над побережьем, выискивая прогалины.

А легенда о лебединой верности? Не верьте тем, кто говорит, что она стара, что она не для нас. Счастлив тот, кто носит в сердце песню гордой любви, готов постоять и умереть за нее. Только с годами начинаешь понимать это...

Старая раскидистая сосна, где мы устраивали качели, сползает к реке. При первом половодье ее смоет, и она окажется в море: оползень сработал.

Я по-прежнему люблю приходить сюда, но уже не один, а с сыновьями. Посажу младшего на плечи, приподниму его на руках повыше и спрашиваю:

— Москву видишь?

— Вижу! Вижу!

Старшему тоже хочется поглядеть.

— Видишь?

— Вижу, вижу!..

Может, и впрямь видит — Москва-то на высоком месте стоит, на нее сейчас вся земля смотрит. А ребятишки дальновораки. По себе знаю.

Сотрясая воздух мощным гудением моторов, поднимается с аэродрома воздушный лайнер, сделав прощальный круг, берет курс на столицу. Он еще не успел скрыться за горизонтом, как над рекой забелело облачко.

— Лебеди!..

Мерно помахивая крыльями, птицы тянут на юг. И хочется верить, что, кроме упывающей вдаль белой тучки, ничто не заслонит людям солнца.

## ЗИМА НА МОРОЗ

Вот и пришли дни, когда говорят: «Солнце на лето — зима на мороз». Выберешься в свободный от работы день за село и заметишь — света больше стало, небо проясняется, снега прибавилось, а лес в разных направлениях пересекают накатанные лыжные следы.

Солнце медленно вздымается из-за леса. Перелетая с сосны на сосну, с одной ветки на другую, мелодично поскрипывают

снегири. Засмотришься на них, и вдруг раскроется тебе в зимнем бору такая красота, что и не приснится. И тут, несмотря на морозы, кипит жизнь. След белки на снегу. Золотистые от солнца гирлянды шишек. Пересвист свирелей. Этую птичку еще и красавкой зовут за ее яркое оперение и хохолок на голове. Они, свирелели, частенько залетают в деревенские палисадники. Там же можно видеть синичек-гаечек, синичек-московок. Для них немного нужно — кусочек сала на тонкой нитке к окну подвесить.

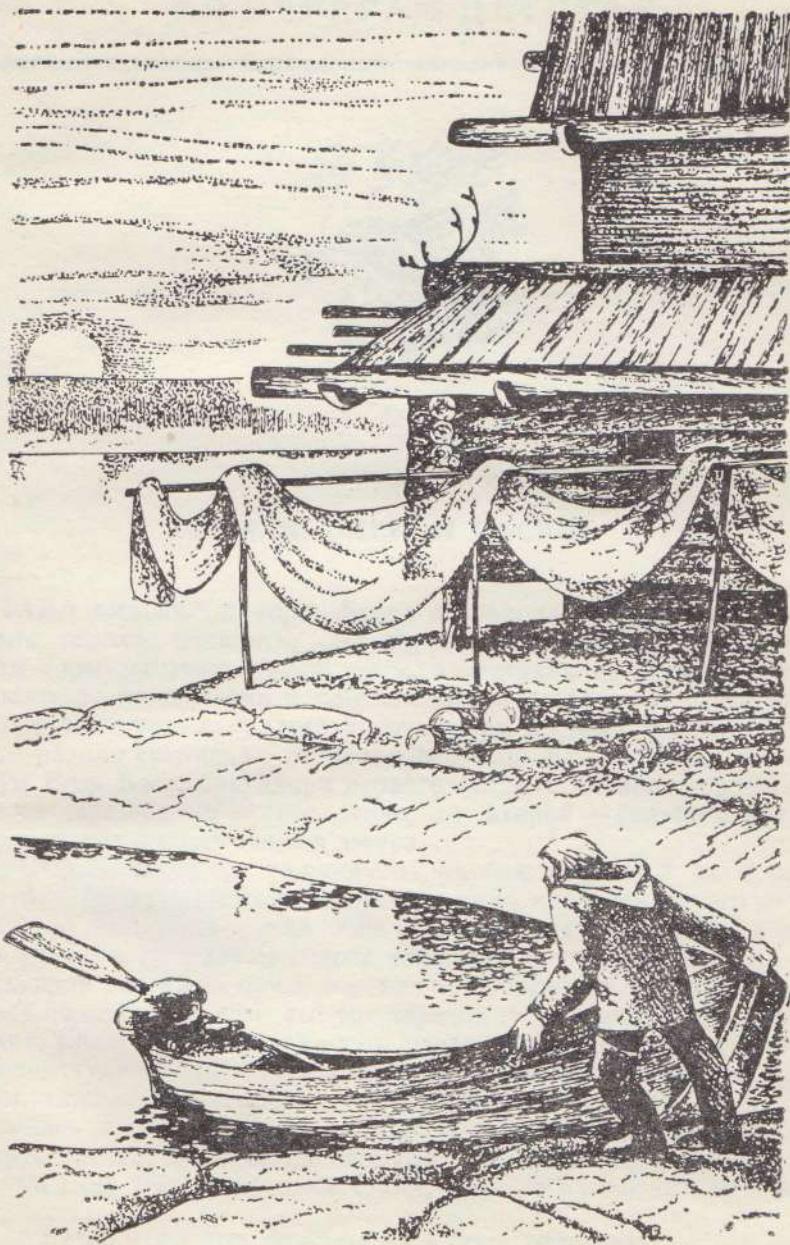
А вот заяц пробежал. На дороге гудит машина, но беляк привык к этому. Он прижился в зарослях ивняка возле ручья. Не машины его страшат, а люди да бродячие собаки, что, как волки, рыскают по дорогам.

Не видно глухарей, лишь изредка взлетит из ольшаника рябчик. Порой увидишь след великана-лося. А стройные мачтовые сосны, чудом сохранившиеся тут, словно ожидают чего-то необычного, как будто знают: всё вернется.

Над опушкой леса, прилегающего к селу, крутятся стаи голубей, дятел оглашает ее барабанной дрожью: для него наступила пора начать общий осмотр деревьев, может, какое подлечить требуется. А в глухих ельниках невидимые для глаз сидят клесты в гнездах. Вот-вот появятся выводки. Ближе к весне начнут раскрываться шишки, и птенцы северных попугаев уже будут в силах прокормиться сами.

Еще прошумят метели, заметут стежки-дорожки, поднавалят на людские плечи новых забот: зима только в силу вошла. Но посмотрите, сколько прелести в зайневелой березке или вот в этой сосенке. Если кому-то из нас хочется попробовать свои силы в резьбе по дереву или взяться за вышивку, сколько узоров можно найти в такое утро в лесу и дома. Взгляните на окна — таких цветов не придумаешь. Велика фантазия у Деда Мороза.







# ПО БЕРЕГАМ ДЕТСТВА

---



## МАЙ, ОЛЕНИЙ МЕСЯЦ

СТАДА ямдали \* к морю. Весна не радовала. Затяжная весна пала, гололед появился, наст образовался. Трудно стало олешкам корм добывать из-под снега, а пастухам не легче присматривать за ними. Одни в поисках корма разбредались в разные стороны, другие старались удержать их в стаде. Днем, правда, пригревало солнце, но по ночам все так же трещали морозы. Чум Егор Вася, бригадира первого стада, с южной стороны казался черно-синим — снег стаял, со второй — большим сугробом, из-под которого вился дымок.

Старик сидел на опрокинутых на бок нартах и посасывал трубку. Его обветренное, загрубелое лицо, казалось, ничего не выражало. Егор Вась думал. Уже отели в стаде начались, как пурга ударила, на разные голоса завыла. Так рванула к утру, что дрогнула растяжка чума, сорвала его покрышки. Шесты заскрипели под напором ее — вот-вот переломится. Хозяйка чума, жена сына, Евдокия, кое-как, наспех, одела, обула ребятишек, выбралась оттуда к опрокинутым на бок нартам, привязала их к другим, тяжело нагруженным, чтоб не унесло ветром. Так и приютилась до утра. После долго спать не могла, как бы, говорит, пурга нам все кости не переломала. Мужики в это время в стаде были. Егор Вась к соседям ездил, чтоб по рации узнать, какой

\* Ямдать — кочевать, передвигаться к стаду (ненецкое).

лучше маршрут выбрать. Он-то и сам знает, но один ум хорошо, а два лучше. На то учат людей. Сын под елкой переждал, не мог в чум заглянуть, с ног сбило бы, ищи потом парня в тундре, как иголку в стоге сена. Ладно, все обошлось благополучно. От весенней пурги добра ждать не приходится. После нее, после «кошачьих хвостов», с которых эта ведьма пляску начинает, теплые дни наступили. И наст начал ломаться, прогалины появились, на вершинах холмов зажелтела ветошь — прошлогодняя трава, вода появилась, уже не надо глыбы снега на санках в чум воловить, чтоб суп сварить, чай вскипятить.

О ней можно было догадаться и потому, что куропатки, громадными стаями державшиеся в ивняках, где все потише и спокойней, в снегу можно склониться, в оленых пороях, двинулись к побережью. Они сами стали похожи на тундру — среди белых-белых перьев мелькают рыжие, их с каждым годом все больше, у петухов брови набухли, характер совсем дурной стал, носятся по тундре как ошеломленные, кричат свое «кэбар!»

С правой стороны от чума Егор Вася синеют хребты Пай-Хоя, вершина Народны, из-за которых нет-нет да и выглядывает солнце. Ручьи зазвенели на склонах сопок, по речушкам вода побежала. Переправы начались. Одна из них стоила бригадиру сорока голов. Заметил он, что табун оленей откололся, дал знать молодому пастуху, а тот собак усыкнул да не так, как надо было. Их лохматые помощники долго гонялись, высунув языки, за беглецами, пока наконец не вернули к стаду. Потеряв соображение, олени врезались в гущу его, лайки за ними — и все перемешалось. Ничем помочь было нельзя. Стадо кинулось через речку, уже полную воды, закружилось в бешеном танце. Олени топили друг друга, ломали рога и ноги, давили своей тяжестью соседей. Кое-как пастухи навели порядок, повздыхали, глядя на потери, но делать нечего — надо акт составлять, за ветфельдшером к соседям нарочного послали.

Снова не спал той ночью Егор Вась. О чем только не передумал. Давно такой беды, что произошла, с ним не случалось. Может, стар стал? На отдых пора? Вспомнилось ему, как впервые с отцом на охоту вышел, как к гусю подползал и сколько радости было, когда тот задергал лапками, красными, словно их морозом прихватило.

Тепло, а гусей еще не видно. Это беспокоит старого тундро-вика. Птица лучше человека знает, когда к морю лететь. Правда, по радио ежедневно дают погоду и прогнозы в районе выпаса оленей, но они не всегда сбываются. Канюки летят. Они первыми объявляются на побережье. Еще снег не сошел, а канючиха уже на гнезде сидит. Вчера ворону видели. Плохая это

примета, не к добру. Сердце что-то у Егор Вася побаивало, пурга бы снова не ударила. Прошлой весной сколько оленят потеряли, и в эту весну уже потери есть. Олений месяц начался — май, а он году равен. Сумеешь сохранить телят, значит ты настоящий оленевод, нет — надо на покой уходить. А покидать тундру ой как не хочется! Вся жизнь прошла тут. Дочери в город зовут, в казенный дом. Хватит, говорят, со стадом кочевать. Да не нравится ему там: и вода не та, дыму от шахт много, пыли, шума на улицах, а в комнатах жарко, хоть нательную рубаху снимай. То ли дело в чуме.

Старик привстал, прикрыл глаза от солнца ладонью и долго смотрел на одну из воженок, которая, то ложась на снег, то вставая, тихонько выбиралась из середины стада к его краю, а затем, тяжело ступая на рыхлый снег, направилась к зарослям ивняка, на ветках которого сверкали золотистые сережки.

«Белоногая,— подумал Егор Вася.— Та, что прошлой осенью где-то долго пропадала, прибилась к стаду, когда оно уже в лесотундре паслось. Присмотреть бы за ней надо».

Часто оглядываясь назад, выискивая что-то по сторонам, молодая с большими, похожими на миндаль глазами, воженка скрылась в ложбине. Было около трех утра, когда за кустами послышался тонкий крик.

— С прибылью!— По лицу Егор Вася, изрезанному морщинами, пробежала улыбка. Глаза его потеплели. Не зря она так часто ложилась. Старая и вечно новая история — таинство рождения новой жизни.

Не до сна в Олений месяц бригадиру, привык он, чтобы, когда начнут считать телят в стаде, потерять имелось меньше, чем у соседей.

Около Белоногой, лежащей в это время в ложбине, окруженной со всех сторон густым ивняком, уже пытался встать на ноги крохотный олененок. Он поднимался на колени, вставал и снова падал на снег. Тонкие, слабые ножки еще не держали его, распопзались в разные стороны. Так мальчишки учатся ходить на ходулях. Но прошло всего с полчаса, и малыш уже твердо стоял на ногах. Один из быков, в это время безрогих, перестал бить копытами по снегу, выискивая ягель, поднял голову, раздул ноздри и свернулся от стада к воженке. Он был встречен рогами. Воженка злобно фыркала, нагибала голову, отгоняя непрошеннего пришельца. Пришлось ему ретироваться — весной нет сильнее зверя, чем олениха-мать. Рогач сначала пятился, а когда надоело держать фарс — сделал бросок в сторону и присоединился к соседям, всем своим видом показывая, что его вовсе не интересует, как и чем пахнет в кустах.

А Белоногая замычала во весь голос. Раз. Другой. Третий. Потом беспрерывно. Кому, какой она подавала знак, чем хотела поделиться с сородичами? Никто не отвечал ей, не обращал на нее внимания. Лишь малыш поводил большими ушами, прислушивался. Часа два продолжался этот «концерт». Стадо уже отшло далеко от чума, а на склоне сопки, примыкающей к ивнячку, все четко выделялись два силуэта — большой и маленький. Олененок тянулся к матери, бродил, переступая с ноги на ногу, вокруг нее, пытался подлезть под брюхо. Она облизывала его против шерсти, что не нравилось малышу и он отворачивал голову в сторону: мать словно подталкивала своего непутевого сына к вымени. Он снова тянулся под ее шею, под грудь, все чаще под живот, пробуя пухлыми губами сосать шерсть, просил что-то, подавая голос, пока не нашел, что требовалось. Еще несколько минут — и малыш оторвал губы от соски, прилег на снег, а важенка начала пощипывать ветошь. Егор Вась не мешал им. Он не спешил. Он все так же сидел на опрокинутых на бок нартах и потягивал трубку.

Над озерами, еще покрытыми льдом, показались черные точки. Они все увеличивались и вскоре над тундрой разнеслось редкое: «Га-га-га!»

— Перваки! Облет делают. Теперь заживем. Ворона, знать, глупая была, ветром ее в тундру занесло.

Гуси сделали два круга, над самым чумом круто взмыли вверх и, так же ровно помахивая крыльями, скрылись вдали.

Молчал старый оленевод, но ему не терпелось взглянуть на олененка и, спрятив трубку за пазуху малицы, он сказал себе:

— Поглядим ужо, теперь можно!

Подойдя к кустам, он увидел их.

— Белан! — воскликнул Егор Вась, растопырив руки, словно хотел обнять олененка, и теплая улыбка снова расплылась по его лицу. Оно словно светлее стало, порозовело от радости. — Где ж ты нашла его? Ась? Уж не от нашего ли злодея сынок? Что спросишь с тебя. Порадовала...

Старик давно приметил эту важенку — намного стройней и выше других, с белыми до колен ногами и белым пятном на груди, резвую, умную по-своему, исчезающую куда-то уже вторую осень.

Перед ним стоял на тонких-тонких ножках неуклюжий, большеголовый, белый, как апрельский снег, олененок, нескладный такой, беззащитный, моргая большими, как у матери, глазами. Егор Вась взял его на руки. Какой же он легкий — царь тундры!

Малыш тут же начал подлезать головой под рукав малицы, под руку, шевеля губами.

— Совсем дурень, однако,— рассмеялся старик.— Ничего не смыслишь. С матерью спутал. Да и она тоже не в своем уме.

Белоногая с каких-то трех шагов смотрела на сына, которого держал в руках оленевод, и не узнавала его. Она беспокойно крутилась вокруг человека, кажется, помнила, как он не раз глядил ее по шее, говорил ей что-то ласковое, но в эти минуты Белоногой было не до него. Она обнюхивала следы, беспокойно мычала.

А случилось всего лишь то, что олененок был на руках человека.

— Ну, ну, хватит. Никуда твой Белан не делся,— и Егор Вась спустил олененка на землю, отошел в сторону. Важенка тут же подбежала к малышу, радостно пофыркивая, снова принялась облизывать его, а он припал к вымени.

Солнце уже вышло из-за горных увалов и его косые лучи скользили по тундре. Со свистом пронеслись над пасущимся стадом сауки, гортанно закричали куропатки, важно проплыли над сопками лебеди.

Егор Вась радовался весне.

«Теперь без меня не обойдется»,— подумал он и пошел будить невестку. Но Евдокия не спала. В чуме горел костер, над которым висел большой котел с мясом и ведерный чайник. Двое пастухов еще отдыхали, другие два были в стаде. Там и сын Митрий.

Хорошего сына вырастил Егор Вась. Глаз у него востер, руки ловки, ноги быстры, как у молодого оленя. Лучшим пастухом в совхозе считается. Сколько раз премию получал. В Праздник олена его упряжка всегда первой к финишу приходит, его пуля точно в цель попадает. Поставь на голову стакан, отойди на сто метров — и Митрий снимет его с твоей головы. Правда, они на такое не шли, но старик уверял: Митрий чирка налету из мелкашки сбивает. И невестка попалась добрая, ничего подсказывать не надо, обо всем сама догадывается. Только подумаешь, что подошвы у тобоков надо бы заменить, протираться стали, а глянь уже новые подшиты. И когда она успевает? И за мальцем приглядеть надо, он еще в зыбке, и пищу готовить, а мужиков в чуме много, и рубахи пастухам постирать.

— Егорке-то подарочек есть,— старик присел к очагу, поджал под себя ноги.— На белых оленях его в большую дорогу жизни отправим. Скоро он прилетит-то?

Старший внук Егор Вася должен вот-вот прилететь из города, где всю зиму жил в школе-интернате. И не тем гордится старик, что внук грамоте силен. Этим теперь никого не удивишь. Егорка рисовать любит. В художественной школе по вечерам

учится. И все у него на бумаге получается ну как есть взаправду. Нарисует олешка — как живой. Собаку — кажется, что она готова кинуться за олешками, что это дружок Егорки Шарик. А недавно письмо прислал, в ней картинка акварелью: снега, какой-то дым столбом, оленя упряжка, на нартах человек неподвижно лежит, закутанный во что-то, ясовей — сразу и не угадаешь кто, лишь спина видна. Глядел, глядел Егор Вась на эту картинку и слезы из глаз покатились, ведь это его внук нарисовал, когда Егор в оленном батальоне служил, раненых на Карельском с передовых вывозил в медсанбаты, снаряды бойцам подкидывал, когда по вражеским тылам рейды делали. Тридцать лет уже с тех пор прошло. Чем отдарить? Что Егорке в подарок преподнести? Давно мечтает старик: когда внук закончит школу, они поедут по стойбищам на белых оленях, самую хорошую невесту приглядят. Тогда и помирать старику можно.

— Есть станешь, отец? — спросила Евдокия.

— Рыбки бы, свежепросолки, да нету еще, — ответил он. — Чаю налей. — Егор Вась не спеша, как принято у тундровиков, большими глотками, с блюдца, лежащего на широкой пятерне, пил чай, потом утер лицо мягким полотенцем, сказал «Спасибо!» и прилег на шкуру.

Когда Митрий вернулся в чум и сел завтракать, старик уже спал, громко похрапывая, как человек, много потрудившийся за сутки.

— Всю ночь в тундре опять пробродил, — пожаловалась Евдокия мужу. — Все беспоконтся, как бы оленят не растеряли. Я уж ему говорю: «Есть кому присмотреть за стадом без тебя. Бригадир ты или нет, отец? Начальство! Спрашивай, требуй с пастухов... Куда там. «Без меня, — говорит, — не обойдется, разве справятся они?»

— Он всегда такой был, — рассмеялся Митрий. — Мы же для него всегда непутевыми останемся, как за олешками за нами присматривает. — Он положил крепкую, крупную руку на плечо жены. — Весна в тундру пришла. Егорка где-то тоже ночами не спит. Весь в нас.

На большой, гладко выструганной доске лежали куски парной оленины, пастухи брали ее руками, на кончики ножов, запивали бульоном. Они устали за ночь. Теплый, южный ветер, прилет птиц, солнце, удачные отели важенок взбудоражили их. Через несколько дней они свернут чум, погрузят имущество на нарты и стадо пойдет дальше, к морю.

Хозяин чума Егор Вась спал и ему снился белый-белый, как апрельский снег, олененок, делающий первые, робкие шаги. Пастух держал его на руках и говорил: «Вы с матерью друг друга

еще только по запаху да по голосу знаете. Куда без меня. Пропадете!»

Бывало такое. Случалось не раз. Родится у оленухи мертвый малыш, а другая погибнет при родах. Егор Вась тут как тут. Подсадит малыша к приемной матери и та его за своего посчитает. Но надо успеть, пока теленок не обсох. Принеси через несколько дней — и не пытайся. Важенка почивает — чужой. Успеть надо, пока молока матери не насосался. А голос важенки? Если б малыш не запомнил его сразу, то тянулся бы за каждым встречным оленем, а их в стаде много. Попробуй, найди его потом. У нас, русских, есть поговорка: «Слепа материнская любовь!» Точно. Важенка спокойна лишь тогда, когда чувствует запах своего малыша, если вымя ее вовремя освобождается от молока, различает олененка по голосу, не обращая внимания на его внешний вид.

Через несколько дней в стойбище прилетел вертолет. Привез почту, продукты — сушку, печенье, яблоки, чего уже давненько не было в чуме и без чего скучно становится, газеты, журналы, которые пастухи любят почитать после дежурства в стаде, а самое главное — прилетел Егорка. Из вертолета первым выскочил он — коренастый крепыш в куртке с замком-молнией, пыжиковой шапке, теплых ботинках — и кинулся к матери, а потом степенно протянул руку деду.

Теперь можно было ямдить дальше.

Ночи стали совсем светлые. Предгорья Полярного Тимана окутались голубой дымкой. Начали вскрываться реки.

Белан рос не по дням, а по часам. Как и Егорка, ему все хотелось знать. Теперь они были неразлучны. Егор Вась до слез смеялся, глядя, как они носятся по тундре, какие номера выкидывают.

Когда олененок был поблизости, мать спокойно кормилась на ягельниках, не мешала ему. Соседи боялись приближаться к ним — так рогами важенка подденет, что света белого не взвидишь. И поделом, снег-то еще не везде сошел, самим порои надо делать, а не в чужие соваться.

Белан не переставал удивляться. Подошел он как-то к озеру, нагнулся и хвать копытцем по воде. Свое отражение он принял за другого олененка. Так повторялось несколько раз — отбежит в сторону и снова к озеру возвращается, — и снова брызги летят в разные стороны. А потом стоит, словно раздумывает: «Чудак!»

Егорка рядом с ним. Смеется. Подражая деду, говорит: «Дурной, это ж ты! Понимаешь — ты!»

Таким и нарисовал его на большом листе из привезенного с собою блокнота.

Вылетит из-под самых ног куропач, заорет на всю тундру «Кэбар!», шарахнется олененок к матери, прижмется к ней, а она, приподняв голову, оглядится кругом и снова примется за ягель, всем своим видом показывая: «Чего ты испугался, дурашка? Это ж куропат!»

Ветерок ли подует с гор, льдина ли треснет на реке, ручей ли под снегом зажурчит, песец ли из норы на взгорок выскочит — до всего есть дело Белану. Вдоволь набегавшись неподалеку от матери, спешит к месту, где она кормила его молоком в последний раз. Место это помнит.

А с каким удивлением глядит он порой на лаек, гоняющих оленей. Собаки — они все понимают. Стоит Белану отбежать в сторону, как Шарик — лохматый, юркий песик, тут как тут. Прижмет голову к земле — «У-у-у-у-ы!», но не грозно, как на взрослых оленей, а как бы шутя, напоминая: подожди, я тебе еще дам жару, а потом балуйся.

Егорка в это время помогает деду чинить старые нарты. Порой тынзей в руки возьмет, чтоб поймать оленей для упряжки, и поедет к соседям, или за утками сходит на озеро, а чаще всего — выберет место посуще, раскроет на коленях свой блокнот и водит карандашом по белому листу. Подойдет к нему сзади Белан, заглянет через плечо и фыркнет — опять откуда-то чужой олень взялся.

Егорку не узнать. Куртку он сменил на малицу, ботинки на тобоки, подпоясанные шерстяным пояском. Капюшон малицы откинут на спину. Волосы блестят как воронье крыло, глаза горят, а руки что-то делают.

Уже начала пробиваться пушица — любимая травка оленей. Зазеленели кустарники. Птица на гнездо села. В песчаных норах, вырытых на склонах сопок, появились малыши. Белая сова по совместительству взяла на себя обязанности сторожа гусиных гнездовий. Песцы обходят их стороной. Они-то знают силу совиных лап.

Все идет как надо, только так Егор Вась беспокоится. Ворона в тундру залетела. Не к добру, говорят, это. Как бы олешки болеть не стали, копытка бы не объявилась.

— Дедо, а дедо,— сказал ему Егорка, присаживаясь на краешек нарт.— Ты не бойся. Я закончу школу и ветврачом стану. Придумаю такое лекарство, что никакая хворь наших олешков не тронет. И еще что-нибудь такое, чтоб вспрыснуть на лед — и он тут же растает, сколько хочешь ягеля олешкам будет в любое время. Хорошо, а?

— Ты придумаешь,— качнул головой Егор Вась,— еще и в море льды растопишь.

— А что? Сколько воды из него получится, а ее, говорят, уже теперь не хватает. Нам учитель про это рассказывал.

...Стада подходили к Карскому морю. Дни летели быстро. Придет пора, ударят первые морозы, и оленеводы повернут в обратную сторону. К тому времени Егорка подготовится к встрече Праздника оленя. У Белана отрастут рога, он уже не станет всему удивляться, а будет настороженно принюхиваться к посторонним запахам, поймет, что кроме друзей у него в тундре немало и врагов, от которых надо быть подальше. Подметят оленеводы, что он крепче, выше, стройней других оленят.

В сентябре, когда Егорка будет уже в городе, когда с кустарников начнет осыпаться листва, с гор подует холодный ветер, Белоногая на какое-то время исчезнет. Никто не заметит этого кроме старого Егор Вася. Усмехнется он: «Бродяжка, опять в том же месте...»

— Вернется? — спросит Митрий.

— Ты про нее? Кто его знает. Раньше обратно приходила. Дурит. Есть у нее тут ухажер.

Не раз, бывая в тех местах, я слышал от пастухов рассказы о каком-то «дикаре», каждый год спускающегося с гор в долину, сбивающего гаремы из полудомашних воженок. Чего только не говорят о нем — и ростом велик, и красоты отменной — рога золотом отливают, а сам белый-белый, как снег на вершинах гор. Одни проклинают его, другие восхищаются, трети помалкивают и мысленно рисуют картину, как он в кораль входит. Пробовали заарканить не раз, куда там — никакая изгородь не держит, от любого тыззе ускользает.

Лишь Егор Вась улыбается: у него есть Белан, а Белоногая, наверняка, вернется в стадо. Будет у Егорки упряжка, которая счастье приносит.

## ВОДА ПОКАТИЛАСЬ

НЕ ХОТЕЛ отец брать ребятишек с собой. «Далеко, — говорит, — идти, намучаетесь. Пожни чистить — не в прятки около дома играть. Некогда с вами там возиться». Мать и хотела бы возразить, да что скажешь, если Иринка-баловница любит побегать. Стоит матери отвернуться, как они с братом уже на улице. Ищут друг друга. Андрик — тот не умеет прятаться, обычно за углом стоит или за поленицей. Сестренка его тут же находит. А если она спрячется, то не скоро сыщешь. Как ее найдешь, если, скажем, она в конуру к Найде забралась и шепчет собаке: «Усы!

Усы!» Собака мечется на цепи, лает, а на кого — неизвестно. Брат по сторонам смотрит и не может догадаться, что это всего лишь проделки сестры. Так и не найдет, пока самой не надоест, не выскочит к нему, или мать ужинать не позовет. Сегодня тоже пробегали допоздна. Сидят сейчас за столом, ужинают. Опустила девочка голову, не знает, как еще отца просить, чтобы на Мачу взял. Провинились.

— Тата, а тата! Возьми!.. Мы слушаться будем. Помогать вам станем.

Мать посмеивается, а отец усы поглаживает: мол, заступник тоже нашелся. Но как сыну откажешь, если ему десятый пошел — и воды домой наносит и дров наколет.

— Ладно. Только чур не хныкать и домой не проситься. Пожить там придется. Одеяло для них прихвати,— сказал он матери.

Иринка от радости даже в ладоши захлопала, прищурилась, отцу на шею бросилась. А сама на брата поглядывает: мол, все по-моему вышло. Накануне Андрик целый вечер твердил: «Не возьмет отец, у тети Кати оставит». А тетя Катя ворчливая, старенькая, не нравится ей ребячий гомон под окнами, игры. С мамой куда лучше. Где понять Иринке, что если бы не Андрик, не видать бы ей пожен, как своих ушей, не бывать бы в заречье.

Выехали рано утром. Когда лодку на волнах стало подбрасывать, Иринка даже глаза от страха зажмурила. Куда ни глянет — волны. Брызги в лицо летят. Мать ее рядом с собой посадила, теплым платком укутала, чтобы не прохватило. Черемуха цветет. В это время всегда холодновато. Уса в Печору лед выбрасывает из тундры. С моря дует холодный ветер. Там тоже подвижки льда начались. Порой так прихватит, что снег в июне на зелень падает. Свежуном этот ветер зовут. Его появление совпадает с цветением черемухи.

Андрик ближе к отцу подсел, в корму, чтобы за руль подержаться. Он и куртку расстегнул: жарко. Лодкой править — не простое дело, особенно когда волны разыгрались. Но ему это знакомо. Знал бы отец, что не в первый раз его сын реку переезжает. Подъязков трехлитровую фляжку с верхом кто вчера притащил? А откуда? С заречья. На разливе ловили. С ребятами на веслах переехали. Так и быть, Иринка не скажет отцу, она не ябеда. Но о чем они там говорят?

— Карбюратор засорился, наверно? Потому и заводился мотор плохо? — спрашивает брат, насупив рыжие, как у отца, брови.

— Да, прочистить надо.

— А может, бензин плохой?

— Может, и так,— отец рассуждает с сыном, как со взрослым.— А скажи-ка мне, где ты этой премудрости выучился? Я тебя к мотору еще близко не подпускал.

У Иринки даже сердце захолонуло. «Попался,— думает,— братик».

— Я с дядей Колей ездил, у него смотрел,— отвечает Андрик.

— Ну-ну, а потом на веслах? Не спросясь?

— Один раз...

— Говорить надо,— отец с укором посмотрел на сына.— Мать беспокоится дома, в окно глядит, страху из-за тебя набралась...

Вспугнув табунок чирков, лодка завернула в устье речушки, где свисают с обрыва черные ветки старого ельника. Стволы деревьев такие, что не обхватишь, корни из-под земли торчат, как бревна. Отец сбавил скорость, чтобы на куст какой-либо или тополя — полузатонувшее дерево — не напороться. Такого добра здесь с избытком. Во время половодья течение идет к истокам и, огибая бор, снова скатывается через непроходимые заросли ивняка в Печору. По межени, ровной воде, приходится дорогу лодке топором пробивать. Им повезло: кто-то уже заезжал, проложил путь. Дальше, к бору поближе, лучше стало, вдоль речушки луга потянулись. Вода с них только сошла. Около воды каких цветов нет — и желтые бутоны, и синие колокольчики, и алые звездочки... Все они сразу же после половодья распускаются. Так бы и выскочила Иринка на берег, наравла полную охапку, но мотор, к несчастью, не ломается, лодка без задержки идет.

Причалив к берегу, отец прикрыл мотор брезентовым чехлом, взвалил на плечи мешок с продуктами, заткнул за пояс топор. Идет он с матерью, припадая на деревяшку — ногу на войне оставил, когда ребятишек еще на свете не было, разговаривает вполголоса. Он не спешит. Андрик с Иринкой еле успевают за отцом. Брат по дороге удилище срубил, тащит на плече. «Кого он ловить собирается? Речка-то позади осталась?» Нос кверху задрал, на сестренку и не смотрит... Не до нее ему. Считает, что маленькая она. Даже мать не знает, что девочка уже выросла. Разве маленькие в школу ходят? Они в садике гуляют с воспитателем. А Иринка уже прошлой осенью в лес за ягодами с девочками ходила. Правда, дальше полей они боялись в ельники забираться: вдруг медведь встретится! Около изгороди кружили в березняке, но по листовой банке черники насобирали и полный платок белых грибов приносили. Их около полей много, под каждым кустиком растут.

— Мама, а тут ягоды есть?

— Брусника бывает. Боровая! Съездим как-нибудь. Если ветра цвет не обобают — до зимы не оберешь,— отвечает мать, посматривая на холмы.

— И нам хватит, и птице останется,— добавляет отец.

— Тата, а птица здесь живет?

— Тетеря брусничник любит!

Сосновый бор, зеленый, залитый солнцем, с белыми отлогими холмами, кончился так же неожиданно, как и начался. Чуть заметная узкая тропка свернула в густой ивняк, снова пересекла речку, где пришлось делать переход из бревен, и оборвалась.

— Осторожней! — предупредил ребяташек отец. — В грязи искупаться можете.

Только тут Иринка поняла, почему мать заставила ее резиновые сапоги обуть. В низких местах еще осталось много воды. Под ногами захлюпали ржавые кочки. Сапоги то и дело оставались в грязи, приходилось звать на помощь мать.

Отец взял девочку под руку.

Низина оказалась небольшой. За ней открылась та же речка, но совсем узкая, вдоль нее тянутся пожни.

Отец сбросил наземь мешок, достал из кармана кисет, присел на бугорок.

— Чай греть станем? — спросила мать.

Иринка уже ничего не слышала. Она не виновата в том, что глаза сами закрылись, что уснула, прижавшись к материнскому подолу.

Откинув с лица большой узорчатый платок, привезенный в подарок матери кем-то из родственников, девочка, протирая рукой глаза, долго не могла понять, где она и как сюда попала. Рядом, искрясь на солнце, журчала речка, на перекате, выпрыгивая из воды, плескалась рыба.

Взглянув на старенькую, с покосившимся черным углом избушку, Иринка вспомнила, что мать где-то рядом, и прислушалась.

Ветерок доносил из-за кустов запах дыма.

— Ма-ма! Та-та!

— Иди сюда. Мы здесь! — за них ответил Андрик.

Девочка побежала вдоль речки и вскоре увидела большой костер, возле которого стоял Андрик. Сучья весело потрескивали в огне, подбрасывая вверх снопы искр, а он все подкидывал и подкидывал...

— Ты поела? — спросила мать, разгибая спину.

Красивая у Ирины мама. Вон как разумянилась, глаза смеются, сарафан на груди расстегнулся — и не замечает. Жарко ей, наверно.

Иринка промолчала. Возвращаться к избушке не хотелось. Тоскливо там одной. Но мать догадалась взять еду с собой и протянула девочке завернутый в газету кусок булки, печенье, две конфеты с белочкой на обертке. Иринка раздобрилась: булку пополам разломила. Конфеты сначала в карман фланелевого платьища опустила, но потом подумала и одну протянула брату.

— Ешь сама, некогда мне! — отмахнулся было Андрик, но конфету все же взял.

— А тата где?

— Дальше, мусор убирает. Захламило пожню водой.

— Там же сыро...

— Ну и что? Это сейчас, а скоро просохнет. Во, трава будет...

Андрик собирал в кучу оставленный на пожне большой водой хлам. Чего тут не было: сучья, бревна, кокорины, вырванные из земли вместе с дерном, а из-за раскидистой березы торчала корча лодки.

— Андрик, а люди на ней были?

— Скажешь тоже. Оставил хозяин на берегу — вот и унесло. Как у Игнашки.

Это он соседа вспомнил. Их сосед Игнат бревна весной в реке ловил. В сплавконторе за аварийный лес хорошо платили — по полтиннику за бревно. Вот и сколотил мужик плот, приткнул его к берегу, стал подсчитывать, сколько заработал, да с радости в ларек побежал. Пока то да се — лодку льдиной с берега столкнуло и унесло вместе с плотом. Поди поймай... Только и видели...

— У плохого да жадного хозяина всегда так! — сказал брат. — Мы с татой смотрели лодку. В озеро затянем — сгодится...

— А меня покатаешь?

Андрик не ответил. Он, посапывая, тащил к костру новую охапку мелкого плавника. Бревна они с матерью откатывали поближе к реке, складывали в штабель. Зимой на лошади вывезут, пригодятся на дрова, в лесу рубить не надо.

На местах, где лежали бревна, оставались лишь белые пятна.

— А что я нашел! — сказал Андрик.

Иринке хочется узнать, но из брата не скоро вытянешь секрет. Станешь спрашивать — он скорей язык проглотит, а не скажет. Она снова на хитрость пустилась:

— Подумаешь, нашел! И знать не хочу. А что я у избушки видела!

Не терпится мальчишке разгадать тайну сестры да и своей поделиться, почесал он затылок и за руку ее, в сторону от костра, тянет, где несколько бревен вместе лежат. Только подошли они

к ним, как из-под самых ног кулик выбежал, засеменил в сторону.

«Уйди! Уйди! Уйди!» — разнеслось над пожней. Жалобно так раскричался. Иринка засмотрелась на него, а брат на землю показывает. Между бревнами, среди хлама, ямочка сделана и в ней пестрые яички лежат.

— Ой, гнездышко! — девочка нагнулась, хотела потрогать яички рукой — серенькие с зелеными крапинками, но брат так за рукав дернул, что у нее даже под мышкой треснуло, чуть не упала.

— Попробуй только!.. Я уже одно вынимал. В воду опускал — плавает. Запарено, значит. Обратно положил. Кулички скоро будут.

И, как будто ничего не зная, они принялись таскать хлам с другого конца пожни.

Мать после них, правда, подходила к этому месту, хотела убрать мусор, чтобы не мешал косьбе летом, чтоб косу не сломать, но задумалась о чем-то своем, скрестила руки на груди, улыбнулась чему-то, глядя на ребят, и дальше прошла.

— Андрик, а там рыба так и скачет, так и скачет... Бульк!.. Бульк!..

— У избушки?

— Ага!

Глаза рыбака заблестели, хочется ему бросить работу и к речке убежать, но отец строго-настрого запретил никуда от матери не отлучаться, помогать ей.

На ночлег устроились в избушке. Мать истопила каменку, отец с Андриком притащили из леса лиственничных веток с мягкой зеленой хвойей. Сверху расстелили одеяло. Как на пружинном матраце лежишь. Хвоя у лиственницы душистая, запах густой. У Иринки поначалу даже голова закружилась.

Отец, как всегда, перед сном отстегнул свою деревяшку, которую почему-то считал лучше заводского протеза, какой Андрик видел у начальника милиции в райцентре. Но начальник милиции все больше на машине ездит, а его отец рыбак. Зимой на лыжах по глубокому снегу бродит. Капканы на горностаев не настораживает, как дед, белку плашками не ловит, с собакой не охотится, зайцев петлями не добывает, птицу не бьет. Он подледным ловом рыбы занимается — бригадир.

А дед прошлой зимой берлогу нашел. И отец с ним тогда на медведя ходил.

Обидно парню, что забыли о нем. Он тоже ружье в руках умеет держать и курок знает как спустить. Взял бы длинную вишу и давай в берлоге крутить, пока медведь не взвоет от злости.

сти, не выскочит со страшным ревом. Тут бы он положил ружье на дерево, приложился бы и — бац!.. Но не сказали даже. Обидно!.. Двух медведей взяли.

Умер недавно дед. Это была его последняя охота. Все ждал, когда Андрик подрастет, заменит его. Простыл где-то, слег перед весной да и не поднялся больше.

Хотя и не бывал Андрик до этого в избушке, но знает: вдоль опушки бора и в глубь его тянутся путники деда — невидимые для постороннего глаза тропки, вдоль которых на деревьях сделаны засечки. По обеим сторонам путников пасти когда-то стояли — деревянные ловушки на зверя и птицу. Некому за ними присмотреть сейчас. Отцу некогда. Закончит Андрик школу — и тогда еще посмотрим, кто в районе больше пушнины добудет... Берлогу отыщет — отца пригласит, чтобы вместе, значит, на зверя идти, как водится...

Дед здесь каждый год осеновал — жил с первых заморозков до ледостава на реке. И рыбы, сказывают, много наливала. Хариус в речке водится до холодов, когда начнет в Печору скатываться.

Мальчишка приподнялся на локте, оглядел избушку. Ночи в начале лета на севере светлые, все видно.

На столе кружка эмалированная стоит — из нее дед чай пил. Тут же лежит большой охотничий нож — дед его сам ковал, и ручку сам делал из оленьего рога.

Все здесь деда напоминает. Дед у Андрика не только знаменитым охотником был. Он в гражданскую партизанил в этих лесах. За белобандитами гонялся, как волков их на займках выслеживал. Чуть повыше виска с той поры у него шрам остался.

— Дед, — как-то спросил Андрик, забираясь ему на колени, — а что это у тебя?

— Евсей на память оставил. Был такой тут... Лютивал по деревням. Старый режим хотел вернуть. Царя свернули, а ему куда удержаться было. Но многих смущил злодей, с пути сбил. Многих сгубил. Молодых. Был у меня друг — Вася!.. Погодок. В разведку пошел да напоролся на белобандитов. До последней пули отстреливался.

— Из пулемета, как Чапай?

— Нет, Андрюшка. Из берданки. Английскими штыками его к полу избы прикололи. Но и сами ног не унесли. Там мы их и прикончили. Там меня и царапнула евсеевская пуля-дуря. Из карабина стрелял, да промазал. Руки, наверно, дрожали от страха.

Любил Андрик послушать деда и дед его любил.

Привалась лицом к широкому, не по росту, плечу отца, спала мать, улыбаясь во сне. Она всегда так: за работой песни поет, ночью смеется вполголоса — не поймешь, то ли со сна, то ли с отцом разговаривает, закрыв глаза. Чудные эти взрослые, непонятные.

Веселая у Андрика мать. Соседи, слыхал, говорят, что ее никакое лихо не берет. Что это «лихо»? Он учительку спросил, а она в ответ: горе, значит, беда. Какая у них беда, если мать вечерами песни поет, отец, когда с путиной вернется, на гармошке ей играет? Что-то не так учителька сказала. Надо будет у матери спросить. Она лучше разъяснит.

Подложив под щеку ладошки, крепко спит сестренка. Андрик представил себе, как завтра отпросится у отца половить хариусов и побегут они с Иринкой вдоль речки. Отпустят или нет? Он посмотрел на отца, хотел спросить, но услышал храп: уморился за день, расчищая колхозные пожни.

Перед глазами мальчишки запрыгали серебристые рыбины. Вихрастая голова скользнула с ладони на пиджак, подложенный вместо подушки.

Кажется, только-только легли, а солнце уже высоко снова поднялось над лесом, новое утро наступило. Отец деревяшкой о пол стукнул. Он и дома всегда так знак подает: мол, подниматься пора. Андрик, как настоящий помощник, сразу вскочил, хотя глаза еще слипались. А Иринка похмыкала спросонья, покусилась: больно не хотелось ей вставать — утренний сон сладок.

— Сегодня дальше пойдем,— сказал отец, подмигнув сыну.— Пусть спит. Одна в избушке останется.

— Не-ет! Ма-ма! — девочка тут же спрыгнула с нар.

— Тогда быстро к речке. Умойтесь как следует да воды притащите на чай,— мать сунула ей полотенце.

Было холодновато. Над речкой стояли клочья ночного тумана. Иринка поежилась, но стоило лишь умыться обжигающей студеной водой, и сонливость как рукой сняло. Они притащили к огнищу ведерко воды, держась за его ручку с обеих сторон, стараясь не расплескать воду по дороге. Кругом все звенело от птичьих голосов.

— Тата, можно, я поудю?

— И я с тобой! — добавила Иринка.

— Бегите, пока мать завтрак готовит. Посмотрим, какие из вас рыбаки. Мушку-то прихватили из дома?

— На нее еще рано. На червя хариус берет. Я под бревнами нашел толстых-претолстых...

— Рыбак, значит, настоящий. Я тоже старался, да худенькие все попадались, нестоящие. Повыше поднимись. Там глубже. Плескалась вчера рыбешка.

Брат и сестра скрылись за кустами. Они бежали вперегонки, сверкая на солнце голыми пятками. Босиком-то лучше, чем в сапогах. Ни мать, ни отец не сказали им, что обуться надо. Можно, значит, босиком. Трава еще не колет ноги. Она только поднимается. Вот когда скосят летом — другое дело — как иголками ноги колет.

Но на уху ребята не достали. По-иному все обернулось. Не успел Андрик забросить удочку на середину круглой большой ямы, где вода почти не двигалась, по берегам которой густо разросся молодой тальник, как сестренка нагнула удилище к земле.

— Ты чего? — он хотел шикнуть на нее, но услышал шепот.

— Смотри-ка, котятки! Как у тети Кати. Черненые...

— Кто? — наш рыбак заморгал, не веря своим глазам.

Неподалеку от них на траве резвились два котенка. Они трепали друг друга лапками, били хвостами, катились по траве, смешно повизгивая. Андрик с Иринкой смотрели-смотрели и расхохотались... Котята от их смеха кубарем в воду — только пузырьки по воде бегут. Откуда взялись они, эти пузырьки?

— Ребяты! — послышался издали голос отца.

— Где вы? — звала мать.

Они долго не отвечали, надеясь хотя бы одним глазком еще раз посмотреть на забавных котят, но те не показывались.

— Нас испугались? — спросила девочка. — Они не утонут?

— Эх ты, мужик! — раскатисто смеялся отец, слушая рассказ сына. — Ты чуешь, Настя, что они говорят? Котятики! Выдра тут живет. Ее деток видели. Что вспугнули — не бойтесь: осторожней будут, не станут зря на глаза показываться. К зиме вслед за рыбой в озеро переселятся. Мы это озеро тянуть будем. Вот тогда и поймаем их в капканы. Как думаешь, мать, можно Андрею это доверить?

Мать, разливая чай в кружки, посмотрела сначала на отца, потом на сына.

— Смотри сам. Кто едет, тот и правит. Я бы взяла. К зиме мне надо новый сарафан справить, Ирине тоже обновки нужны. Два мужика лучше, чем один.

— Возьму ужо на выходной. Пусть приучается. В деда, сын, идешь. По всему вижу.

Иринка молчала. Она жалела, что родилась девочкой. Как ни проси, а на промысел отец не возьмет. Но не признаваться же в этом брату.

— А мы осенью будем за ягодами ходить. Варенья вам наварим. Грибов насолим,— Иринка высунула язык: мол, это еще интереснее.

— Ириша! — строго сказала мать.— Укороти язычок-то да не болтай ногами, когда за столом сидишь. Взрослая уже!..

Первый раз назвала мать дочку взрослой. Как тут не послушаешься.

— Котятки, значит? — смеялся отец.— Сами вы котятки. Работнички. Ешьте, пейте да собираетесь пора. Ух, насмешили...

## ПОРШОК

ЕЩЕ до открытия навигации там, где раскинулась старая гарь, появились брезентовые палатки, засветились вечерами костры. Дымки их относило к реке, возбуждая твоё любопытство. А потом над рекой разнесся гудок парохода и к берегу причалили баржи, на палубе которых стояли тракторы, какие-то невиданные в наших краях машины, дощатые домики на полозьях, лежали железные трубы, катушки стального троса, груды железных брусьев.

Все это вскоре перетащили к палаткам, где, как давно поговаривают люди, новый город закладывается.

Кустарник, росший по склонам ручья, был раздавлен широкими гусеницами тягачей. Узкая тропинка, что вела из деревни на гарь, раздалась, стала шире проселочной дороги. Еще немного времени — и над деревней поднялась вышка тяжелой буровой. Ее видно даже из райцентра, что в десяти километрах от нас.

Шоферы, ведущие свои автомашины по дороге, подолгу смотрят на нее из кабин грузовиков. Они кирпич на стройки возят, минеральные удобрения в колхозы забрасывают, товары в сельпо. Расстояние небольшое, но есть куда возить: с полкилометра не пройдешь — деревня, еще с полкилометра — другая, еще километр — снова деревня.

А вот таких вышек не было.

Не потому ли твои сверстники перестали торчать у обочины дороги, прося дядю Ваню или дядю Петю подвезти, за руль подержаться одной рукой? Вы начали все чаще навещать приезжих — рослых, крепких ребят в коротких цигейковых куртках, кожаных сапогах с ремешками на голенище. Интересней вам тут показалось. В ваших разговорах появились новые слова:

глиняный раствор, керн, горизонт, порода. Ты уже решил про себя: стану геологом.

Целые дни ты проводишь у новых знакомых. Там не только готовятся к пуску буровой, но и занимаются обыденными делами вроде пилки дров. Но это скучное занятие, что тебе так надоело дома, здесь имеет свою прелесть. Высохшие на корню деревья валят не вручную, а «Дружбой». Ты сказал, видя, как дядя Костя — пожилой рабочий, похожий на твоего отца, недавно умершего от фронтовой раны, — кряжистый и спокойный, с густой сединой на висках, разделяет дерево за несколько минут.

— Нам бы так!..

— Много дров на зиму уходит?

— Сажен двенадцать. Подергаешь!.. — ответил ты.

— Заявка принята. Ты мне помогаешь, мы вам поможем.

Вот и в расчете будем.

Помнишь, как однажды вечером, когда солнце роняло на лес косые лучи, падала сухая ель? Качнулась сначала, попыталась удержать равновесие и рухнула наземь. А рядом с тобой, из-под самых ног, разлетелся в разные стороны выводок рябчиков. Один из них золотистым шариком припал к стволу лежащей ели. Кроха, а уже летает.

— Поршки! — сказал дядя Костя. — Где-то гнездо было. Посмотри, вон как мать беспокоится.

Рябуха, волоча крыло по земле, вереща, подпрыгивая над кочками, старалась отвести вас в сторону. Она не первый год у этого овражка гнездо устраивает. Укромный уголок. Непонятно ей, что людям понадобилось тут, всегда стороной обходили. Тревожится за птенцов.

Дядя Костя снял с лысой головы свою пятьдесят девятого размера шапку, накрыл ею поршка, подержал его в ладони и подкинул вверх.

— Ф-р-р! — разнеслось по лесу.

— Задавить могли, дурены!

Тебе так хотелось его домой унести, вырастить, но рябчики в неволе не приживаются. Дядя Костя так сказал, он полжизни в тайге провел, всего насмотрелся.

Летом дядя Костя подарил тебе кусочек керна — земной породы, взятой с большой глубины. А инженер, его старший начальник, долго рассказывал, как устроена земля. Когда от учителя слышишь, не так верится. На кусочке керна следы раковины видны. В наших местах, значит, когда-то море было.

Буровики ждали, что нефть появится в скважине, но случилась авария — заклинило скважину, и работы приостановились. Их продолжили уже осенью, когда на полях созрело жито, кол-

хозники вернулись с сенокоса, рыбаки выехали на лов семги и омуля, а в лесу по утрам пальба открылась — охотничий сезон начался.

Дядя Костя обещал взять тебя на охоту. Он знает, как птицу скрадывать.

Ты тоже лыком не шит. Глухаря или тетерева зазря не возьмешь. Смотри, как сидит. Если птица клюет что-нибудь, значит, ничего не подозревает. Если посматривает по сторонам, к ветке прижимается или шею вытягивает, не ест — замри. И подходи так, чтобы солнце за спиной было: птица на солнце смотреть не может. А вообще глаз у нее не хуже инженерского бинокля, в который начальник буровой давал тебе на заречье поглядеть.

Но вам так и не удалось вместе побродить по таежным увалам: у тебя занятия в школе начались, у дяди Кости работы много, сутками не уходит с буровой. Но все же изредка забежишь к нему, посидашь в передвижном домике, где ярко горят электрические лампочки и неподалеку гудят дизели, послушаешь рассказы геологов. Про Войвож они вспоминают, Комсомольск-на-Печоре, Тэбук, слава о котором сейчас далеко разнеслась.

— А у нас будет город? — спросил ты вчера.

— Будет! — ответил инженер, по годам годившийся дяде Косте в сыновья. — Не здесь, так в другом месте. Не слыхал о нефтяном озере?

— Не-е-т!

— Как же так, Иванович, самое главное упустил, самое важное?

— Не знал!..

— Где-то тут, под землей, озеро имеется, полное нефти. Откроем его — начнутся дела.

— А если нет?

— Тогда ты это озеро найдешь. Кому-то надо... Понял?

Геологи не наощупь работают, не ведрами в реке, как в стариину было, нефть берут, не по каплям собирают, а сразу тоннами, с помощью машин, точных приборов. Они специально учатся этому делу. Всю жизнь учатся. Дизелист и то у них чуть ли не с высшим образованием. В колхозе во время посевной два трактора за один день отремонтировал, а сколько над ним мучились! Заведут двигатель, пойдет трактор по борозде два-три метра, чихнет — и начинай снова.

— Шел бы к нам, — сказал председатель дизелисту, которого в деревне прозвали машинным доктором. — Чего в тайге болтаться.

— И рад бы, да дела не кончены. Еще всю землю буром не прощупали.

— Ну, как Поршок? — спросил у тебя неожиданно дядя Костя.

А ты за это время успел забыть о поршке. Рыбалкой увлекся, на сенокос в колхоз ездил. Был в лесу, поленицы переложил, рассыпались они у вас, но поршка не встретил. Может, охотники убили? По утрам в лесу разносится «бу-бух!».

Не знаешь, что и ответить дяде Косте. А он посмеивается. Какой же лесовик, если не знаешь, что стало с поршком?

Успокойся. Ничего с ним не случилось.

Встань завтра пораньше, до восхода солнца. Отправляйся в лес. Неподалеку от буровой выйдешь к полянке, заросшей редким березнячком. За ней, в долине ручья, — невысокий, но густой ельничек и заросли ольшаника. Через них пробита коровами широкая тропа. Когда-то давно огромная ель упала тут поперек ручья. Замыло ее. Образовалась яма. Чуть ниже ямы — порожек, где круглые сутки журчит вода.

Перейди на другой, кругой берег. Увидишь справа большой пень. Присядь. Вынь из кармана манок, свистни раза два-три, как я учил.

Не терпится узнать, что же дальше?

Крылья зашумят. Шагах в десяти от тебя на ветку сядет рябчик. Покрутит хохлаткой, головкой, замрет на мгновение, вытянет шею, закачается на ольховой ветке, как мячик. А потом давай бегать по ней. Свистни еще раз-другой. В азарт его введи. Разойдется он и заведет: «Фю-фи-фи! Фюфюфи-фи!»

В лесу все серебрится: ночью пал иней. Еще рано. Не хрустят ветки. Не шебаршит опавший лист. Солнцу не хочется покидать место ночлега. Завернулось в тучку, как в байковое одеяло, заснуло в ней.

А рябчик уже запел. Приглядись к нему. Он уже не тот: переоделся в темное и теплое платье, лапки большими кажутся — чем-то вроде подшерстка покрылись. Это у него вместо меховых сапог, чтобы ноги не мерзли и легче по глубокому снегу шагалось. Можешь посидеть, помечтать, кем будешь, когда станешь взрослым, о городе, про который все больше говорят люди. Его, этого города, может статься, мы так и не увидим в наших местах: большой нефти еще не нашли, скважина молчит. Но приезд буровиков оставит след в нашей жизни. Она отныне по-другому пойдет. Ты это с годами сам поймешь.

Можешь посидеть на пне, только не кашляй. Рябчик сейчас надолго замолчит: будет слушать, как журчит вода.

Я в такие минуты невольно задумываюсь: снова зима, длинная, суровая. Еще год прошел...

Не заметишь, как иней начинает блекнуть. Рябчик прижмет-  
ся к ветке, прислушается к чему-то и снова запоет:

— Фю-фю-фи-фи-фи!

Все кажется мне, что это поршок. О нем мне дядя Костя рас-  
сказывал. И о том, как вы с ним дрова заготовляли, знаю. Хва-  
лил тебя. «Помощник,— говорит,— у матери славный вырос».

Рябчик заверещал, словно собрался улететь. Сиди спокойно.  
Сейчас в его песне послышится бульканье — «у-у!» — чем-то по-  
хожее на воркование голубей, когда они слетают с карнизов на  
городские площади.

Это песня солнцу. И чем сильней становятся заморозки, чем  
прозрачней воздух и молчаливей лес, тем веселей поет у ручья  
наш поршок, тем дальше слышна его песня. Перед снегом он  
свистит целыми днями.

«Фю-фю-фи-фи-фи!» — разносится в густом уже заснеженном  
ельнике, над которым плывут серые тучи.

Мы с тобой слыхали эту песню. Но ты сходи один на полянку.  
Около ручья заметишь свежие следы кожаных сапог с под-  
ковками. Дядя Костя тоже навещает Поршка. Подружились они  
с ним. Поршок однажды даже на перекладину буровой присел,  
полюбопытствовал, что это там люди делают. Перестал бояться.

Один на полянке побудь. Только ружья не бери. Не надо.  
На охоту мы куда-нибудь подальше сходим, в глушь.

## ГЛУХОЕ ВРЕМЯ

У ГЕНКИ заболел отец. Тяжело. Исхудалый, обросший рыжей  
щетиной, он лежал в постели, бессильно уронив на одеяло жи-  
листые руки, с которых невозможно смыть угольную пыль. Со-  
седи, часто навещающие больного, и товарищи по работе стара-  
ются улыбаться, шутят, и отец смеется, но как-то грустно, без-  
звучно. А более веселого человека, чем Гаврила Панов, во всем  
затоне на найдешь. Бывало, на катере начнет рассказывать —  
и посыплются истории одна за одной, как из мешка, животы от  
смеха подведет, просим: «Перестань!»

— Еще одну! — скажет. — Маленькую. С воробышний шаг.

Заболел неожиданно. Еще накануне стучал молотом в куз-  
нице, выпрямляя изогнутый винт сплавного катера, беззлобно  
поругивая капитана: «Эх, тебя сунуло! Фарватера не знаешь  
что ли?»

Время горячее было — приближалась зима. По реке уже  
несло шугу, а на берегах сплавных речек лежала древесина, не

успели прибрать весной: паводок был бурным, но коротким, и половина ее обсохла, только осенью после дождей удалось кое-что снять. Ночи осенью темные, ни зги не видно, речки у нас труднопроходимые для катеров, порожистые... Кузнеца завалили работой. Каждый требовал поскорей сделать, каждому хотелось не отстать от товарищей, а Гаврила Гавrilович уже в годах, уже под шестьдесят ему.

Тут-то и подкралась болезнь, о которой никто не думал, не гадал, свалила кузнеца в постель. Так с той поры и лежит. Врачи и те толком не знают, что с человеком случилось, вроде бы здоров, а худеет с каждым днем все больше и ничего нельзя сделать. В больницу бы, но наотрез отказался. «В жизни, говорит, не баливал, дома отлежусь. Выдумали тоже, меня в больницу?»

Утром Генка слышал, как он сказал матери: «Свежинки бы».

— Проспрашиваю у соседей,— ответила она.

Но где взять рыбу во второй половине зимы, когда и подледный лов давно закончился. Выехали рыбаки с озер. Сети дома чинят, тес готовят, чтобы с наступлением тепла начать лодки «гнуть», планируют, кто куда поедет весной. Самое, надо сказать, глухое в наших местах время.

Вспомнилось мальчишке, как они с отцом летом на озерах рыбачили. На Большое Березовое ходили. Оно вдоль берегов густой осокой поросло, а в этой осоке щуки стоят. Тянешь живца и вдруг рывок — чуть удилище из рук не выскочит. Иной раз и по-другому — словно зацеп, а потянешь — ударит хвостом, только брызги в разные стороны летят. Одна как-то окунула Генку в озеро с головой. И все же удилища он из рук не выпустил.

Потом разведут костер, надергают окуней, уху заварят, какой дома не отведаешь, хотя обед, приготовленный матерью, в печке не прокисает. Уха на берегу озера дымком припахивает. В котелке, как янтарь, поблескивают кружочки жира. Отец Генки секрет знает: он не снимает с окуней чешуи. «В ней,— говорит,— весь вкус, весь аромат ухи кроется». Вычистит рыбу, прощает хорошенько — и в кипяток. Вынуть тоже вовремя надо. Перевари — уха не та и рыба не та — разваливается на кусочки, безвкусной кажется. Окуней нужно держать в кипятке лишь до того времени, пока глаза не побелеют, ни больше, ни меньше.

Выпьют кружки по две щербы, как у нас такую уху называют, рыбы поедят и присядут на бугорок, бросив в костер травы, чтобы комары не мешали. Можно, конечно, антискомарином лицо смазать, но он мало действует, а когда вспотеешь, то глаза слезятся, щеки горят. Дымокур лучше всего. А во время рыбал-

ки на комаров не стоит обращать внимания: чем больше их бьешь, тем больше слетается.

Хорошо летом у Березовых озер. Жаворонки над пожнями крылышками трепещут. Кряква с выводком в укромное место перебирается, засыпав людские голоса. Только легкие волны в разные стороны разбегаются.

Но все это летом было, а теперь уже вторая половина зимы стоит, морозы под сорок, дороги сугробами перемело, даже автобусы из райцентра в затон перестали ходить.

Пришел парень сегодня из школы, отцу дневник показал, а он даже не спросил, за что, мол, Геннадий, тройку получил. Редко они появляются в дневнике Генки. Но с болезнью отца готовиться стало некогда, матери надо помогать, вот и подцепил.

Мать у него в школе уборщицей работает. Сестренки на полу в куклы играют. В детский сад бы их, но мест пока нет, не могут пристроить. А тут отцу хуже стало. Чем поможешь, если даже сам Семен Алексеевич, фельдшер, лечит не хуже врачей, и тот очки протирает, делает вид, что все хорошо, на поправку, мол, идет, а ездит к ним каждый день.

Свежинки отцу хочется, но где ее достать? Немного раньше бы, когда налим на продольники ловился. Густо он шел на нерест. Генка по несколько штук в день с крючков снимал, в каждом пять-восемь килограммов. Еле домой припрет. Хорошо налим на миногу берет, хотя доставать ее со дна речного тяжеловато даже взрослому. Сколько прорубей выдолбишь, пока сачком из металлической сетки не поднимешь ее со дна вместе с грунтом и илом. Выручал парнишку старший друг его, сосед дядя Витя — на катере летом механиком работает, а зимой, когда флот на отстое — в мастерских. Вместе с отцом. Нашли они месечко, где минога с осени скапливается, даже серебристые попадались, а такая — десятка простых, бурых стоят.

Вчера дядя Витя Генке около клуба вечером встретился.

— Ну, что, Гаврилыч, — спросил он, — завтра воскресенье. Не сходить ли на озера? Я, брат, на Большом Березовом такое месечко нашупал... Окуни берут крупные на блесну с червяком.

— Да, — от радости у Генки даже сердце захолонуло.

— Я тебе в стенку стукну.

Когда мать вернулась с работы, истопив печки в школе, помыв полы, Генка сидел около порога и что-то стругал.

— Насорил тут, шел бы на кухню.

Знает парень, что насорил, но сам уберет. Кухня у них общая. Попробуй там серьезным делом займись — живо соседка вытурит. Все ей не так, все не ладно. Ведро не туда поставил, с дровами снегу занес, а как его не занесешь, если на дворе зи-

ма, поленница доверху замело. Дыму напустил, а как без него обойдешься, если плита раскололась, а новой еще нет.

Соседка раньше в городе жила, квартиру с газом, ванной имела, вот и капризничает порой. Пановы с места на место переезжают. Им и в такой квартире хорошо кажется.

Соседка ворчит целыми днями, а Генка, когда дома, помалкивает, лучше с ней не связываться, думает.

— Я, мама, тут. Уберу после.

— Дров бы занес, воды притащил.

— Все сделаю. Видишь — занят.

Помог матери и снова за свою работу, стругает что-то, резиновую трубку притащил, продернул через нее капроновую леску, которую на рогульку намотал и рукой пробует: раз, раз... Готова удочка.

Рассвет во второй половине зимы поздний. Старшой еще в темноте собрался: в стенку тихо постучали. Самовар согрел.

— Ты куда это? — спросила мать, вставая с койки. — То-то, слышу, всю ночь с боку на бок ворочался.

— Чаю хочешь, мам? Я уже согрел. Мы с дядей Витей рыбачить идем.

— Зря, сынок, мерзнуть только. Глухое время сейчас. Никто ж не ходит.

— Мороз? — тихо спросил отец, который в последнее время просыпался от каждого шороха.

— Потеплело. Снег падает.

В углу, на табуретке стояла большая деревянная кадка с чайным деревом. Генка осторожно отогнул пару дощечек. Дождевые черви, прячась от электрического света, старались уйти в землю, но пальцы рыбака ловко вытаскивали их и бросали в жестяную банку из-под консервов. Еще никто в поселке не хранил червей зимой таким простым способом. Знакомый рыбин-спектор посоветовал: черви рыхлят почву, дереву от них лишь польза, и в то же время наживка имеется. Цветы мать поливает каждый день, а дождевым червям только это и нужно, в кадке они живут зимой, как летом на огороде.

Быстро собрался парень. Чунку взял — узкие длинные санки с полозьями из старых лыж и фанерным ящиком сверху, пешню, лопату, сачок веревкой привязал. Подтянул ремень на фуфайке, перекинул через плечо лямку, застегнул юксы — кожаные крепления на лыжах — и к реке. Лыжи у него камусами обиты, сами скользят под гору, только чуточку придерживай чунку, чтоб не опрокинулась, и снег к ним не прилипает даже в самую сырую погоду. Быстро с горки съехал. А там его уже дядя Витя поджидал.

Дядя Витя тоже на лыжах, в короткой меховой куртке и длинных шоферских рукавицах. Высокий. Когда в каюту катера входит — пригибается. Шаг у него широкий, неторопкий. Вроде бы и не спешит, а угнаться за ним трудно. Но Геннадий привык ходить по его следу.

Полнолунье. Звезды чуть мерцают. По распадкам зажигаются огни деревень. Люди рано встают. У каждого свои заботы. Одному в лес по дрова съездить надо, другому сена привезти, третьему капканы посмотреть.

Река у нас широкая. Пока к противоположному берегу доберешься, пот с лица ручьями потечет.

Наш рыболов шапку из заячьего меха на затылок сдвинул, телогрейку на груди рассстегнул. Шапка из шкурки зайца сшита, которого сам в капкан добыл. Тоже с дядей Витей ходил. В такой никакой мороз не страшен. Легкая, теплая. Жаль, что мало носится, лишь на одну зиму хватает. Но ничего: изорвется — другого зайчишку парень добудет, много их в лесу бегает, а он не из последних охотников. Уже взрослый, в пятом учится, собирается в речное училище после восьмого поступить, в плавсостав пойти.

Уморился Генка, тяжеловато все же идти. Остановился на минуту, чтобы дух перевести. Можно и постоять, никто не видит. Дядя Витя тоже остановился, пешню в снег воткнул, отдыхает.

После метелей заструги образовались, как по волнам идешь, того и гляди лыжа пополам. Морозы недолго стояли, но они еще впереди. И лучше: крепче мороз зимой — больше солнца летом. Это каждому известно.

На дорогу вышли. Лыжи сняли. Удобней без них. Вот и песчаный берег стало видать, избы, где летом доярки живут, где не раз ливень пережидали, отсиживались в непогоду. Ветра младший Панов не боялся, мотор на его лодке безотказно работает и лодка пятинабойная, отцовской работы, легкая, только взлетает на волнах, но отец строго-настрого запретил при сильном ветре реку переезжать. «До поры,— говорит,— до случая,— и головой качнет, видя, как лодки порой носом в волну зарываются или бока ей подставляют.

Хорошо летом в заречье, а зимой тихо-тихо, пусто кругом, все бело.

На развилке дорог свернули в сторону.

«Ух-х-х-ух!» — вскоре разнеслось с озера. Удить собрались. Не принято у нас это. Не видывали такого. Может, и клюнет какой окушок, но больно лед толстый, больше метра, попробуй подолби. Ухи не захочешь.

Умаялся Геннадий. Отдыхает. Нет, уже снова долбит. Забрезжило. Луна словно меньше стала, дальше. Это и есть зимняя зорька. Пора удочки забрасывать.

Прежде чем лед долбить, они прикинули, где поглубже, чтобы на яму, значит, попасть. Только там можно ждать клева. Березовое, хотя и зовется Большим, мелкое озеро, во многих местах до дна промерзает, даже лошадь зимой не напоишь. Но и ямы на нем есть такие, что никакой невод до дна не достанет летом. На всякий случай, пока было темно, рыбаки несколько лунок сделали, чтобы после не шуметь. Проволочный сачок приводился. Им удобно лед выгребать. Лопата сразу тяжелой становится, обмерзает, а станешь очищать — пополам.

Лед сверху желтоватый — из снега и воды, выступающей в сильные морозы сквозь трещины, а внизу голубой, как звезды в небе. Может, они тоже изо льда возникли? В школе учителя все ясно рассказывают, но самому бы там побывать, в том далеком от нас мире. А что? Николаев тоже в лесу начинал. Мастером леса был. И он десятилетку закончит, образование настоящее получит. Мать включит радио, а диктор сообщает: «...вышел на орбиту. Командир корабля летчик-космонавт Геннадий Гаврилович Панов». Здорово!

Размечтался Генка и не заметил, как вода из лунок поднялась и метра на два все смочила. Валенки обмерзли. Слuz образовался. А дядя Витя тем временем уже пару горбачей вытащил, уши у шапки отогнул, улыбается, глядя в его сторону.

Поглядел Генка на свои старые, в который раз подшитые валенки, и чуть в сторону отошел, пережидает, пока посуше около прорубей станет. Мороз быстро все прихватил. Не бьет больше вода, только чуть колышется в лунках. Это ее воздухом подбросило кверху, тяга образовалась, как в печной трубе.

Насадил на крючок блесны самого жирного червя, поплевал на него — и ждет, подергивая блесну. Блесенку ему гидрологи подарили из экспедиции, ведущей подготовительные работы по строительству Ижемской ГЭС. Чего только он от них не наслушался. Прошлой зимой, когда отряд на танкетках через тайгу шел на новое место — медведя из берлоги подняли. За зверя, знать, машину принял и бросился на них. Быть бы беде, но гусеницей его задело, придавило. Хороша танкетка в тайге: по любому болоту, по любому снегу пройдет, дорог не надо. Если бы Генка уже теперь, в пятом, не решил, что станет механиком-судоводителем, он, наверно, бы рабочим в гидропартию пошел. А что? Пусть в плавсоставе останется, пусть в космонавты не попадет, разве плохо по будущему Печорскому морю теплоходы водить? Отчалил бы в затоне, а сошел на берег где-нибудь на

Дону. К Шолохову бы в гости заглянул, сказал бы, что его «Нахаленка» еще в детстве читал. Интересно, каким будет это море — Печорское?

— Поближе ко мне попробуй! — сказал дядя Витя. Около него уже лежало больше десятка горбачей. — Они где-то тут, рядом.

Над озером, берега которого заметены снегом, видны лишь верхушки ивняка, — тишина. Утро, как и надеялись, безветренное пало. Изредка взлетят над кустами куропатки — и снова тихо. Осматриваются, сидя на березках, косачи. Им дела нет до рыбаков. Издали послышался гул трактора — колхозники за сеном поехали.

Генка воткнул удочку в снег, похлопывает рукавицей об рукавицу, потирает нос.

Не клюет. А дядя Витя понемножку таскает да таскает.

Генка решил промяться.

Заглянул в одну из лунок, а там, под молодым ледком, окуни так и ходят, так и ходят. И не какая-то мелочь, а настоящие черноспинные горбачи, что по ночам снятся. Рыбак даже подскочил от радости. Своим глазам не верит. И обратно. Взял удочку, очистил прорубку ото льда — и подергивает.

— Раз — есть! Еще есть... Еще... — И началось. Но недолго брали, знать, в глубину ушли. А морозец прихватывает. Придется в полушибок залезать. Генка сходил к чунке и напялил на плечи старый отцовский полушибок, изодранный, не по росту большой. Рукава загнули, ремнем еще туже перепоясался. Просторен — так это еще лучше: теплей. Дырки? Надо же куда-то излишкам тепла уходить. Теперь можно ждать. Знай — подергивай.

И снова затрепескались на снегу горбачи, забили хвостами.

Увлеклись рыбаки и не видят, что с дороги мы на них смотрим, гадаем: чем они там заняты? Тракторист двигатель приглушил, спрашивавший меня:

— Колдуют они что ли? Бегают с места на место.

— Э-э-э! — кричу, но не слышит меня Генка. Только когда стали озеро переезжать, Виноградов — дядя Витя — выпрямился и рукой нам помахал: проезжайте поскорее, не мешайте.

...Вернулся Гаврилыч домой в темноте. Хозяйственная сумка, в которой мать картошку из погреба поднимает, окуней полна. И щука под вечер попалась. Не ахти какая, но... щука! Отец ничего не сказал, только провел рукой по мокрым от пота волосам сына, взял в ладони его озябшие руки, крякнул. Мать захлопотала около печки. Сестренки — те начали окуней считать, но вскоре сбились со счета, сказали: «Много».

Сейчас отец Геннадия вновь в кузнице работает. Говорит: «Свежинка помогла». К весенней навигации готовится. Катера ремонтирует, самоходные баржи. И гвозди, и шурупы, и скобы — все нужно под рукой иметь во время сплава. А багры день и ночь изготавлий — все не хватит. Генка после уроков порой забежит к отцу, иногда за молот возьмется, но тяжеловат он.

— Ты еще жидкократ, сын,— смеется Гаврила.— Почаще беришь, авось полегче станет.

Как обычно, стоит лишь начать, а там пойдет. С легкой руки младшего Панова на озера гурьбой повалили его сверстники. И каждый раз впереди их — старшой, как теперь зовут в поселке Генку. В телогрейке, на лыжах, а сзади гуськом ребята.

Солнце все выше поднимается, все ближе весна. Снега иссякрятся, весело стало в заречье. И проруби почти не замерзают. Пешня не нужна. Лишь по ночам зима напоминает о себе.

## РОДНАЙКА

*Наташа Безносовой*

ТИШИНА-ТО какая. Тишина. С утра шумела за окном метель, залепила окна мокрым снегом, замела деревенские стежки-дорожки, забила таежные речки шугой. К ночи ветер утих и только редкие снежинки кружились в воздухе, и каждая из них неповторима по узору, каждая — загадка.

Тишина кругом. Только собаки лают.

Уже за полночь перевалило. Засиделись мы. А на столе все так же шумит самовар, без чего чай не чай, вечер не вечер. Плавно льется беседа близких людей. О чем только не переговоришь за домашним столом, на котором вместо пончиков, купленных в магазине, шаньги, испеченные по случаю приезда гостя матерью, кулебяки, мороженая брусника и морошка — чудо-ягода. Юг хорош, но и север его не хуже. Он щедр к тем, кто любит его. Не помню, в который раз уже меня спрашивают: «Еще подлить? Водица-то у нас не та, что в городе, стосковался, небось, по нашему чайку?» И я снова держу на ладони росписное блюдце, глотками пью горячий душистый чай, вижу, как на дне блюдца, словно камушки на морском берегу в час отлива, появляются голубые снежинки.

— Откуда берутся они? — спрашиваю хозяина.

— Не знаешь? — отвечает мне старый художник, щуря глаза, поглаживая рукой покрытый сетью морщин подбородок.

Нам становится жарко. Снимаем пиджаки, вешаем их на спинки стульев, рубашки на груди распахнули.

— Не знаешь? — повторил он. — Давно это было. Придется рассказать.

В глухой деревушке, похожей на вашу, ту, где ты вырос, чьи домики раскиданы на взгорке, куда легко забраться, но откуда, особенно в осеннюю распутицу, нелегко выбраться, где, как и у вас, люди пахали землю, сеяли ячмень и рожь, а поля были похожи на заплаты, что одна к одной ложилась на одежду, которой потому и не было износа, да еще зверя промышляли, рыбачили. Да еще поправку на время сделать надо: в деревушке было всего два дома.

Жил там охотник. Жена у него умерла, оставив крохотную дочку. Одному несподручно хозяйство вести, и дите не на кого оставить, когда лесовать уходил, вот и пришлось привезти издалека другую женщину.

— Она тебе, роднайка, мамой будет, — сказал он дочурке. — Слушайся ее.

Так и зажили снова втроем. Поначалу все тихо-мирно шло, но с годами невзлюбила мачеха падчерицу, больно та красивой росла, тонкой, как молодая рябина, тихой, как трава, слова против не вымолвит, а когда прикликнешь на нее, лишь глаза приподнимет и слезы в них блеснут: за что, мол?

И шить быстро научилась, и кроить, и за скотиной пригляд держать, и отцу в дальнюю дорогу все приготовит — вся в покойницу мать. Та, бывало, взглядом держала. Вскипит он, расшумится порой, волосы дыбом встанут, борода трубой, глаза кровью напоятся, а она лишь посмотрит с укоризной, и весь пыл с него слетит, тут же забудет мужик, что ссора была. А сердился чаще всего на себя: то хлебушко градом побьет, то белка из уголовий исчезнет, то рыбы почему-то в реке не станет, а тут еще скupщики — как ни крутись — все у них в долгу.

— Кир Вась, — скажет мать роднайки. — Что ты, Кир Вась? Живут же люди, и мы проживем, чай не хуже других.

— Зима-то долгая, — буркнет он и засобирается в лес.

И при новой жене он кипел, но по-другому. Все летело у него из рук. И чем дальше, тем чаще ссоры. Мачеха объяснила это одним: падчерица виной. Своих детей нет, вот и злится мужик. Стала ему нашептывать, чтобы увез девочку к дальним родственникам, в село.

Нахмурится Кир Вась, глянет исподлобья то на жену, то на дочку, вздохнет и полезет на печку продрогшие на морозе кости греть. Тайга тогда была не то что теперь, — еще топора не знала,

сплошной стеной ели стояли, а путки у него на много верст по Камню растянулись полукружьем. Пока за куницей или росомахой бежит, холода не чувствует, а у костра или дома озноб бьет, не по себе становится даже после того, как добрый ковш домашней браги опрокинет.

Встанет утром затемно, глянет с печки на пол, хмыкнет, видя, как жена отбивает поклоны богородице, поморщится от запаха ладана — и в сени. Оденет лузан, вскинет берданку на плечо — и в парму. А берданка у него была удивительная. В ее старое ложе зеркальце вделано, при выстреле порошники в лицо впивались, и он тут же их иголкой выковыривал. И то добро. Другие с луками охотились. Белок добывали стрелами с деревянным набалдашником, лося — с железным наконечником, а на медведя с рогатиной ходили. Кир Вась, как охотник, славился по всей округе. Зверь на него шел, как говорили в старину. И как не идти, если с малых лет под каждой елкой ему дом родной, каждый ручеек знаком. В прадедовских угодьях промышлял.

Вернулся как-то Кир Вась из леса, обойдя свои пути, довольноый: две куницы кулемками прихлопнуло, десяток белок добыл, дюжину глухарей из пастей высмотрел, следы лосиного стада видел, лиса попадалась в капкан, но ушла с ним, светлого времени не хватило, чтобы догнать.

«Недалеко от избы, завтра найду,— думал он,— снимая лыжи, отряхивая лопаткой снег с тобоков.— Я тебя найду завтра. В такой мороз с капканом далеко не ускажешь».

А мороз сильный стоял — даже у полярной совы клюв инеем покрывался.

Вздохнул, переступив порог: «Ставьте самовар!— и, стягивая тобоки с ног, продолжал:

— Птица пришла и зверь есть. С мясом будем и на справу вам хватит и малицы будет из чего делать. «Дикари» скоро появятся. Уж Кир Вась их повадки знает. Соседи куда делись? — спросил он.

— Дня три, как ушли к речной избе.

— Хват соседушка, опередил меня. Побогаче жить будет.

Дома все как раньше: медная посуда на полках блестит, лампа семилинейная, что у чердынцев брал, керосином, а не жиром заправленная, горит ярко, самовар уже греется, выбрасывая в отдушину печки споны искр.

Прошел Кир Вась в передний угол, перекрестился на образа, обвел взглядом избу и брови его резко изогнулись.

— Где роднайка? — он дочку все время так и звал. Потому и не осталось в памяти людской ее имени.

Молчит жена, поджав губы, затянув концы платка на груди узлом.

— Где? — спрашиваю.

— Не знаю. Я вечер вздрогнула, а она ушла куда-то.

Сердце охотника почуяло недоброе. Куда может уйти девочка, еще не просватаенная, в такой мороз, когда на десятки верст никто не живет и дороги нет. И шубенка дома. Лишь материнский платок прихватила.

Молчит жена, белая от страха.

Пошатнулся охотник, присел на скамью под образами, встал и, глядя на иконы, ушел в ночь дочку искать. Много суток он искал ее. Промысел забросил. Осунулся. Придя, наконец, домой, свалился от усталости с ног. А тут метели начались, предвесенние, февральские. Ребенок в лесу, как ягодка в сене, разве найдешь, а помочь некому. Жена молилась. Лицо ее было постным, губы шептали что-то, то и дело она принималась причитать: «Горюшко на мою голову свалилось». Но чувствовал Кир Вась: всему виной она — сгубила дочку. И порешил он прогнать жену со двора, как только потеплее будет.

Когда первые лебеди в небе закричали, с деревьев начал осыпаться снег, береза семена по ветру раскидала, он сказал: «Твой грех! Иди в церковь, отмаливай. Всякого зверя бивал, а на тебя рука не поднимается, змея ты подколодная. Иди с богом. Дорогу знаешь».

Видит она — плохо дело, хозяин в гневе, и ушла восвояси, заливаясь слезами, разжалобить его этим хотела.

А Кир Вась в это время топором разнес на мелкие куски ее иконы, побросал их в печь — вспыхнули ярким пламенем, как простая березовая лучина, озаряя лицо, покрытое белой щетиной, давно нечесаную бороду. Грузно сел он на лавку и тихо сказал: «Прости меня, родная. Не разглядел, кого тебе в матери привел. Я ли не хотел добра, не думал тебе хорошего жениха найти, свадьбу сыграть, под старость лет внуков на коленях подержать, секреты свои им раскрыть. Один, как перст, остался».

С того дня глаза охотника словно стали еще острей. Приметил он, что вдоль реки, по заливным поженкам снежинки какие-то особенные под солнцем на разные света переливаются. Глянешь на них — как будто чай-то след видишь на подтаявшем снегу. Прислушаешься к лесу — как будто голос слышен.

Никто не знает, куда ушел Кир Вась, только с тех пор не видали его в парне и по его путикам никто больше не ходил. Изба давно обвалилась, мхом да бурьяном поросла, на месте ее глухари порхалище сделали. Слетаются туда ранней весной, камушки клюют, токуют тут же.

Мачеха роднайки еще долго жила в своем селе, у богатой родни, пока великий мор не прошел, а он не щадил ни богатых, ни бедных. Никто с ней дружбы не водил, никто на ее огонек не заглядывал, хотя была дородна. Знать, тайга слухом полнится, если при встрече с ней даже собаки зубы скалили.

А дальше совсем непонятное: стали в наши края откуда-то издалека чайные чашки с блюдцами привозить, одна другой краше. Что ни узор, то чудо. Сначала на них были снежинки, потом появились цветы, ягоды, птицы разные, горюн-трава, одолень-трава — и все как живые. Возьмешь блюдце, а от него, кажется, лесом пахнет. «Ты этих чашек не видал,— говорил мне старый художник, много разного повидавший на своем веку.— А у меня есть, как только сберечь сумели в семье, не понимаю. Заморского изделия, говорят, но слишком уж они наши — и по узорам и по форме», — он открыл дверцу шкафа с посудой...

Снежинки — голубые, зеленые, розовые, серебристые, — каких только нет! Глянешь и кажется, не снежинки это выписаны на чашке или блюдце, а звездочка с неба упала на белый, никем не тронутый снег.

— Ты с другой стороны глянь...

С другой стороны было мелко написано «зыряночка».

— Слава об этой удивительной мастерице весь свет облетела. Кто только не искал ее, но так и осталась неизвестной. А, может, это роднайка, чудом оставшаяся в живых, ведь сколько лет этим чашкам, сколько лет?..

Я держу в руке блюдце, и оно играет, как сполохи в звездном небе всеми красками радуги.

Уже светает, а мы все сидим. Самовар уже давно потух, как и трубка, которую держит в руке старый художник. Трубка вырезана из оленьей кости. А вокруг нас, на полках, стеллажах — фигурки из дерева — лесные зверюшки, сказочные человечки, птицы, каких и в нашей тайге не водится, но которых мы часто видим во сне. Все светлое, с улыбкой, освещенное то ярким солнцем, то замоложенной луной. И впервые подумал я: сколько же успел сделать за свою жизнь этот человек, бывший когда-то оленеводом, лесорубом, впервые взявший в руки карандаш и инструмент для резки, уже взрослым, больше всего на свете любящий детей!

Откуда взялась таинственная подпись на росписных блюдцах, привезенных в наш край издалека, трудно сказать, трудно здесь отделить быль от небылицы — и нам остается лишь любоваться тонкой работой да благодарить тех, кто сохранил для нас эту красоту.

Мы сидим, вспоминая были и небылицы, не пытаясь разгадать, где правда, где выдумка людская, не спрашивая друг друга, кто и над чем работает — нам просто хорошо посидеть вот так друг против друга, пока не приоткроется дверь и услышим грустное: «Накурили!..» ...Отец твой, Наташа, долгие годы учил меня ценить красоту во всем — в человеке, в обыкновенном папоротнике, в пожелтевшем листке березы, в снежинке, упавшей на ладонь, в парусе, надутом свежим ветерком. И во всем этом я постоянно слышал: «Люди, любите друг друга». Спасибо этому дому!

## ПТИЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ

КОСЫЕ лучи солнца скользят вдоль озера, отражаясь в нем розовыми бликами. В густой уреме на разные голоса перекликаются птицы. Это не забава — каждая из них оповещает: участок занят; охраняет подружку, сидящую в гнезде, исполняет для нее песню любви.

Духота стоит. Солнце палит неимоверно, словно не на севере, а на знойном юге оказался по-щучьему велению. Но недолго ждать осталось — плотва из ям поднялась, и озеро словно закипело. Это к смене погоды.

Около куста, где осталась нескошенной высокая трава, кружатся голубые стрекозы. С любопытством поглядывая на меня, широко раскрывая рот, сидит на ветке смородинника, усыпанного зелеными ягодами, птенец славки-черноголовки. Весна затяжной была, некоторые пары уже успели свои выводки на крылья поднять, у других еще чуть ли не пуховики в гнездах. До птенца славки можно дотянуться рукой, но я лежу, закинув руки под голову, глядя в голубое, без единого облачка небо, где парит скопа.

Сколько лет я мечтал о таком дне, когда можно будет, как сейчас, просто, ничего не делая, запрокинуть голову в траву, ни о чем не думать, ни беспокоиться, ни торопиться куда-то. И такой день настал, и уже пролетел. Был ли он, право? Один ли я? Нет, одному человеку остаться невозможно, хотя порой он ищет на какое-то время одиночества.

Слышу, как у избы сенокосчиков, стоящей за тремя веретьями от Ямы, лают собаки. Значит, кто-то приехал из села на рыбалку, проходит мимо огнища. За Пелядным озером, что лежит справа, мычат коровы и тревожно перекликаются кулики. Значит, стадо от комаров полезло в Дурное озеро. А, может, не от комаров, какая-нибудь водяная травка коров туда тянет?

На правом берегу Ямы хрустнул сучок, другой. Кто-то переходит через грязь. Может, Тимофей на подгляд отпрашивается? Он всегда так: сначала высмотрит, где играет рыба, а потом бредешок на плечо и туда. И снасть у него каких-то десять метров, дырка на дырке, а уловы вдвое больше, чем у соседей.

— Идет на тебя рыба,— скажет кто-нибудь, вздохнув с нескрываемой завистью.

— Рыбка дырки любит!— Улыбнется он.

Солнце клонится все ниже и уже по всему озеру разлилось алое пламя, перекинулось на бор и зажгло раскидистые кроны сосен.

Никогда не думал, что таким же глубоким, как это озеро, которое и теперь остается загадкой для меня, может стать какой-то час перед заходом солнца, когда еще не пала на землю обильная роса. Один час, один день — и вся жизнь прошла перед глазами. С чего бы? Может быть, и мне подходит срок менять маховые перья или как плотва сердцем ненастье почуял?

Слышу, как кто-то, покряхтывая, идет по вереты.

Тимофей!?

---

— Ко дну прижимай, ко дну, углом, чтобы нижняя тетива впереди шла. Во-во,— добродушно поучает меня Тимофей. Ему уже за шестьдесят. Он, как и я, без накомарника. Легкий ветерок шевелит волосы на крупной, чем-то похожей на изображения древних греков, голове. Бакенбарды, как пылью усыпаны, и если бы не знал, что Тимофей только что искупался, запнувшись за корягу, я бы так и подумал. Руки у старика крупные, жилистые, спина чуть согнута вперед, словно не бредешок тащит, а куль соли на себе прет.

— Шугани-ка ногами под кустом покрепче. Шугани!— Я болтаю ногой, наступаю на ветки ивняка, шлепаю ими по воде и вижу, как от берега отходит щучка, другая.

— Есть!— кричу.— Еще одна...

— Тяни, тяни. Не спеши. Наши будут.

Курья узкая, мы бредем вдоль кустов. Мне удобно, а старик согнулся втрое и забыл, наверно, что подштанники, лишь недавно с большим трудом спрятанные ему бабкой, стали из белых — зелено-бурыми, а рукав рубахи на кустах остался. Пригибая осошинник, движемся в конец курьи, где уже мечутся сороки, а стайка подъязков, круто изменив направление, уже выскочила поверх тетивы.

— Успели, шустрые! — смеется старик. — А ну, приподними повыше, уже строго говорит он мне, — так мы всю рыбу упустим, заворачивай на меня.

Бредешок не тяжел, но когда он набит травой, комьями земли с осокой, когда боишься сделать неверное движение, то трудно удержаться на ногах, и палки, за которые привязаны тетивы, чтоб не выпустить из рук. А тут еще овод на шею сел, сколько ни крути головой, не мог согнать. Наконец, удалось ногой поддержать нижнюю тетиву и пришлепнуть его ладонью. В ушах стоит гудение сотен других. Как самолеты ревут.

Мы уже вместе, беремся за тетивы, подтягиваем бредешок к берегу, и глаза мои разбегаются по сторонам. Несколько щучек перепрыгнуло через верх, а мотня бьется, как живой клубок.

— Полтора ведра вынули, — говорит Тимофей. — «Голубое перо». Погляди. Мы ли не рыбаки. — Он выкидывает в озеро мельч, прыгающую под ногами — пусть подрастет, чего зря рыбе гибнуть, закручивает бредешок вокруг палок и, перекинув мешок с рыбой на плечо, говорит:

— Берись за один конец!

На правый берег мы почему-то обязательно идем через мостик, перекинутый через узенькую, полувысохшую протоку. Мостик из двух-трех жердинок, зажатых кольями. Я ступаю на него первым и вдруг рядом со мной из осошника вырывается утиное семейство. Матка взлетает, притворяется раненой, шлепунцы бегут от нас в озеро, скрытое в кустах. Их много — мелких озер. Километров на десять вдоль реки тянутся. Так и зовут эти места осошниками. Летом туда не скоро доберешься, зато весной...

Если есть где-нибудь утиное царство, так это наши осошники, когда весенняя вода хлынет через полой, лед пойдет вниз через Яму со страшной, казалось бы, все разрушающей силой, когда кусты ивняка будут видны из воды, а деревья затоплены вполроста, сюда слетаются тысячные стаи свиязей, шилохвости, чирков-трескунов, космарей, наконец красавцев-голубанов, и весь калтус, как у нас зовут уремы, звенит от их голосов.

Охота, какая в это время охота! Жаль, сегодня я веду рассказ не об этом.

Идем по узкой тропинке, с обеих сторон которой растут лопухи и, оглядываясь, вижу на няче, как у нас называют глинистые места, двойные следы. Одни поменьше других, громадных, словно высеченных на камне. Сворачиваем в просвет между кустами, расстилаем бредешок на траве, бросаем мешок с рыбой в кусты и присаживаемся около остожья, сложив руки на колени. Один стар, другой мал.

Тимофей развязывает узелок, расстилает на траве газету, вверху которой крупно читается «Все для фронта! Все для победы!» В узелке три картофелины, соль в спичечном коробке, два хлебца — картоха с соломой.

— Ешь! Я сейчас щербу сварю!

Я и хотел бы помочь старику, да глаз оторвать не могу от лежащего на газете. Пока Тимофей разжигает костер, я уплетаю вареную картоху за обе щеки, а хлебцы оставляю для щербы.

Солнце печет. Мокрые штанины тут же подсыхают. Засучив по локоть рукава нательной рубахи, старик налаживает таганок, подвешивает на него медный котелок, доставшийся нам, наверно, еще от працедов. Вскоре вода закипает, и мы бросаем в нее окушков. Две кружки щербы — и как будто жизнь другой стала. Лежим на траве, запрокинув руки за головы, слушаем, как звенит песня лесного жаворонка. А он заливается.

— Война-то, между прочим, к концу подходит, парень. Наши до Берлина скоро дойдут. Батько твой вернется. Эх, и порыбачили мы с ним тут бывало.

В Дурном сколько рыбы водилось, в Уите, а про Пелядиное и говорить нечего. Дурное-то заастать стало, кто-то прокопай из него сделал. Дурак-мужик — один раз взял, а озеро испортил. Теперь попробуй зарыть этот прокопай, если вода напрямик пошла, через веретень весной напрямик хлецет, озеро песком засыпая, пожни руша. Да, побродили мы тут с твоим батьком. Бредешком-то в те времена тут никто не ловил.

Рос я у реки, на берегу которой всегда лежали опрокинутые на бок лодки, сушились на вешалах сети, но жарких дней выпадает раз-два в лето, а вода в реке холодная, сиверок играет. При нем особенно в воду не полезешь. А отец, сколько помню, с Тимофеем из воды не вылезли, с ледохода до поздней осени «ползали» вдоль берега.

— И что они бродят чуть ли не голышом? — недоумевали соседи. — Мужики ведь, неводком бы... Аль погоды боятся?

Нет, не боялся Тимофей непогоды. Он просто любил эти закутки, курьи, напоминающие ему что-то из прошлого. Он никогда не рассказывал, откуда и как попал в наши края, но по говору был южанином, по характеру тоже.

В тот день, лежа в траве, он вдруг тихо произнес:

— Балаклава!

«Наверно, по радио слышал», — подумал я. В глазах старика стояли слезы. Его узловатые пальцы непроизвольно шевелились, словно сжимая что-то.

Тимофея появился у нас, когда меня еще на свете не было, не по своей воле, молодым. Он из перевезенцев. С ним связывали непонятное для нас, деревенских мальчишек, таинственное «контрабандист». Он мог бы пойти на фронт, был давно прощен, но годы ушли.

Жил Тимофея в маленькой халупе, поставленной рядом с домом жены. В довоенное время по субботам напивался и, сидя на пороге своей халупы, тренякал на балалайке, напевая:

Ах вы, сени, мои сени,  
Сени новые мои,  
Сени новые, кленовые,  
Решетчатые...»

Добрый по характеру, он ладил в деревне со всеми, ни на кого не держал камня за пазухой, и ему отвечали тем же. И сегодня не знаю, где он работал — то ли на кирпичном заводе гончаром, то ли рыбаком, то ли валенки катал в промкомбинате. За все брался, все у него в руках спорилось. И все с шуткой, с прибауткой. На всю жизнь мне так и запомнился этот старик — с бредешком на плече, тихо бредущий по берегу или сидящий на взгорке, высматривающий рыбку. Знал, где она скапливается, ох как знал — это я после понял.

В тот день старик открыл для меня Яму — озеро, тянущееся вдоль бора на целый километр. Из леса в него впадает две речушки и одна выходит к Печоре. В большую воду мы добираемся сюда на лодках, через кусты, залитые до самых верхушек, поверх скрытого под водой моста, а летом по луговым тропинкам. Не место — загляденье. Черемуха кругом, рябина, смородина. Но, кажется, уже посвежело, жара спала. Я приподнимаюсь и гляжу на озеро. Вода рябит. Надо перебраться через ручей на другую веретью и надергать окунушек для ухи. Спешить мне сегодня некуда. Рюкзак на плечи, удилище в руку — и пошел. Теперь уже из-под моих сапог пузырится вода, от моих шагов потрескивают сучья. Узкая тропа ведет через сплошные кусты, на которых висят бревна, дверь с медной ручкой, лодка с изломанной кормой. Чего тут только не увидишь. Река-то весной вон как разливается, бор — на островок становится похожим.

«Хлюп-хлюп», — но вот и взгорок, а за ним памятная ложбина. Кажется, вовремя подошел — рыба играет.

Небольшая ложбина на крутом спуске борового берега. В центре ее — куст черной смородины, слева — рябинник, справа — старая черемуха. Внизу берег круто обрывается, но дальше под водой, как давно приметил, глубина ровная. Около кус-

та — ржавые консервные банки. Мои. Сколько лет я ставил их в одно место, сколько тут подъязков потаскал. Удобное для ужения место. Забрось удочку у самого берега — и жди.

И сейчас наживил жирного червя — по червю и рыбка! Накопал их в остожье, в остатках старого сена. Темно-красные, с палец толщиной. Не на сорожку!

Поплавок тут же пошел в сторону. Он у меня из глухариного пера. Других не признаю. В магазинах не покупаю. Быстро пошел. Не успеваю взять удилище в руки, как поплавок исчезает в глубине, уходя на середину озера. Подсекаю. Прямо к ногам падают два крупных подъязка. Снова закидываю и опять то же, но один срывается и вижу, как стая отходит в сторону. Не жалею. На уху немного надо, а какая уха из язя — костляв и безвкусен. То ли дело окунь, особенно глубинный.

Начинают донимать комары, и я, забыв про удочку, снова ложусь на траву, прикрыв лицо платком.

Перед самыми глазами проходят маленькие поженки, где косили только горбушей. Зарастать они стали, не нужны никому. А деды наши по ним сенцо для своих коровушек собирали по охапке. Немного, но зато какое сенцо. Молоко и то припахивает разнотравьем, нигде таким вас не напоят. Земли колхозные. Машинами тут не возьмешь, а вручную теперь не косит никто.

Заветная поженка еще меньше стала — ивняк сжимает. Застает она скоро, как и другие. И сетку весной негде будет вытолкнуть.

Я вставил их тут не раз по «второй воде», когда Печора полняется потоками Усы с предгорий Урала. У нас в это время уже тепло, а там лишь начинается весна. Только верхушки черьмух в белом, как снег, цветут из воды видны тогда. В это время появляются откуда-то лещи, хотя в другое время их не найдешь. Где они обитают летом, никто не знает. И какие — подносы. Голубизна кругом. С черьмух цвет осыпается. Лепестки его на воде как снежинки плавают. Сколько света, солнца. Глянешь на затопленные до самых верхушек кусты и заметишь пузыри, высекающие из глубины, а потом тихий всплеск, от которого в разные стороны разойдется легкая волна, блеснет что-то, и на какую-то секунду широкий хвост над водой покажется. Лещи не растятся, не какая-то там сорожка.

Куст, около которого я прилег, особый. Смородина на нем, как вишня, только черная, и хоть бы единий червячок в ней был, бери пригоршнями — и в рот.

Встревоженный чем-то, шумно поднимается из-под кустов табун шилохвосток и долго кружится над озером.

Я уже давно сбросил платок с лица, забыл про комаров и

кидаю в траву окушков. Крупных тут не жди, не то место. Крупные под крежем, в кустах. Не пойти ли туда? Может, удастся такого выволочь, о каком Тимофеем рассказывал.

— Больше четырех килограммов был,— говорил он.— Что в длину, что в ширину — одинаково. И сетка-то дыра на дыре, метра на три от берега была выставлена. Вот и кумекай, что главней — место или сети. Рыбка дырку любит.

Мы давно уже перешли на капроновые да и Правила нынче не те, что были раньше, не везде сетку поставишь, хотя и по договору сельпо, а тогда сами вязали их из ниток десятого номера, красили настоем ольховой коры, чтобы под цвет воды была, гниению не поддавалась. Сколько вечеров просидел я в халупе Тимофея, глядя, как он накручивает иголкой петлю за петлей на березовую дощечку. И хобот небольшой набирали — метр-полтора. Хватало. Вместо кибасьев проволочные кольца пошли, а в те времена мы делали их из бересты. Вырезаешь кругжок, сгибаешь его надвое, вкладываешь в середину камушков, прошивашь дугу мягким еловым корешком, а в центре кибаса вырезаешь дырки для подвязки его к сети. Много времени уходило, но и служили эти кибасья долго. Есть в них что-то от глубокой древности, когда люди железа не знали, а сети из волокна конопли плели.

Я снова поднимаюсь на взгорок, иду дальше. Все суще места. Теперь до конца Ямы хоть в тапочках беги. Знаю там одно месечко, где отменный горбач берет.

Узенькая тропинка спускается сквозь кусты к озеру, прямо к заводи, окруженнной со всех сторон корчагами. Сколько я тут крючков и самодельных блесен оставил, но зато и окунь — шириной в ладонь, когда тянешь — удилище вдвое сгибается.

Но в этот раз мне не удалось закинуть удочку. Зря пробиралася сквозь заросли шиповника — вода весной малая была и заводь обмелела. Никто без меня тут не бывал. Коряги, похожие на чертей, торчали под водой, распустив в разные стороны ветки-щупальцы. Я мог бы собрать свои блесны, уже покрытые зеленью, но не стал: что с воза упало, то пропало.

Тут щука любит нереститься. Стоит появиться узким заберегам, пригреет солнце, как под кочками, под кустами, лежащими в воде, появятся малорослые, неказистые с виду «молочники». Их собирается много, и когда идешь вдоль берега, то видишь, как мелькают они, словно тени, уходя в глубину. С каждым днем все чаще. Ждут «икрянку» — хозяйку нерестилища. И наступает час, когда возле кустов раздается шумный всплеск. Это появилась она — королева весеннего бала. Сколько раз я видел эту громадину, пытался прихватить, но так и не удалось. Однажды

попутал бредешком, думал — вот она, в руках — схватил за жабры, но от удара в лицо хвостом сам полетел в озеро и вылез оттуда жалким, весь в тине, с перепугу слова не мог сказать, а друзья-мальчишки хохотали. Говорят, эта щука и теперь живет в Яме, никакая сеть ее не держит.

Я не спеша иду дальше, к самому высокому берегу, где всегда жгут костры ребятишки.

Солнце уже закатывается, комары висят над травой тучами. Насобирали на уху окушков. И старый таганок на месте. И плавника-мелочи в кустах полно.

Ветерок, поднявшийся было, знать, запутался в кустах и уснул. Дым от костра тонкой змейкой поднимается прямо в небо.

Здесь я однажды познакомился с Володькой, отчаянным мальчишкой. Сижу как-то с удочкой в руках, в кустах, около полудня, жду клева, а тут как грохнет, словно фугаска разорвала. Столб воды поднялся. Даже скопа, которая, кажется, только и знает, что висеть в небе, и та вздрогнула, замахала крыльями и улетела на другое озеро. Я тут сел в лодочку, налег на весла — и на шум.

Батюшки мои, два сорванца в лодке, а вокруг них рыбья молодь плавает. Вся Яма от берега до берега бела. И что за рыба — лещики величиной с пятак, пелядочки с палец, жиганы. Тут-то я понял, зачем лещи весной на Яму заходят и откуда пелядка тут берется. Здесь когда-то давно-давно проходила река, потом она сменила русло, образовалась старица, верхний конец которой замыло песком, образовалась цепь озер, куда спешит весной на нерест рыба, где нагуливается ее молодь.

— Что вы, — кричу, — стервецы, делаете?

— А мы, дядя, попробовать хотели...

Достали где-то бикфордов шнур, запал, тол. Крупной рыбы наверху после взрыва не оказалось. Может, не задело ее? Я как-то мерял эту Яму, от которой и пошло название озера — около двадцати метров шнура кинул и не хватило. Где-то там, в глубине и молодая нельма держится, что порой бьет в сетки темными августовскими ночами.

Яма — громадный детский сад. И надо же было сорванцам бабахнуть. Ведь после такого взрыва озеро становится мертвым на несколько долгих лет. С неделю клевали вороны и сороки рыбью мелочь, прибитую ветром к берегу, лежащую на воде сплошной массой. Скопа долго не возвращалась на озеро. Не любит она шума.

Да и откуда взять рыбу мальчишкам, если здесь основное — окунь, щука, а они тут же тонут. Сколько рыбы понапрасну сгубили.

Крупный разговор произошел тогда с Володькой, но стал он, к счастью, началом дружбы на многие годы. Этот «взрывник» позже горным инженером стал. Не узнать парня.

Тихо в этот вечер на лугах. Не стрекочут косилки. Знать, скопено много, надо кошенину убрать, как бы после такой жары гроза не надвинулась. Небо все больше темнеет, словно тучами закрывается. Не тучи это, а темнота окутывает землю. Певчие уже замолчали, зато по озерам, не боясь охотников, крякают утки. Охота еще не открыта — и раздолье им. Еще редко вылетают они на открытые пространства, все больше в мелких, заросших осокой озерина держатся.

Костер разгорается все больше. Пламя его становится все ярче. И уже не от солнца, а от него по озеру причудливые тени скользят.

Ручеек журчит, сбегая со склона. В этом месте я когда-то встретил лосиху. Впервые в жизни. Сколько, помню, мечтал об этом. Ждал, что вот пойду по тропке в кустах и вдруг навстречу рогатый великан выйдет. Все произошло, как часто бывает в жизни, гораздо проще.

Я лежал около костра, уже потухшего. Над озером стоял туман. Оставалось с полчаса до клева, и я не спешил. Где-то за спиной хрустнули ветки, кто-то прошел мимо меня к овражку, спускающемуся к озеру, и я услышал, как пьет, фыркая, воду лошадь. Но вольные лошади у нас лишь на островах бродят. Откуда ей тут взяться? Повернул голову и замер от удивления. В тумане виднелись два силуэта — большой и маленький. Лосиха попила, повернулась грудью ко мне, откусила пучку борщевика и, пережевывая ее, стала подниматься на пригорок. За ней плелся длинноногий малыш.

И почему так устроено в природе — красивое в детстве всегда какое-то несуразное? Разве можно подумать, что из этого долговязого малыша вырастет лесной великан? Они спокойно поднялись на пригорок и направились вдоль вереты, сбивая росу с густых, еще не кошеных трав. Любят лоси эту веретью и часто выходят к Яме.

И впрямь кто-то бежит по тропе. Может, детство повторяется? Нет. Это же мальчишки, что ушли вперед меня, возвращаются. Я лишь их следы видел.

- Дядя, ты на утро?
- Да, хочу на зорьке поудить.
- А нам с вами можно?

— Садитесь. У костра веселей. Только веток ивняка под себя подложите. И помягче и полезней — земля-то ночью сырья. Уже конец июля.

— Мы сейчас.

Два брата, почти ровесники, но какие разные. Один белобрысый, худенький, длинный, так и вертится выном, а второй смуглый, плотный, как медвежонок, все не спеша делает, слова лишнего не скажет. Веток они быстро наломали.

— Пейте щербу.

— А мы новую заварим. У нас есть. Окуни — во! — ответил старший, а младший добавил: «И щуку на живца вытянули!»

— Ну, показывай...

— Во! — показывает старший, вытаскивая из хозяйственной сумки щуренка.

И снова кипит вода в котелках. Снова бросаем туда окуней. Мы не соскабливаем с них чешуи, а лишь выжимаем из рыбы лишнее. Только тогда щерба настоящую цену имеет. У окуня весь вкус в клёске. Так варили в старину, так и мы щербу варим.

И с ершом тоже. Попробуй, сними с него всю слизь, и не будет знаменитой ухи.

— Хлеб-то есть у вас? — спрашиваю мальчишек.

— Буханку брали да съели уже, — пожимает плечами младший.

Протягиваю им полбулки ржаного.

— Вы, дядя, тоже пейте с нами.

— Обязательно.

И завязывается разговор.

— А вы здешний?

— Я-то? Разве не знаете?

— Нет!

— Тутоний, ребята. В гости приехал.

Уже темно-темно. Кусты кажутся сплошной стеной. Только издалека доносится полусонное куличье «пии-пии». Столько воды кругом, а кулик все просит пить. А под утро из темноты доносятся тявканье щенят.

— Маленькие собачки? Где они? — спрашивает младший из братьев, протирая спросонья глаза.

— Не собачки это, а лисята. Нора у них тут, на бору, только вы никому не сказывайте, а то разроют еще. Который раз слышу.

— Мы? Ни-и-и!

— Вы утром куда?

— На Пелядиное. Там окуни — во! А тут мелкота, — говорит старший, нахлобучивая на глаза старую отцовскую кепку.

Подложив под себя плащ, я тут же засыпаю, а когда открываю глаза, ребятишек уже нет.

Славные деревенские ребятишки. Вы и сами не знаете, как много дают такие ночлеги у костров, с какой любовью будете вспоминать о них.

Утро на озере начинается с робких голосов камышовки, зяблика, овсянки, но чем реже туман, клубами выющийся над водой, тем азартней поют они, каждый на своей ветке, на своем участке. Затем начинает играть рыба — плавные круги расходятся в разные стороны. Как правило, до восхода солнца поднимается с глубин более крупная, которая не любит излишней жары, шума. Мелюзга — та не знает времени, ее можно увидеть у берега в любое время суток. Когда начинает ход плотва и мелкий подъязок, подходят к берегу щуки. Как поленья, чернеют под кустами. Недвижимо, изредка пошевеливая плавниками, часами стоят на отмелях. Но не зевай, плотвичка. «Полено» в одну секунду становится стрелой, раз — и нет тебя. Чем выше солнце, тем чаще, тем сильней бьют в заводях щуки. Вдоль берега у самой кромки осошника большими табунами медленно проходят черноспинные окуньи; тихо, спокойно — и вдруг, как брызги, разлетаются в разные стороны мелкие рыбешки. Это окунь начинает бить малька.

Я иду по пожням, вдыхаю терпкий хмельной аромат разнотравья, который издают только что поставленные стога. Гляжу на следы огнищ, среди которых сохранились и мои, а сам думаю о ребятишках, что спозаранку убежали на Пелядиное озеро. Сорванцы, от земли два вершка, а уже сами на веслах переезжают реку, иной за «Стрелу» берется. Упрется ногой в корму — и ну двумя руками за шнур дергать. Упарится, а все же заведет старенький мотор и важно так восседает за рулем.

И кто знает, что лучше: опекать ребят или с детства воспитывать в них самостоятельность? В наших деревнях заведено давать ребятишкам полную волю. Запрет усиливает желание. А когда они сами хозяева — привыкают быть осторожными, не кидаются сломя голову в неизвестность.

— Пойдем вон на тот носок! — слышу издалека мальчишеский голос и уже вижу их, бегущих по веретье в другой конец озера. Тонко чувствуют сорванцы. В том конце клев лучше. За ветром и не так жарко там. Окунь тень любит.

Останавливаясь около большой раскидистой березы. Помню ее. Как-то во время охоты, весной, шел я по веретье с ружьем за плечами. Ружье взял по привычке. Дул резкий сиверок. Утка таилась где-то в лесу, на болотах. По берегам озера трещал намерзший за ночь ледок: вода резко спала, он обламывался. На Яме стоял лед, и мы не смогли проехать по забереге к излюбленному месту. Пришлось остаться в избушке, срубленной одним

дедом-чудаком возле ручья, вытекающего из озера. Но лежать на топчанах надоело, и я решил прогуляться.

Из-под этой березы свечой поднялась птица и шлепнулась на лед. Я не сразу понял, что за утка. Острохвостка! Еще пролет не закончился, а она уже гнездо свила, на яйца села. Гнездо я тут же нашел — чаша из ветоши и шесть крупных зеленоватых с крапинками яиц. Чтобы не пугать птицу, я сделал вид, что не заметил гнезда, и свернул в сторону. Чуть позже, в разлив, видел выводок, а потом он куда-то исчез. Видимо, мать перевела малышей в более безопасное место. Озерков в кустах полно.

Вспоминаю теперь, а туман уже расходится; около избы, где живут колхозники, слышны голоса: на соседней веретье загремели конные грабли, где-то в стороне затарахтел трактор. А мне что надо? Что я потерял тут?

— Э-э-э! — доносится с другого берега. — Рыбак, подай лодку. Рядом с тобой, в кустах торчит. Перегнал кто-то и бросил.

Я спускаюсь к воде, отталкиваю спрятанную в кустах старую, отслужившую свой срок лодку и гребу кормовым веслом.

— Привет! А ты откуда взялся? — встречает меня друг юности и так жмет руку, что бледнею от боли.

— Мать приехал посмотреть.

— Дело. Стариков забывать нельзя.

Это Николай Бобрецов, на всю жизнь моряк, как он любит выражаться.

— А ты куда путь держишь?

— Мы тут мост через речушку строим, а я с утра решил в бор заглянуть, жердишек подсмотреть. Изгородь обветшала. Менять надо. А ты рыбалил?

— Захотелось ночь у костра провести. Воздух тут особенно чист.

— Да, у нас все не так, как в городе. Вода зубы ломит, травы пьянят, воздух молодым делает. А из нас уже песок начинает сыпаться. И когда молодость прошла? У меня уже Танька замуж вышла. Помнишь ее?

— Уже?

— Двадцать девке, пора...

А мне кажется Николай Ефтифеевич, как все зовут моего сверстника, все такой же, каким был на палубе «Большого охотника», бороздящего студеные воды Баренцева и Карского морей. Лишь форма не та. На Николае — старая телогрейка, подпоясанная широким ремнем, из-под которого торчит топорище. Он крепко сложен. Глаза бегают, словно выискивают что-то. Может, шутки свои он не выдумывает, а высматривает? На язык ему лучше не попадаться. Как бритва.

Столкнулся он как-то у магазина с одним соседом. Тот по случаю получки решил тихомолком от жены чарку-другую дернуть, но сил не рассчитал. Пока в райцентре гулял, в кармане ветер засвистел. Стоит мужик около сельмага, призадумался.

— Ты что тут столбом торчишь? — спросил Николай.

— Да... вот... случилось... Как домой идти?

— Эх ты, не умеешь водку пить, пей молоко. А баба... Ты на меня посмотри. Моя Марфута ни-ни... Мужики мы или нет? Ну, подожди, сейчас обернусь.

Вынес бутылку портвейна, распечатал. Присели на ступеньки сельмага. Вытянули ее из горлышка...

— А теперь запомни: ты — дурак. Иди домой и тверди: я дурак. Все будет в ладах.

Люди собрались, смеются, слушая, как он поучает соседа, переспрашивают, что случилось.

— Я ему говорю: дурак. Не верит. Подтвердите, люди добрые. Ведь верно — в деревне один такой.

И поверил сосед, повторил:

— Я — дурак!

Жена скалкой согрела, а потом толкнула на кровать: спи, дурак. И все обошлось как нельзя лучше. С той поры мужик в рот хмельного не берет.

Ходит Николай по деревне гоголем, грудь колесом, всегда напевает что-то веселое. Глянешь — нет счастливей человека. Жизнь его не раз ломала, да руки спасали. За что ни возьмется — все ладится. Мосты через ручьи — его рук дело. И мастером был, и десятником, и просто плотником. Кому дом срубить — к нему. Знают, что сделает — не подкопаешься...

...Мы отправились в бор. Мачтовые сосны нашли у соседнего болота.

— И жердей нарубил, и сосняк разредил, — сказал Николай. — Я еще билета не брал, завтра надо в лесхоз заглянуть, оформить.

Около реки затарахтел трактор.

— Нам лес с баржи тащит. Осталось настил сделать — и мост готов, хоть танки по нему пускай, старый-то вот-вот обвалится. А ездим больше не на лошадях, а на машинах. Пошли-ка к нам чай пить. Еще успеешь набродиться. День длинный.

Около нового моста через реку горел костер. Чай был готов. Выпили по кружке-другой. Перекурили, и мужики снова взялись за топоры. Как ловко ходят они в их руках, щепа ровная, одна к одной. Удар наискосок и удар вдоль бревна. Рубанка не требуется. Я любовался ими, заслушался перестуком и незаметно задремал. Они работали, а я спал на чьем-то плаще, и мне

слышался перезвон горбуш в кустах, где когда-то прикосну сде-  
лал, снился вечерний туман, сам я, бегущий по росе, и голос  
отца: «Ведрие пало. Еще бы денька два, и отстрадались бы».

Открыл глаза и снова зажмурил — ветер донес с лугов  
хмельной аромат северного разнотравья. Над пожнями струи-  
лись воздушные потоки. С вышины неслись трели жаворонков.  
Над озером парила скопа. Может быть, та, которую я лет пять  
назад видел? Ей сверху озеро до dna видно. Помню, в такой  
день шел по правому берегу и приостановился на краю косогора,  
около первых елок. Глянул на озеро и застыл в удивлении.  
Показалось на миг, что это и не озеро вовсе, а чаша, наполнен-  
ная рыбой. И вся рыба шла в одном направлении — к солнцу.

Сколько разного случалось тут. Лет пять назад, когда я ка-  
кое-то время работал в селе, приехал ко мне погостить старый  
друг Иван Кильдюшев. Он на телевидении был тогда, но куда  
бы не залетал, всюду возил с собой в брезентовом чехле пару  
бамбуковых удочек, лески, набор различных крючков и блесен.

— Своди,— говорит,— на Яму. Грешно не побывать там.  
У меня времени лишь до вечера. К ночи в экспедицию попасть  
нужно. Вертолет пойдет.

Долго ли завести мотор и проехать какие-то десять километ-  
ров? Мы моторы не уносим с берега домой. Никто их не трогает.  
Лишь от дождя порой парусиной накроешь. На озере я лодочон-  
ку держал. Пришли туда — через два наволока, две грязи, бере-  
зовый колок,— глянул Иван с берега на Яму, и глаза у него за-  
блестели, худощавое лицо покрылось румянцем, вся нескладная  
фигура словно выпрямилась, руки задрожали, когда начал удоч-  
ки из чехла вытаскивать.

Жаркий день стоял. Пот по нашим лицам градом катился.  
Дышать, кажется, невозможно было. А на озере как фонтанчи-  
ки били. Это плотва, подъязки гуляли, хватали, выпрыгивая из  
воды, крохотных бабочек-поденок, а те все летели и летели. И не-  
понятно было, откуда они взялись. Никогда раньше я не видел  
их в таком множестве. Я сел за весла, Иван на корму, и лодка  
медленно поплыла по плесу.

Вокруг нас играла рыба, но поплавки оставались неподвиж-  
ными. Напрасно старался Иван закинуть удочку в середину  
стан — плотва тут же отошла в сторону. И это — на озере, где я  
ловил с ранней весны и до поздней осени, когда уже хлопья сне-  
га кружились в воздухе!

В этот день я чувствовал себя неловко, старался обнадежить  
друга, что, знать, время клева еще не подошло, но его не обма-  
нешь. Сам понял: не жди в этот день удачи.

— Кошениной на лугах пахнет,— сказал Иван, сдвинув на  
затылок шляпу и поправляя очки.

Долго мы сидели тогда, вспоминая прежние встречи, разные случаи на рыбалках, уловистые места.

— Не огорчайся. Сам вижу — рыбное озеро. Давно таких не видал. Ближе к ночи окунь будет брать, но нам возвращаться пора. Мы еще с тобой сюда вернемся. В стогу поспим. Верно?..

Чей-то голос окликнул меня. Николай, воткнув топор в бревно, подсел рядом, протянул мне пачку папирос.

— Мастер же ты спать,— усмехнулся он.— На такой жаре! В тень бы прилег.— И повел разговор о городской жизни, до-тошно расспрашивая, что да как, да почему. Я неторопливо отвечал, а сам смотрел на строящийся мост и думал о ребятишках, которые скоро прибегут сюда, чтобы прямо с него, под самый нос сплывающих вниз по течению сорожек, закидывать червячка и вытаскивать серебристую с крупной чешуей и красными ободками у глаз рыбку. И мы так делали.

— Плывет рыбешка-то?

— Попадается на глаза. Правда, меньше, чем раньше, но есть все же. Были уже тут ухорезы.

— Когда?

— Когда мы жерди в бору высматривали.

— Я их видел. Ночевал у одного костра.

— Слушай,— спросил Николай,— а где твой приятель, смешной такой, в очках, худющий, как глиста. Помнишь, приезжал? Еще на первый вертолет опоздал, все руками с досады разводил.

— Кильдюшев? Он далеко теперь. С телевидения ушел в рыбоохрану, а потом в горы забрался начальником метеостанции. Завидное место выбрал мужик. Пишет, на Верхнем Щугоре ха-риус отменный водится и дичи полно. Выйду, говорит, утром из домика, гляну в сторону солнца — Азия, повернувшись в другую — Европа. Рядом со станцией — столб с двумя надписями. Присяду около него — голова в одной части света, а ноги в другой. Чем не Гулливер? А вокруг — Урал. Красотища!

— Видно было по нему, что не горожанин.

— Он же лет двадцать топографом проработал. Весь Север шагами измерил.

— Вот оно што. То-то его в глушь потянуло.

— У нас конец лета, а там снегопад вовсю...

Сидим, разговариваем, а меня уже что-то снова к Яме потянуло, словно должен встретиться там с мальчишкой, который тут босиком бегал, подвернув штаны по колено.

— Ну я, наверно, пойду.

— Иди, иди,— буркнул Николай и снова принялся стучать топором по бревну, полетела в разные стороны белая щепа, запахло сосновой смолкой.

Когда лучи солнца скользят вдоль озера, о рыбалке и думать нечего: клева не будет. Зная это, я оставил удочку около раскидистой черемухи, пошел бродить по веретье. Воспоминания детства вновь нахлынули на меня. Когда увидел в заречье крыши деревушки Полушкино, сердце екнуло и словно остановилось. Показалось, что слышу, как, свесив ноги с крутого обрыва, болтая ими и вырезая из ивнякового прута свистульку, Володя Поташов поет:

Позабыт, позаброшен  
С молодых юных лет...

Он был несколько старше нас. Рос без родителей. Бабка-староверка воспитывала его по домостроевскому укладу. Но и жалела по-своему. Не обижала. Он отвечал ей тем же.

В ситцевой рубахе с распахнутым воротом, подпоясанной шерстяным плетеным пояском, вечно взлохмаченный, озорно подмигивая, задирая девчонок, вразвалку ходил он по пыльной деревенской улице с горки на горку, окруженный ватагой мальчишек. Нравилось ему верховодить... И всегда придумает что-нибудь: то лодку достанет — и на остров махнем, то у соседа старое ружье, сделанное из винтовки дореволюционного образца, на ночь выпросит — за утками по озерам бродим. Мы были готовы слушать его, сделать все, что он прикажет. Даже Минька Санжаровский, сорви-голова, первый забияка и драчун по всей округе, живший на авиабазе, не смел перечить ему и обхаживал нашего атамана со всех сторон, за комиссара у него был. С ними мы стали своими на авиабазе, с которой была проложена первая линия за Полярный круг, где теперь выросла Воркута. Давно нет «Шаврушек», на которых катал нас отец Миньки, полярный летчик. Самолеты в то время были в наших местах диковинкой, а тут еще с лодкой, на воду садятся.

Мы и сами мечтали стать пилотами, примеряли Минькин меховой шлем, который он таскал зимой и летом, хотя сам мог только глядеть на самолеты — хром был с детства. Где он сейчас? Может, инженером стал этот сорви-голова? Не знаяший равных по удали, он однажды плакал навзрыд, и я запомнил эти слезы на всю жизнь. Мы сидели на крыше холодильника и наблюдали всей оправой, как, делая второй круг, шла на посадку «Шаврушка». Метеослужба была поставлена тогда плохо, прогнозы часто не оправдывались, радио на борту не имелось, и в чем-то просчитались в тот раз авиаторы. Когда они подлетали к базе, снизу ударил крутой ветер, забелели волны. Но выхода не было. Бензин, как нам после объясняли, был на исходе: хочешь не хочешь — садись. Мы не чувствовали приближения беды, радовались, видя, как стремительно идет машина на посад-

ку... И — мелькнул хвост перевернутой через нос машины... В нее ударила волна, все скрылось под водой. Не сказав ни слова, мы кинулись к берегу, куда уже бежали люди, а потом несколько дней, забыв обо всем, бродили по галечнику, подбирая обломки разбитого самолета.

Сама жизнь заставила нас понять: летать — это не просто видеть небо, держать руками штурвал. Это — постоянный риск, готовность в любую минуту встретиться лицом к лицу с «косой». Теперь, конечно, не те времена, но суть профессии летуна не изменилась.

Теперь-то я знаю, что Володя не плохому учил, хорошего мы от него переняли немало, только вот песню его забыть не могут, и когда соберемся порой с друзьями, круг которых с годами становится все реже — разъехались по разным сторонам, многих уже не стало,— обязательно кто-нибудь скажет: «Давайте споем Володькину». Вспомним, как он нас в чапаевцы возвел, трещотки всем понаделал, из досок винтовки выстрогал, кричать «ура!» научил. Сколько мы побродили с ним по лесам, в снегах за оконицей деревни, сколько набегов сделали на репное поле, хотя брали там лишь по одной репе. «Мародеров не потерплю!» — приказным тоном заявил наш командир.— Мирное население обижать?! Да за это «к стенке». Комиссар, прихрамывая на «раненную» ногу, бежал рядом с ним, следя за нами бешено сверкающими глазами, надвинув на лоб свой летный шлем.

Кем бы стал после наш атаман? Учителем скорей всего. А может, собирателем старины. Песен он знал много. У бабки перенял любовь к ним. И пел их самозабвенно. Не довелось ему стать ни тем, ни другим. В семнадцать добровольцем ушел на фронт, и вскоре бабка похоронку получила. Она всего на месяц пережила внука. Домик их сгнил и после войны был раскидан кем-то на дрова, что в те времена случалось часто.

Иду теперь по веретье и сам себя ловлю на том, что, разговаривая с другом детства, повторяю чьи-то строки:

Но сейчас, печали не тая,  
Чувствовал, смотря на помкомвзвода,  
Что опять он старше был, чем я,  
Так же, как и прежде, на два года.

На каких-то два года опоздали мы, чтоб вместе с отцамиходить в атаки, и с завистью слушаем тех, кто успел побывать на войне, пройти через ее пекло, хотя и сами давно отслужили свое на границах, отплывали в море, отлетали, числимся в запасе.

Минька после ухода Володи на фронт сильно изменился. Прекратились набеги его друзей на мальчишек соседней деревни,

когда камушка на дороге не оставалось — все поверх голов летели на крыши, в окна, в калитки, попадая порой в чье-то лицо. Такие драки раньше не только среди мальчишек велись. Испокон веков славились ими наши мужики. В престольные праздники превращались в лохмотья рубахи из шелка, валялись в канавах новые галоши, не имея которых мужик считал себя плохим хозяином, вырывались колья изгородей, ломались о мужицкие спины сосновые жерди. Дикость чалдонских времен еще долго давала знать о себе.

Зимой сорок третьего, в морозные дни, мы, вооруженные дробовиками, караулили зимник, хотя не знали, для чего это нужно, вместе с женщинами, считая себя сильнее их. Через много лет стало известно, что немцы в районе Печоры пытались высадить десант с далеко идущими замыслами. Их затея провалилась. В этом же поселке увидел я тонкую, как сухая былинка, девочку, привезенную из осажденного Ленинграда, с которой позже ходил в вечернюю школу. В каждом доме принимали ее как свою, каждый мальчишка был готов сделать для нее, для нашей Жени, что угодно, лишь бы ей угодить. Уже в вечерней, в большой перерыв, спросил я однажды: «Кончится война, кем станешь, Женя?» — «Буду цветы выращивать,— сказала она.— Маме много-много насажу, разных-разных. Может, она еще жива?»

Мать Жени погибла в блокаду, а девочка давно закончила академию и стала цветоводом. Об этом она рассказала мне летним днем у парапета Невы, задумчиво глядя на освещенную ярким солнцем воду.

Детство, детство, никуда от тебя не уйти, и, если бы спросили меня сейчас, с чего началась жизнь, я ответил бы: «С начала войны». Мы взрослели тогда не по годам. Мы все измеряем законами памяти того времени.

Левый берег Ямы не похож на противоположный — боровой. Здесь простор чувствуется. Заросли тальника и черемухи прерываются узкими тропами, которые выводят в наволоки, к реке, в голубой простор. Вот и Березовый волок, где начинается крутой спуск к озеру, заросший тальником. Здесь сейчас поют камышовки, верещат на разные голоса дрозды-пересмешники. На сплошном зеленом фоне белеют стволы самого любимого русским человеком дерева. Березы зовут к себе, в тень. И я присел к одной из них, где еще сохранились остатки шалаша, сделанного когда-то моими руками,— ветки, связанные проволокой. Место это высокое, весной его не заливает. Сухо тут. Вот мы и построили когда-то шалаш, чтобы отдохнуть после сидки на утиных перелетах.

В одну из ночей, еще не совсем прозрачных, как в июне, холодных, несколько неуютных, сидел я в караулке, держа ружье на коленях и зябко ежился. Полушубка не взял с собой, а в телогрейке холодновато, и ноги в резиновых сапогах стыли. А утка не шла. Рассвет начинался. Манихи инеем покрылись, забереги тонким слоем льда. И я уже хотел было вернуться в шалаш, согреть чай, но лишь приподнялся, как замер от удивления. Вдоль озера, еще сплошь покрытого льдом, растянувшись на целый километр, молча летели птицы. Утки? Не похоже! А больше вроде некому. Когда же первые из них подлетели ближе, увидел — косачи. Их было не менее трехсот-четырехсот штук. Что заставило петухов менять место токовища, что толкнуло на такой, редкий в наших местах, перелет, я и теперь не понимаю, но эта ночь надолго запомнилась. И береза, под которой сижу, — тоже. Стоит выпасть первому снегу, как на ней, растущей выше других, сразу же появляются невесть откуда взявшиеся черныши. Качаются по утрам на тонких ветках, слетаются к ним другие. Сколько раз я по этому берегу на лыжах проходил, вспугивая куропаток, высматривая косачей, сколько раз возвращался домой уже затемно, когда на горизонте зажигались звезды, а в деревнях огни!

Август... Знойные дни, после которых можно ждать резкой перемены в погоде. И не заметишь, как начнет желтеть да осыпаться листва, на смородиннике останутся лишь тяжелые гроздья матово-черных ягод, а рябины вспыхнут ярким пламенем, возвещая, что пришла осень. В кустах трава остается некошеной, в рост человека, и, если сунуться туда под вечер, наверняка услышишь, как кто-то бежит впереди тебя, увидишь, как закачиваются верхушки вейника. Это тетеревиные выводки. Они сейчас в травах прячутся, но как только ударят заморозки, начнут вылетать на опушку соснового бора.

Хорошо тут. И не так душно — с реки прохладой тянет. Но манит на левый берег, родней он. Может, потому, что там всего лишь одна тропка да узкая поженка, вместо громадных зародов — небольшие стожки в три-четыре промежутка. И я снова сажусь в лодку, опускаю весла в воду, плыву к ельнику. Там всего несколько деревьев — но каких! — в два обхвата.

Я когда-то уже был здесь.

Между елками в развилке — шест. На нем я сушил сети. На уровне плеча — большой сук, а на нем котелок. Никто не тронул. Справа, в кустах, лежат удочки, травой заросли. Удилища уже покернели от времени, крючки поржавели. А вот и блесенка, якорек которой я когда-то воткнул в кору елки и забыл. На каждом шагу, у каждого дерева — следы давних ночевок на

этом огнище. И стол остался нетронутым. Я сделал его из дверей, выброшенных на пожару половодьем. Вокруг стола — скамейки. Кто-то оставил на нем новенькую кружку. В спешке, знать, забыл.

Я расставляю жерлицы и разжигаю костер. Пока греется чайник, брожу по веретье. Жара спадает. Ветерок с реки подул. В маленьких озерках начинают перекликаться утки. Время коромежки приходит. Много выводков тут, в этих озерках, заросших осокой.

Как-то в ясный июльский день вышел я на опушку бора, вдоль которой тянется от озерка к озерку виска, и услышал всплеск. «Кто там?» — подумалось. Подошел незаметно к большой дуплистой осине и тут же остановился. Гнездо гоголя в дупле было, и матка в этот вечер решила, что хватит мальцам в полутьме сидеть, пора им на простор, на зелень выбираться, и вытолкнула их одного за другим из гнезда. Утятка поначалу растерялись, но мать уже плескалась на воде и призывающе крякала, сзываая их. Чудно все устроено в природе — такие крохи тут же заперебирали лапками по воде, словно давно этим занимались. Я смотрел на них, пока выводок не скрылся в осошине.

Возвращаясь к елкам, вижу, как одна из веток, за которую привязаны жерлицы, гнется из стороны в сторону.

— Есть! — И как мальчишка сбегаю вниз, вытаскиваю килограммовую щучку. Неплохое начало.

А крышка чайника уже подпрыгивает, вода в нем бурлит, заливая костер.

«Чайку не попьешь — не поработаешь», — говорят северяне, но мне что-то и чаю сегодня не хочется. Костер разжег по привычке. Без него как-то неуютно. Люблю посидеть около костра, может, еще с той поры, когда пастушонком был.

Август, помню, сухой пал. По ночам, когда стадо отдыхало, я забирался в свежий, пахнущий мятым и клевером стог. И спал как-то. Слышу — мычат. Пастбище узкое, между озерами лежит. Чуть не понравится коровам — на другой берег. И не широко, а попробуй сунься в воду — холодная. А там, за озером, колхозные стога. Как магнит притягивают они коров. До того измучился, что даже сниться стало: держусь за коровий хвост и плыву. Озеро за озером переплы whole. Кстати, потом я так и делал.

Мычат буренушки. Тряхнул головой, гляжу — в сборе. Не успели разбрестись. Солнце еще не показалось из-за кромки леса, но ветерок проснулся, с реки холодком тянет. Помахав руками, зевая, я застыл: передо мной утка плещется. Чуть поболь-

ше чирка, окраской на сизаря похожа. Крылья серебром отливают.

Пока ружье из-под стога вытаскивал, успела отплыть от берега, выцелил все же.

«Ба-ах!»— В далеком от речной поймы бору глухо откликнулось эхо.

Только свист крыльев услышал да, когда дым рассеялся, заметил на воде рябь. Смотрю на озеро, забыв про стадо, против глаза от удивления: ведь так близко была, и промазал.

С тех пор сколько болот и озер исходил, сколько речек узнал, а так и не встречал серебрянки. Однажды в тундре, около Югорского Шара, показалось мне, что ее крылья просвистели под слепящими лучами незакатного солнца. «Она?»— у таежных охотников расспрашивал. «Не видали!»— отвечают. В Прибалтике под шум прибоя не одну зорьку на взморье провел. В казахстанских степях, у Ишима, на озера, заросшие высоким, как ивняк, камышом, пристально глядел часами. Лебеди пролетали над головой, гуси поднимались со жнивья, утки огромными стаями стремительно неслись на юг. Моеи среди них не было. Это, наверно, чирок или белобокий нырок был, спросонья чего не покажется, но запало в голову, и как только в воздухе запахнет весной, невольно думается: «Серебрянка опять на север спешит». И снова: вещевой мешок — на плечи, ружьишко — в руку, и туда, побродить, послушать, посмотреть.

И сегодня жду чего-то, а чего — и сам не знаю, как не знаю и того, что так властно потянуло меня к Яме. Рыбалка? Можно было остановиться на ближних озерах. Там она не хуже. Что-то другое, значит.

Снова быстро начинает темнеть. В небе заняграли зарницы. Снова наступает тишина. Это рябиновые ночи начинаются, когда не услышишь грома, но вдоволь насмотришься, как в небе молнии сверкают.

Тишина! Не она ли привела меня сюда? В какую-то минуту, на каком-то повороте человеку нужно побывать наедине с собой, послушать тишину, чтобы снова с головой окунуться в бурный поток жизни.

— О-о-о! Рыбак! Перевозу! — несется с того берега.

Отец! Откуда он тут взялся? И я бегу к лодке.

Рядом с отцом ребятишки, с которыми расстался утром. В руках у них — полные кепки черной смородины.

— А в малинник не заглядывали? — спрашиваю.

— Уже нету малины, а шипичника — во-о!

— Мать беспоконется, — говорит отец, — не случилось ли чего, и я уже волноваться стал. И не знаем, куда ушел. Спасибо, эти

сорванцы твой адрес указали. Вот и прихватил их с собой. Мать тут кой-чего прислала тебе. Ты же любишь шаньги.— И он протянул мне до отказа набитую снедью продуктовую сумку.— В первый вечер — и сразу на озеро... Невтерпеж?— Он укоризненно качает головой.

— Э, да тут не только шаньги. Молодец, мама. Таких гостей можно чайком угостить,— смеюсь я.

Мама! Мама! Я уже давно взрослый, сыновья скоро в армию пойдут, а ты за мной все как за мальцом смотришь, все беспокойсяся.

— Берите фонарик, проверьте жерлицы,— говорю ребятишкам.— Они на видных местах расставлены, да не проскочите мимо, там и поплавки белые, из пенопласта.

Мальчишки тут же скрываются в темноте, а мы сидим у костра, молча глядим, как пляшут языки пламени, вырывая из темноты то зеркальную гладь озера, то стог сена, то усыпанную ягодами черемуху.

— Мне взгрустнулось что-то. Потянуло по старым тропкам побродить,— говорю отцу, наполняя чарку.

Даже в темноте вижу, как сдал он за последнее время. Голова белой стала, кудри его заметно поредели, спина ссутулилась. Было с чего. Всю войну прошел человек. Да и после войны жизнь нелегко давалась.

— Ну, за встречу, значит. Еще разок,— отвечает отец.— Будь здоров.— Неожиданно добавляет:— Я тоже тут часто бываю, хотя сенцо страдать давно перестал. Годы не те. Когда с войны пришел, с Тимой в первый же вечер на Яму поехали. Добрая память ему. Славный мужик был. Сделай столько добра людям, сын,— короткой жизнь покажется.

— Кусты, пап, вроде около бора поредели.

— Не был еще там? А ты сходи утрецком. Погляди. Калтусы то осушают, кустарник выкорчевывают. Тут такие дела заварились... Сколько лугов новых заимели за счет бросовых земель.

Я сижу и думаю: не обидел ли мать, ведь дома и суток не провел с приезда, тут же на озеро махнул. Утром — домой. Должна понять, что есть у нас свои мужские разговоры, свои раздумья, о которых знаешь только сам, своя жизнь. Когда устану, мне хотелось бы вернуться в эти места, тут закрыть глаза и остаться в памяти не только сверстников, но и внуков. Вернуться к той самой земле, где родился, вырос, начал пробивать свою тропку в жизнь. И как не вернуться, ведь это — своя земля, дорожке которой нет ничего на свете, ведь это — то самое, что мы зовем Родиной, малой родиной, без чего человек нищим в душе становится.

Мать поймет, ведь неспроста она в своих письмах так часто упоминает про Яму, пишет, как идет сенокос, кто рыбачит на озере, кто весновал в избушке, кто осеновать в бору собирается.

— Ш-ш-ш! — Отец трогает меня за рукав куртки. — Гляди!

Не спеша, молча, переваливаясь с боку на бок, важно шествуют через веретью утят. Остановилась утица на какое-то мгновение, ослепленная светом костра, потом отошла в сторонку, крякнула и, словно поняв, что ничего плохого мы не сделаем, повела деток дальше.

— На большую дорогу выбираются. Скоро начнут силу крылья пробовать, — говорит отец. — А ты надолго к нам?

— Жаль, отец, что всего на неделю. Проездом заскочил. Но я еще обязательно приеду.

— Редко мы встречаться стали. Разлетелись все в разные стороны. Свои заботы, свои дела. А у нас с матерью здоровьишко сдаст. Старимся. — И он вздыхает.

...Я еще вернусь на Яму, еще не раз вернусь в ее тихие закутки, к широким плесам, не раз взмахну веслами и поплыту с отцом из одного конца озера в другой, как через всю жизнь. Так же будет слущаться темнота, будут лететь к небу искры костра, бурлить наваристая щерба в старом котелке, пахнуть разнотравье. Так же будут блестеть над уремой зарницы, напоминая нам, что и у осени есть своя красота, только надо понять ее.



## СОДЕРЖАНИЕ

---



Куропаточный чум			
Время долгих ожиданий . . . . .	5	Задира . . . . .	46
Пробуждение земли . . . . .	7	Соседка . . . . .	46
Воробей с колокольчиком . . . . .	7	Аулейка . . . . .	47
Ветер-парикмахер . . . . .	10	Плавунчики . . . . .	47
Стриж — птица залетная . . . . .	10	Перевозчик . . . . .	48
Курява . . . . .	11	Птица-невидимка . . . . .	48
Дикие куры . . . . .	12	Купальница . . . . .	49
Оазис . . . . .	12	Старый Кослан . . . . .	50
В часы отлива . . . . .	13	Березкина няня . . . . .	50
Песец исчез . . . . .	14	Живая радуга . . . . .	50
Праздник охоты . . . . .	14	Ложная тревога . . . . .	51
Удача . . . . .	18	Травянник . . . . .	51
Куропаточный чум . . . . .	19	«Я — рыжая» . . . . .	52
Ива-ившка . . . . .	20	Опушка . . . . .	52
И такое бывает . . . . .	22	Синий снег . . . . .	55
Кожим-река . . . . .	23	Пой, варакушка, пой . . . . .	56
Ночной пролет . . . . .	29	Темнозорь . . . . .	58
Не уберег . . . . .	31	Чьи вы? . . . . .	62
Май в Приуралье . . . . .	32	Чернеть пошла . . . . .	64
Альпинисты . . . . .	32	Летние дожди . . . . .	65
Братья женьшены . . . . .	33	Костры у реки . . . . .	65
Смерч . . . . .	33	Птичка-невеличка . . . . .	66
Потеряжа . . . . .	34	Грибная пора . . . . .	66
Запах костра . . . . .	36	В лесу и дома . . . . .	67
Ненико . . . . .	36	Небо . . . . .	68
		Флейта черного дрозда . . . . .	69
Синий снег		Целебное разнотравье	
Сказки белых ночей . . . . .	43	Пижемские наволоки . . . . .	73
Приходи весна . . . . .	46	Семга идет . . . . .	74
		Огнище . . . . .	75

Береговушки . . . . .	77	А она рядом . . . . .	141
Корюх . . . . .	78	В предгорьях Тимана . . . . .	143
Вьется тропка . . . . .	80	Пахнет летом . . . . .	144
И песню звонкую запел . . . . .	81	Крестики на снегу . . . . .	146
Прикоска . . . . .	83	Федыкины угодья . . . . .	147
Шанежки-ватрушки . . . . .	84	Осечка . . . . .	151
Заливень . . . . .	85	С промыслом . . . . .	154
Мальчишки-мальчишки . . . . .	86	Как сказка складывается . . . . .	154
Погоды не ждать . . . . .	87	Изба Дениса . . . . .	156
Сушь . . . . .	88		
Живуч карась . . . . .	89		
Быть заморозкам . . . . .	90	Печорские низовья	
Плакса . . . . .	90	Опой . . . . .	161
Чип-Чип . . . . .	91	Водяной . . . . .	163
		Березка . . . . .	165
		Целинники . . . . .	169
		Конец северных джунглей . . . . .	171
Просвистели зарю свиристели . . . . .	99	Магнитный кибас . . . . .	173
Непоседа . . . . .	100	Старинщик . . . . .	175
Речка Мача . . . . .	100	Поклон Тимы Грома . . . . .	179
Просвистели зарю свиристели . . . . .	101	Бережничье . . . . .	184
«Дурни» . . . . .	102		
Сестры . . . . .	103	Опять я в деревне	
Проба голоса . . . . .	103	Кормилица . . . . .	189
Снежные колокольчики . . . . .	105	В поле пора . . . . .	190
Потерянный ток . . . . .	106	Письма . . . . .	192
Охапка дров . . . . .	107	Голос детства . . . . .	193
Глухое озеро . . . . .	110	Вот моя деревня . . . . .	195
Проводник . . . . .	111	Попутчик . . . . .	196
Ушла белка . . . . .	113	Долина друзей . . . . .	196
Ямщик . . . . .	113	Зеленый дождь . . . . .	199
		Азы . . . . .	201
		Разрыв-трава . . . . .	203
Федыкины угодья . . . . .	117	Желтые грудзи . . . . .	206
Лесное царство . . . . .	119	Едома . . . . .	209
Заход . . . . .	119	Откуда березки появились? . . . . .	211
Первый снег . . . . .	119	Рыкун . . . . .	212
Листопад . . . . .	123	Опять я в деревне . . . . .	213
Голубятница . . . . .	129	Лесной пир . . . . .	214
Друг мой Паша . . . . .	130	Размиться захотелось . . . . .	217
Майский дождь . . . . .	132	«Рюм-рюм» . . . . .	220
Зимогор . . . . .	133	Лебяжья родина . . . . .	222
Вечный дом . . . . .	135	Зима на мороз . . . . .	225
Белохвостка . . . . .	136		

По берегам детства

Май, олений месяц . . . . .	229	Глухое время . . . . .	250
Вода покатилась . . . . .	237	Роднайка . . . . .	257
Поршок . . . . .	246	Птицы возвращаются домой . .	262



Василий Степанович Журавлев-  
Печорский

## Заливень

Книга о родном kraе

ИБ № 298

Редактор В. А. Попов. Художествен-  
ный редактор А. В. Мошев. Техни-  
ческий редактор А. Н. Вишнева. Кор-  
ректоры Э. С. Грегер, А. А. Надуткина

Сдано в набор 1/VIII 1978 г. Подписано  
к печати 11/IX-78 г. Формат 60×841/6. Усл  
печ. л. 16,74; уч.-изд. л. 16,66. Заказ № 4953.  
Цо1420. Тираж 15 000. Цена на бум. № 1—  
1 р. 20 коп., на бум. № 3 — 1 р. 15 коп.

Коми книжное издательство. 167610.  
г. Сыктывкар, Дом печати.

г. Сыктывкар, Республиканская типогра-  
фия Управления по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли Совета  
Министров Коми АССР.







1 р. 20 к.

КОМИ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1978